

Энджи
Круз

ДОМИНИКАНА

Энджи Круз

ДОМИНИКАНА



НАГРАДЫ «ДОМИНИКАНЫ»

Победитель YALSA Alex Award
Победитель RUSA Notable Book
Выбор книжного клуба A GOOD MORNING AMERICA
Бестселлер Amazon
Финалист Women's Prize for Fiction 2020
Лонг-лист Andrew Carnegie Medals for Excellence in Fiction
Лонг-лист Aspen Words Literary Prize
Самая ожидаемая книга по версии The New York Times, Entertainment Weekly,
The Washington Post, O Magazine, Esquire, Time, Newsweek, Kirkus Reviews, Lit Hub,
The Millions, Chicago Review of Books

«Эта книга для меня оказалась манифестом о формировании собственной воли у девушки Аны, выросшей в условиях формального культурного патриархата и реально властной матери. И историей про то, как интересы «материнской семьи» вытесняются интересами своей семьи, а потом трансформируются в личные интересы героини и ее ребенка. Нарративный стиль повествования погружает читателя в муки выбора героини, выбора между своими целями и целями, навязанными семьей, обществом, культурой. И несмотря на то, что в книге описываются 60-е годы, у многих женщин этот выбор стоит так же остро, как и у Аны. Каждой женщине по-прежнему важно решить для себя — а чего Я хочу на самом деле? Мне кажется, что эта книга — еще один шаг к ответу на этот вопрос». Светлана Антухова, управляющий партнер SelfMama

«Триумфально... История Аны Кансьон — одна из самых запоминающихся и вдохновляющих историй об иммигрантах нашего времени». NBC

«Захватывающая, столь лирично рассказанная история Аны освещает как боль, так и потенциальный триумф иммигрантского опыта». People

«Сенсационно... Одновременно нежное, музыкальное и волнующее размышление о том, как иммиграция формирует внешнюю и внутреннюю жизнь человека». Esquire

«Благодаря роману такой глубины, красоты и изящества мы, как и Ана, изменились навсегда». Жаклин Вудсон, Vanity Fair

«В романе Круз неизбежность трудностей и волнение новых возможностей мощно прокладывают сложный путь во взрослую жизнь». The Washington Post



www.careerpress.ru



[mysteryfiction](#)



[careerpress](#)



ISBN 978-5-00074-315-7



9 785000 743157 >



ДОМИНИКАНА



DOMINICANA



Angie Cruz



FLATIRON
BOOKS
NEW YORK

ДОМИНИКАНА



Энджи Круз



КАРЬЕРА ПРЕСС

МОСКВА

821.111-312.9(73)

84(7Coe)-445

K84

Перевод с английского — Ирина Ющенко

Dominicana

Angie Cruz

First Edition: Flatiron Books,

New York,

2019

Круз Э.

K84 Доминикана / Энджи Круз [перевод с англ. И. Ющенко]. М.: Карьера Пресс, 2022. — 368 с.

978-5-00074-315-7

Сердце пятнадцатилетней Аны Кансьон принадлежит родной Доминикане. Но жизнь девушки круто меняется, когда ей делает предложение Хуан Руис. Этот брак позволяет ей иммигрировать в Америку и исполнить заветную мечту жителей нищей деревни. Но для Аны переезд становится концом всего, что она любила, — полная безнадежность, одиночество и соседство с почти незнакомым мужчиной вдвое старше ее.

Когда Хуан отъезжает по делам в Доминикану, он оставляет своего младшего брата Сесара заботиться об Ане. Неожиданно для Аны приоткрывается новый мир. Когда Хуан возвращается, Ана должна сделать выбор между своим сердцем и долгом.

Воодушевляющий роман-размышление о семье, ответственности и цене, которую приходится платить за возможность начать новую жизнь.

978-5-00074-315-7

821.111-312.9(73)

84(7Coe)-445

Copyright © 2019 by Angie Cruz

© Перевод, издание на русском языке,

ООО «Карьера Пресс», 2022

Published by arrangement with Flatiron Books.

All rights reserved.

Данийе, моей матери
Para todas las Dominicanas
Всем нашим невоспетым героям

ЧАСТЬ I



КОГДА ХУАН РУИС В ПЕРВЫЙ РАЗ ДЕЛАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, МНЕ одиннадцать, я тощая и плоскогрудая. Я полусонная, кудрявые волосы рвутся из-под резинки во все стороны, платье напялено задом наперед. Хуан и его трое братьев живут в Ла Капиталь*, но раз в две недели, в выходные, приезжают глубокой ночью и поют серенады приличным деревенским девушкам из тех, кого незазорно взять в жены. Хуан и его братья не первые; много их, мужчин, которые останавливаются у нашего дома поглазеть на нас с Тересой, моей старшей сестрой.

И это давно уже так — я притягиваю взгляды как магнитом. Я не такая, как другие девчонки. Меня не назвать хорошенькой. Какая интересная, говорят люди, настоящая красавица. Как будто зеленые глаза сияют ярче, как будто они драгоценней, и всякому хочется ими завладеть. Вот поэтому мама и твердит, что должна устроить мое будущее, не то судьба моя будет еще горше, чем у Тересы, которая уже положила карий глаз на Эль Гуардию, охранника, что стережет муниципальное здание в центре города.

Той ночью, первой из длинной череды ночей, трое братьев Руис останавливают машину у края проселочной дороги и звонят в папин пастуший колокол, словно созывая коров. Безлунное небо затянуто облаками, на дороге темно. С электричеством перебои, мы сидим без света по пятнадцать часов кряду. Бывает, утром недосчитываемся курицы, а наш магазин в прошлом году грабили дважды. Так что мы все запираем на ключ, особенно после того, как застрелили Трухильо**. В собственной машине застрелили!

* Столица (*исп.*).

** Рафаэль Леонидас Трухильо Молина — фактический правитель Доминиканской Республики с 1930 по 1961 год диктатор. Известен под прозвищем Эль Хефе, то есть «Шеф».

А ведь он тридцать один год был Эль Хефе! Папа только посмеивается. На него всю жизнь отовсюду смотрели фотографии Трухильо, и под ними слова: «Бог на небе, Трухильо на земле». Но оказалось, что Трухильо тоже может умереть, и как тут не смеяться. Видно, и у Бога лопнуло терпение. Только Трухильо не упокоился в мире. В Ла Капиталь все вверх дном. Совсем страшно там стало. Ни закона, ни порядка. Все будто с ума посходили. Когда городские к нам приезжают, знай только нижнее веко оттягивают, мол, вы там поглядывайте. Мы и поглядываем.

Мы с мамой и Тересой жмемся у стены дома, а папа берет винтовку наперевес и шагает в темноту. Йонни и Ленни, братья, и кузины Хуанита и Бетти спят в доме.

Это мы, это мы, кричит из темноты Хуан. Братьев Руис все знают, они часто ездят в Нью-Йорк, а когда возвращаются, у них полны карманы денег, долларов.

Двое братьев Хуана машут гитарами у него из-за спины и хохочут.

А ну сюда ступайте, кричит мама, и вскоре они уже сидят у нас во дворе перед домом, в руках бутылки с пивом, и ведут разговор о Нью-Йорке, политике, деньгах и документах.

Пьяный Хуан делает мне предложение. Слышь, говорит, выходи за меня. Я тебя увезу в Америку. Ноги у него заплетаются, он прижимает меня к доскам забора. Соглашайся, и дышит мне в лицо перегаром, и жирный пот капает мне на лицо.

Папе плевать на политику, он в жизни не поверит человеку в деловом костюме. Папа тянется за винтовкой, а мама встает между ними и переводит все в шутку, как она умеет, смеется во весь рот, прижав подбородок к груди, а потом игриво стреляет глазами. Она берет Хуана за плечо и вновь усаживает на пластиковый садовый стул рядом с братьями, которые тоже уже перепились сверх меры.

Хуан садится, грудь его ложится на круглое брюхо, и челюсть, уголки губ, щеки, глаза — все едет вниз, как у грустного клоуна.

Хуан таращится на мои коленки, прямо глаз не сводит, как будто у меня там какой-то секрет, и он его хочет разгадать.

Эти трое братья, но ничегошеньки общего у них нет, родители одни, а лица разные, и рост разный. Погодите, это вы еще Сесара не видели, говорит Гектор. Они щеголяют в деловых костюмах и держатся тесно, как рок-группа на сцене. Глаза у них розовые и стеклянные. Братья опираются на свои гитары как на костыли.

Эта песня — для тебя, говорит Хуан Тересе, и под строгим папиным взглядом она ежится. Но смотрит он только на меня. Тересе тринадцать, а выглядит на все двадцать, она родилась, не дожидаясь рассвета, брыкаясь и вопя. Она в предвкушении перебрасывает подол юбки из стороны в сторону. Это еще до того, как Эль Гуардия поставил крест на ее будущем. Рамон, старший из троих, подтягивает струну на гитаре, а Хуан окидывает братьев таким взглядом, каким птичница пересчитывает цыплят, встает на ноги, с виду вылитый снеговик, поворачивается и начинает:

Bésame, bésame mucho ...

Голос у него низкий, густой, сильный, он заполняет пустоту у меня в груди. Тает лед. Под темным небом, в неподвижной ночи этот голос кажется еще громче. Я закрываю глаза и слушаю. Что я в нем слышу? Печаль? Жажду? Страсть? Все сразу?

Como si fuera esta noche la última vez

Bésame, bésame mucho,

Que tengo miedo a perderte, perderte después ...

Когда он заканчивает, мама с Тересой вскакивают на ноги и хлопают. Хлопают изо всех сил. Еще! Еще! — просит Тереса, не понимая, что Хуан поет для меня.

Я знаю, что однажды земля разверзнется у меня под ногами

и Хуан увезет меня отсюда. Подступают слезы. Не знаю, как и когда это будет, но там, снаружи, хищный мир, и он ждет меня.

Девочки, спать, говорит папа, и голос его брякает как коровий колокольчик. Он кладет винтовку на колени, никогда еще я не видела его таким злым. Двоих его сестер забрали военные, еще при Трухильо.

И нам пора, говорит Рамон и встает, худой и высокий, как флагшток, всегда такой обходительный, всегда словно бы извиняющийся за младших братьев, которые никак не научатся держать себя в руках.

Уходя, Хуан наклоняется и смотрит мне в лицо. Я смотрю ему прямо в глаза, словно могу напугать. Он делает вид, что отступает, но вдруг, резко качнувшись ко мне, лает, громко и неожиданно. Гав! Гав! Гав! Я отпрыгиваю и спотыкаюсь о пластиковое ведро, которое стоит у двери, мы носим в нем воду. Он смеется в голос. Его грузное тело сотрясается от смеха. Смеются все, кроме меня.

Мама мило улыбается и приглашает их заходить еще, мы же не чужие, а когда девушка настолько хороша, не грех и подождать. Может быть, как-нибудь сходим в ресторан в городе, говорит она, прекрасно зная, что никогда в жизни мы не поедem в Ла Капиталь и ни в какие рестораны не пойдem.

В ДЕНЬ, КОГДА ТЕРЕСА ВЫТАСКИВАЕТ ИЗ МАМИНОГО ШКАФА ее любимое платье и тайком его надевает, чтобы удрать на свидание с Эль Гуардией, мама заявляет, что на Тересу надежды никакой и что теперь ее забота — выдать меня за Хуана.

Ты видела, как она уходила?

Нет, вру я.

Мамино белое платье плотно облегает Тересу везде, где надо, включая колени. Она движется так, словно под каблуками у нее спрятаны колеса, и тело у нее пышное, женское. Una mujeronа*, говорит Йонни. У Тересы рот сердечком и крупные зубы, поэтому губы у нее всегда приоткрыты, и кажется, будто она хочет тебя поцеловать.

Стоит маме хотя бы подумать о том, как мальчики вьются вокруг Тересы, или услышать, как о ней говорят, что она шустрая, горячая, с перчиком, и мама сжимает кулаки и рвет на себе волосы. По-настоящему рвет, от Тересиных походов у нее уже лысинка на затылке. Но сколько Тересу ни лупи, сколько на нее ни ори, она все равно улизнет к этому своему.

Когда она удрала в первый раз, мама орала так, что с неба хлынуло как из ведра и нас затопило. Мы с Тересой, Ленни, Бетти, Хуанитой и Йонни потом целое утро вычерпывали воду из дома, ведро за ведром.

Я смотрела, как Тереса по одной снимает бигуди и разделяет пальцами темные локоны. Хуанита битый час укладывала Тересины густые своевольные кудри. Но дело того стоило. Она встряхивает головой, и кудри у лица пускаются в пляс — настоящая королева красоты.

* Женщина (исп.).

Мама тебя убьет, прошептала я, стараясь не разбудить Хуаниту и Бетти, которые делили с нами кровать и переплетали во сне руки и ноги. И мурчали как котята. Ленни и Йонни отделены от нас простыней. Простыня висит поперек комнаты, от одной стены до другой. Она такая ветхая, что при свете лампы перед сном мы видим сквозь выцветший желтый с голубым цветочек силуэты друг друга. Но они спят как убитые, тут Тересе повезло.

Ой, да спи ты, я тебе вообще снюсь, пегга.

Тереса шуршит по комнате, словно мышка. Ночь истекает птичьими трелями, визгами, хриплыми криками, противными звуками спаривающихся лягушек прямо у нас за окном. Папа говорит, это потому, что от любви бывает больно.

А если мама не впустит тебя в дом? А вдруг с тобой что-нибудь случится? — спрашивала я, уже боясь за родителей, которым будет больно потом. Потому что там, где мы живем, нет ничего, кроме темноты. До ближайшего дома миля, не меньше. А электричество у нас с норовом. То потухнет, то погаснет.

У Тересы сияют глаза. Вон погляди, Эль Гуардия на дороге, ждет меня.

Я на цыпочках прокралась к окну. На макушки пальм падал яркий лунный свет.

Я вернусь, когда все еще спать будут. Не волнуйся за меня, сестричка.

Ну почему ты не можешь подождать и сделать все как надо? Пусть придет, познакомится с родителями, попросит твоей руки. Откуда ты знаешь, что он это все всерьез?

Тереса улыбнулась. Во-первых, мама его ни за что не примет. Ты когда-нибудь поймешь. Когда влюбишься, идешь на все, даже если все твердят, что ты чокнутая. Это же любовь. С ней не поспоришь.

Не хочу я никакой любви, сказала я, но потом подумала о Габриэле, который краснел, стоило ему поймать мой взгляд.

А любовь тебя не спросит, ответила Тереса и подула на жаров-

ню с тлеющими в ней листьями шалфея, которые перебивали исходивший по ночам от Ленни и Йонни вонючий мальчишеский запашок.

Тереса выплыла из комнаты. Обернулась и подмигнула мне, облизала губы, словно ничего вкуснее в жизни не пробовала. Я представила себе юную маму, ровесницу Тересы, одно лицо с нею, как два платья из одного куска ткани. *Pin-rún, la Mamá*, говорят люди, когда впервые видят Тересу. *Pin-rún!*

У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОН СЮДА ПРИЕХАЛ.

Вот как это было у Хуана. Он приезжает в Нью-Йорк впервые, и все, что у него есть, — адрес и двадцать долларов в кармане. Автобус высаживает его на пересечении Семьдесят второй и Бродвея, на островке, где повсюду скамейки, а на них нарки под кайфом. Сигналят машины, над головой проносятся вертолеты, и сердце у него бьется быстро-быстро. Он всегда любил приключения, но этот город уже заставляет его лететь сломя голову, и он понимает, что здесь перехватить контроль удастся не сразу. Он выискивает здание с нужным номером, находит сломанную входную дверь. Поднимается на пять пролетов, волооча за собой чемодан. В подъезде ни одной лампочки. Запах плесени от сырых ковров будит воспоминание о пещерах, в которые он лазал ребенком. О, как он любил эти пещеры: скользкие камни, темнота, грохот водопада — сладчайшая награда за долгий путь в грязи.

Он делает глубокий вдох. Он справится.

Когда он наконец стучит в дверь, ему открывает косматый старик.

Ju, ju, Frank? — спрашивает Хуан. Фрэнк — итальянец, он сдает комнаты.

Да, да.

С этими словами он жестом приглашает Хуана войти. Вот его первое жилье: комнатуха с двумя матрасами. Один матрас голый, на нем лежит стопка аккуратно сложенного белья и полотенце. На соседнем матрасе спит мужчина, закрыв лицо подушкой, чтобы не мешали огни ночных улиц, льющиеся в окно.

Десять долларов в неделю. Платить по воскресеньям. Понимаешь?

Йес. Сенк ю, отвечает по-английски Хуан. Он успел выучить «йес, сэр». Сенк ю. Доллары и центы. Ноу, сэр. Числа от одного до десяти. Окей. Который час. Такси, плиз. Еще поезда.

Девчонка дома есть? — спрашивает Фрэнк.

Черт, вы говорите по-испански? — почти вскрикивает от облегчения Хуан.

Сюда девчонок водить нельзя, продолжает Фрэнк. Ни на неделю, ни на ночь.

До этого момента Хуан обо мне даже и не вспоминал. Но он и в самом деле собирается на мне жениться, потому что, как говорит Рамон, мужику нужна хорошая деревенская девка, чтоб подалее от беды.

Фрэнк готовит кофе и разливает по двум чашкам для эспresso, из разных сервизов.

Я слышал, в гостиницах по Тридцать четвертой улице нужны работники и платят хорошо, говорит Хуан.

Фрэнк выпячивает подбородок.

У тебя что, ничего получше нет?

У Хуана тонкое шерстяное пальто, даже без подкладки. Фрэнк достает из шкафа в прихожей пальто до середины бедра, теплое, шерстяное, в рубчик, с меховым воротником.

Ты же не хочешь умереть от пневмонии прямо в очереди.

Хуан замечает потертые манжеты, обнажившиеся слои муслина. Подкладка висит клочьями.

Мы тут свет не жжем, чтобы не платить лишнего. И в чужие дела не лезем.

Снаружи раздается грохот. Хуан подпрыгивает.

Ночью, смотри, осторожнее. Нарки за бакс прирежут. Им терять нечего, так что держись от них подалее.

Хуан отдает Фрэнку десять долларов — платеж за неделю. Потягивает кофе, понимает, что не обедал. В самолете кормили мало. Но на улице темно, и тратить деньги на еду не хочется, вдруг не получится сразу найти работу.

Я, наверное, спать буду.

Ванная дальше по коридору. Удаchi тебе завтра.

Хуан ставит чемодан рядом с матрасом. Средних размеров полотенце, лежащее на постели, совсем вытерлось и обтрепалось по краям, но пахнет чистым. Он ложится не раздеваясь. Туфли ставит у постели. Сосед храпит. У Хуана урчит в животе. Он смотрит на часы и вспоминает шоколадное пирожное, которое подавали в самолете. Или не пирожное, а печенье? Снаружи хрустящее, а внутри влажное, никогда такого не пробовал.

ГОД ИДЕТ ЗА ГОДОМ, И ХУАН СНОВА И СНОВА ПРИЕЗЖАЕТ К НАМ

с братьями по ночам выпить бесплатного пива, а меня заманивает сладкими словами без конца. Поехали со мной, а? Найдем мирового судью, говорит он снова и снова. Пташка зеленоглазая, первый раз такую встречаю, и его налитые кровью стеклянные глаза заглядывают в мои, и волоски у меня на шее встают дыбом.

С самого моего рождения мама твердит, что мои глаза — это счастливый билет и что они от дедушки, который был из Эль-Сибо. Она всегда гордо говорит о папиных родных, хоть они и отказались от нас после того, как мама вышла за папу в надежде, что он увезет ее из Лос-Гуайаканес. Она так надеялась, что не случалась, когда ее предупреждали, что эти люди на черных не женятся. Так мы и остались в Лос-Гуайаканес.

Может, хоть Хуан вывезет нас из этой дыры, говорит она.

На Тересу надежды нет, Эль Гуардия уже вовсе делает ей ребенка. Они просто встретились взглядами, говорит Тереса, и у нее тут же заныло в животе и между ног, и его страсть была как кулак, которым ее ударило в пах. Так она выражается, Тереса.

Когда-нибудь, говорит она мне по секрету и подмигивает, ты сама увидишь, что Габриэль уже не мальчик, который догоняет-догоняет, да никак не догонит. Он уже готов, Ана, и, если ты позволишь, он укусит.

Когда она говорит о мальчиках, у нее блестят зубы.

Мама говорит о том же. Неважно, какие у Хуана намерения, серьезные или не очень. Мама достаточно пожила на этом свете и знает, что мужчина и сам не понимает, о чем думает, пока женщина не заставит его об этом подумать. И когда в двенадцать лет и восемь месяцев у меня приходят первые месячные, она расплетает

мои косички и стягивает волосы на затылке так туго, что ни одна кудряшка не выскользнет, а кончики глаз уползают к вискам. Когда приезжает Хуан, мама заставляет меня надевать воскресное платье, из которого я давно выросла. Платье туго обтягивает небольшие бугорки, которые успели появиться на груди, выставляет их на всеобщее обозрение. Хуан частенько пьян, ему что платье, что мешок от картошки — все едино, но мама подкрашивает мне губы розовым. Когда я разговариваю, помада пачкает мне зубы, будто кровью. В отличие от Тересы, я не улыбочива. Мама заставляет меня сидеть с братьями, и подол платья ползет вверх, а ляжки липнут к пластиковому сиденью стула.

Беременную Тересу загоняют в дом, где она сидит с Хуанитой, ей шестнадцать, и Бетти, которой пятнадцать, чтобы Хуан не отвлекался. Йонни, на год старше меня, и Ленни, который до сих пор не научился сморкаться, садятся подальше и строят рожи, передразнивая братьев Руис в шикарных костюмах и переиначивая на свой лад все, что они говорят. Разговор идет по кругу: документы, курс доллара, бейсбол, ставки. То они жалуются на то, что президент Балагер не в состоянии держать слово, а на следующий год радуются государственному перевороту и тому, что Бош выиграл выборы. Наконец-то у нас демократия, кричат они. И снова — деньги, документы, деньги, документы, деньги, документы. Говорят и говорят, как будто нас здесь нет, пока мама не переменит тему.

Мне все равно, кто у нас президент, но если дела не поправятся, и скоро, землю нам не сохранить. Особенно участок у моря, с нажимом говорит мама, у моря.

Рамон вдруг садится прямо. Ах, вот оно что... может быть, как-нибудь устройте нам экскурсию, спрашивает он у мамы, но смотрит на папу.

Как же папе неуютно в компании этих городских, толстых и обрюзгших, в темных шерстяных костюмах, как неловко, когда они потеют, похваляются поездками в Нью-Йорк, расписывают, как

купят то и это, рассуждают о всяких там ресторанах. Столько историй, столько надежд. И папа, в поношенных брюках и ветхой рубашке, слушает, как мама все рассказывает и рассказывает о том, какие там плодородные земли и прекрасные виды.

Никогда не встречала человека трудолюбивее моего мужа, говорит она и умоляюще смотрит на папу, который, поморщившись, снова кладет на колени винтовку.

Мы что, правда продадим землю? — спрашиваю я его.

Врать папа не любит, поэтому молчит. Пусть у меня не будет даже стула, чтобы присесть, частенько говорит он, но моего слова у меня никто не отнимет. Он смотрит сквозь пальцы на мамины улыбки, на то, как она чересчур поспешно втягивает меня в эту карусель, но он уважает братьев Руис. Когда они берут в долг, то возвращают вовремя и с процентами. Когда они дают в долг, они пишут специальную бумагу, чтобы никто не чувствовал себя обманутым. Все знают, что слово братьев Руис — все равно что золото в банке.

Хотите еще пива? — колокольчиком звенит мамин голос.

На следующий день, оставшись со мной наедине, папа вдруг говорит ни с того ни с сего: Ана, я хочу, чтобы ты была счастлива.

Я и так счастлива.

Ты знаешь, что я имею в виду. Он смотрит на меня так, словно ждет, что я заулыбаюсь, или взвизгну, или радостно захлопаю в ладоши. Мне вечно твердят, чтобы я улыбалась, даже когда радоваться нечему. Улыбнись, Ана! Ты же девочка, ты такая хорошенькая! Ты настоящей жизни не нюхала! Иногда я улыбаюсь, просто чтобы отстали. Но сейчас не получается.

Папа уже выпил две бутылки пива, а по такой жаре это все равно что четыре. Краешки глаз у него влажно блестят, свободной рукой он потирает колено, которое болит от долгих дней, наполненных уходом за скотиной и работой на земле.

А ты счастлив? — спрашиваю его я. Его загорелое лицо как море в ночной темноте.

ХУАН ИСЧЕЗАЕТ И НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД — стоит в очереди желающих получить работу в гостинице «Нью-Йоркер».

Ветер хлещет его по лицу. Жидкая кровь стынет в жилах, ноют кости, и, когда ему уже кажется, что он вот-вот умрет от льющегося в легкие холодного воздуха, он начинает считать, сколько дней ему предстоит провести в Нью-Йорке: сто восемьдесят. Проработать сто восемьдесят дней — и хватит заплатить за билеты и отложить сколько-то денег, чтобы отвезти домой. Потом считает годы: двадцать восемь, ему двадцать восемь лет. Девять — он родился девятого числа. Четыре — четверо братьев Руис, двое из которых тоже едут в Нью-Йорк, чтобы работать с ним вместе, а еще один попытался, но не смог вынести нью-йоркских зим и вернулся домой. Хуан считает людей в очереди. Один, два, десять, пятнадцать. Он шестнадцатый. В животе урчит — он не обедал. Кусок хлеба, который он стянул из Фрэнкова холодильника, только раздражил аппетит. Стоящие в очереди не сводят глаз с боковой гостиницы. Ему хочется вернуться к себе в комнату и прижаться к батарее.

Заправь штаны в ботинки, говорит стоящий перед ним парень. Так теплее.

Но Хуан не хочет быть похож на панка.

Наконец открывается дверь, и выходит женщина в черной меховой шляпе. Настоящая кинозвезда. Ярко-алые губы на бледном лице. Она проходит вдоль очереди и обратно, глядя в список. Она выбирает тех, кто ей нужен, а остальных жестом отсылает прочь.

На сегодня все.

Хуан хватается за руку, чтобы привлечь внимание.

А ну пусти.

Простите, но мне очень нужна работа.

Попробуй завтра. Всем нужна.

А они все такие же красавчики, как я?

Фирменное обаяние семейства Руис не подводит и теперь. У всех Руисов глаз горит, и во взгляде не надежда — твердокаменная уверенность.

Подожди здесь. Посмотрю, что можно сделать.

Она уходит в дверь. Хуан садится у порога и ждет. Подходит мужчина, предлагает сигарету.

Не придет она за тобой. Не будь *pendejo**.

Все остальные ушли. А Хуану говорили, что здесь всех берут.

Хуан покупает кофе из фургончика. Обхватывает чашку обеими руками, чтобы согреть пальцы, и медленно пьет. Всякий раз, когда открывается боковая дверь, сердце у него пускается вскачь. Выносят мусор. Кто-то уходит после смены. Кто-то выбрасывает за дверь окурки. Который час, спрашивает Хуан какого-то парнишку. Он решает ждать еще час. Он считает секунды. Минуты. Слишком быстро. Начинает считать медленнее. Сбивается, потому что пальцы онемели. Открывается дверь. Выбегает женщина. Она его не видит.

Простите, кричит он ей вслед.

Ты что, рехнулся? На улице меньше нуля. Иди домой.

Мне нужна работа.

Я же тебе сказала, работы нет.

Вы сказали, чтобы я подождал.

Она отводит взгляд в сторону, лишь бы не видеть отчаянных глаз Хуана.

Я сегодня поработаю бесплатно. Я хороший работник, вот увидите. И завтра вы точно меня выберете.

Женщина вздыхает. Иди внутрь, спроси Хосе. Он скажет тебе,

* Дурак (*исп.*).

что делать. Заплатить сегодня не смогу, но пообедаешь со всеми вместе.

Спасибо. Хуан сияет улыбкой, берет ее руку, целует. Вы ангел, говорит он и бежит к боковой двери, в тепло.

ЕСЛИ ХУАН ДОЛГО У НАС НЕ ПОКАЗЫВАЕТСЯ, МАМА ЗАСТАВЛЯЕТ меня писать ему письма. Расскажи ему, как у нас жарко. Ужасно жарко. Напиши, что очень хочешь увидеть снег. О том, как он слав-но выглядит в костюме, и еще напиши, что зеленый — твой люби-мый цвет, пусть вспомнит твои глаза. Ни у кого таких нет. Может, он даже привезет тебе подарок. Напиши, что ты хорошо учишься в школе. И что любишь цифры, и что они тебе снятся по ночам.

В этом мы с Хуаном похожи. Я тоже всегда считаю, сколько ша-гов до школы, сколько раз учительница повторила одно и то же. Я считаю даже то, что сосчитать невозможно, — звезды в небе, лаймы на дереве в саду.

Напиши, что ты очень любишь готовить. Какие блюда. Не просто «люблю готовить», напиши, что готовишь *pescado con coco*. Пусть знает, что ты не боишься ни рыбу почистить, ни кокос натереть.

Да кто ж боится тереть кокосы, спрашиваю я маму, но она все говорит и говорит.

Пригласи его в гости, напиши, чтобы приходил в прилич-ное время, и ты приготовишь ему достойное угощение. Скажи, что тебе очень хочется его накормить. Что ты по нему скучаешь и очень хочешь увидеться снова.

Но это же неправда, говорю я.

Ой, да какая разница. Что такое правда? Письма — это лассо, просто слова на странице, и мы бросаем их, чтобы заарканить на-дежду.

А может, я этого не хочу.

А чего ты хочешь, Ана?

Я не знаю.

Будь Тереса уткой, ей был бы не страшен никакой Эль Гуар-

дия, говорит мама. А теперь она носит дурное семя, и ничего тут уже не поделаешь. Пробросалась, и жизни конец. Пробросалась! А вот утка не впускает негодную сперму, берет только правильную. И детей делает только с самым лучшим селезнем, а не с каким-нибудь там первым попавшимся задохликом. А еще когда утки спят, то всегда держат один глаз открытым, если только другая утка их не стережет. Учись у уток, говорит мама.

РАМОН ГОВОРИТ, ЧТО ПЕРЕДАЕТ ВСЕ МОИ ПИСЬМА ПО НАЗНАЧЕНИЮ,

но Хуан никогда не пишет в ответ. Он очень занят работой и всем прочим, что там делают в Нью-Йорке.

Вот, послушай, говорит Хуан парню, который стоит перед ним в очереди.

Что угодно, лишь бы не думать об этом холоде.

Встречаются два приятеля, и один другому говорит: не знаю, что делать с дедушкой. Он все время грызет ногти. Другой отвечает: мой тоже грыз, но я нашел способ.

Какой? Связал ему руки?

Нет, спрятал его зубы.

Стоящие вокруг мужчины хохочут. Хохочут так громко, что даже не замечают дамы в черной меховой шляпке. Дама указывает на них пальцем.

Хуан впервые видит ее улыбку. Она ничем не выделяет его из остальных в очереди, но Хуан все равно говорит Рамону, что она на него запала.

Цыпочка из Пуэрто-Рико, менеджер — на тебя, латинос, иммигрантишка желторотый? Мечтай больше.

А вот увидишь, говорит Хуан, твердо вознамерившись ему доказать. За пятьдесят центов он покупает на улице красный шарф и теперь отчетливо выделяется на фоне остальных, которые ходят в сером и коричневом.

Увидев его, она окидывает его оценивающим взглядом.

Говоришь по-английски, спрашивает она Хуана.

Беди гуд.

Нужен швейцар на сегодня. Наш заболел.

Он замечает у нее на руке обручальное кольцо.

Seguro que yo speako English*, говорит он, торопливо идя за ней следом.

Если провалишь дело, больше сюда не приходи.

Sí, señora**.

И не называй меня так. Я сразу кажусь себе старухой.

Простите, señога. Я хотел сказать — señorita.

Спроси Хосе. Он даст тебе форму и скажет, что делать.

Gracias, señога. Вы красавица, señога.

Ты ненормальный, говорит она, и они смеются вместе.

А как вас зовут? — спрашивает наконец Хуан.

Каридад. Каридад де ла Лус.

Начиная с этого дня Каридад всегда выбирает в очереди Хуана и дает ему разную работу. Он учится правильно накрывать на стол: вилки для каждого блюда должны лежать слева, а ножи справа, тарелки для хлеба и масла — над вилками. Он учится отличать бокалы для белого вина от бокалов для красного. Учится складывать салфетку так, чтобы получилась птица. Когда-нибудь, думает он, он все это будет делать в собственном ресторане в Доминикане.

Мыть посуду дело унылое, ему больше нравится убирать со столов, а еще больше — встречать посетителей на входе, потому что там дают хорошие чаевые и никто не стоит над душой. К концу дня от непрестанной улыбки ноет челюсть, а от необходимости все время стоять болят ноги, но Хуану все равно нравится быть при деле, потому что, когда дела нет, ему становится одиноко и грустно, и он скучает по Санто-Доминго и по девочкам, у которых там, дома, он никогда не знал отказа. В Нью-Йорке женщины непростые. Такие женщины, как Каридад, непростые. Многие замужем за военными, ждут мужа, который вдруг раз да и уехал на какую-нибудь войну. Таких женщин нужно выводить в ресторан, говорить с ними без конца.

Рамон напоминает Хуану, что тот приехал работать, а не раз-

* Я действительно говорю по-английски (*исп.*).

** Да, сеньора (*исп.*).

бираться с бабскими заскоками. Он говорит, что Хуану нужна скромная девочка из хорошей семьи, вроде меня.

По указке брата Хуан посылает мне чек на пять долларов, на личные расходы, говорит он, и бусы с зелеными камушками, потому что у меня зеленые глаза.

В письме ничего лишнего: Ана, пожалуйста, дождись меня.

КАК ГОВОРIT ПАПА, ПО КАПЕЛЬКЕ ВЕДРО НАПОЛНИТСЯ, ЕСЛИ только не спешить. Где-то посреди маминых писем, бесплатного пива и ежегодных визитов Хуан Руис наконец официально просит моей руки. Мне пятнадцать. Хуану тридцать два.

Он приезжает днем вместе с Рамоном. Трезвый — по крайней мере, настолько трезвым я его еще не видела, — руки держит при себе и не хватается за меня, маму, стул или дерево, чтобы удержаться на ногах. Я впервые вижу его. По-настоящему вижу. Он даже снимает пиджак. В сшитом на заказ жилете, без подкладных плеч он кажется не таким широкоплечим, не таким страшным.

Ана? Хуан говорит так серьезно, что все тут же смотрят на нас, затаив дыхание. На мне воскресное платье, желтое, выцветшее, такое тугое, что в нем невозможно дышать. Голова увенчана копной кудряшек. Во рту пересохло, горло перехватывает. Я с самой первой серенады знала, что так оно и будет. Хуан нависает надо мной. Я утыкаюсь взглядом в тонкие серые полоски на его жилете, смотрю, как они сходятся на лацканах. На щеках у него прорастает щетина, по щетине бежит пот. Я стараюсь на него не смотреть. Но никто не отводит от нас глаз. Тереса стоит совсем рядом, держит сына на бедре. У матери обнажились зубы, на нижней губе запеклась помада. Йонни и Ленни развалились на скамье, как собаки в жару, когда у них языки наружу. Я ищу взглядом папу. Он стоит молча, признавая поражение.

Где же твоя винтовка? Ну что ты смотришь? — хочется закричать мне.

Что? — спрашиваю я. Кажется, у меня опять помада на зубах.

Тут вдруг Хуан достает из кармана платок и стирает помаду.

Что ты делаешь?

Я отталкиваю его.

Тебе это не нужно. Тебе не нужно краситься, говорит он. Ты и так красавица, таких, как ты, больше нет.

Он плывет от одного взгляда на меня. Я пошире распахиваю глаза. Выпячиваю грудь, чуть улыбаюсь краешком губ. Такого, как Хуан, любая с руками оторвет — виза, доллары, доброе слово, пока-тает в машине, покормит бесплатно в собственном ресторане. Обо всем этом мечтает моя мама, но мне спешить некуда.

Выйдешь за меня замуж? — спрашивает он.

За спиной у Хуана стоит Рамон, будто без него Хуан не выдержит, убежит, откажется от своих слов. Тут я понимаю, что Хуан, должно быть, не так уж и хочет на мне жениться. Все дело в земле, которая принадлежит моим родителям.

Я могла сказать «нет». Губы Тересы плотно сжаты в гримасе неодобрения. У тебя есть права, сказала она мне накануне. Ты сама себе хозяйка.

Я оборачиваюсь к папе в поисках ответа. Давай же, ответь ему, подталкивает меня папа.

Мама в полном согласии с ним берет его за руку, и это так необычно, и Рамон все понимает, потому что улыбается и пожимает папе руку, как будто я уже согласилась, хоть меня никто по-настоящему и не спрашивал.

Йонни и Ленни бегают вокруг и поют:

Мне нравится в Америке... в Америке все даром, olé.

Почти сразу же взрослые отходят в сторонку, чтобы все обговорить. Йонни и Ленни хватают меня за руки и кружат, как в мюзикле «Вестсайдская история», который мы видели в театре в центре города. Из дому выбегают Хуанита и Бетти и присоединяются к празднику.

Вау, prima, как тебе повезло, говорит Бетти. Не забудь прислать мне подарок.

И мне! В голосе Хуаниты мешаются зависть и надежда. Как увидишь тамошние огни, так больше никогда и не захочешь возвращаться.

Принеси *refrescos**, кричит мама, обращаясь к Йонни. Это надо отпраздновать.

Тереса тяжело уходит в дом и смотрит на происходящее из окна. На руках она держит ребенка и прижимает его к себе крепко-крепко, к груди, словно хочет скрыть от меня свои мысли. Кто будет прикрывать меня, когда она упорхнет? Кто будет делать всю работу по дому?

Осознание приходит как удар: я уеду. Страх, тревога и возбуждение наполняют мое тело. А когда я уеду, никто больше не будет обращаться со мной по-прежнему. Моя жизнь станет источником бесконечных сплетен Хуаниты и Бетти, которые после наводнения остались без родителей и жили с нами, сколько я себя помню. Я буду женщиной при деньгах, в хорошей одежде и с чудесной кожей, потому что Хуан купит мне в Америке хорошие лосьоны. А еще будут списки, много списков, и заказы, которые я должна буду исполнять.

* Закуски (*исп.*).

НЕВЕСТЕ ПОЛАГАЕТСЯ НОВОЕ ПЛАТЬЕ, ПОЭТОМУ МАМА ВЕЗЕТ
меня к Кармеле в Сан-Педро-де-Макорис на примерку.

А как же школа? — говорю я.

Тебе туда больше незачем.

Не могу же я так уйти. Я даже ни с кем не попрощалась.

За этим «ни с кем» она нюхом чует Габриэля. Она не позволит ему сломать все, что выстроено.

Мама оборачивает голову шарфом, снимает с крючка ключи от мотоцикла. Не медля ни мгновения, она перебрасывает ногу, садится в седло и кричит: ну, поехали!

Она занимает почти все седло, но я как-то все же устраиваюсь у нее за спиной.

Шпарит солнце. Она сует мне зонтик и ждет, чтобы я его открыла. Мотоцикл чихает и кашляет, но в конце концов выкатывается на дорогу, оставляя позади облако пыли. Мы долго-долго едем по узкой дороге между полей тростника. Я крепко держусь за маму, прижимаюсь головой к ее потной спине, чувствую вкус океана у нее на коже. С виду может показаться, что мы так близки.

Вдруг на нас обрушивается бряканье жестянок, гудки кораблей, вонь воды, застоявшейся в глубоких выбоинах. Каждый дюйм городских улиц запружен автомобилями и мотоциклами. Набережная Малекон трещит по швам — здесь торгуются, гуляют, сплетничают, пьют. Продают лотерейные билеты и кокосовые орехи. Мужчины свистят и шипят вслед маме, юбка которой задралась так высоко, что видны толстые коричневые ляжки, которые кажутся еще толще рядом с моими костлявыми ногами.

Cochino!* — орет она в ответ зевакам.

Ни одного приличного человека, говорит она и требует, чтобы я держалась еще крепче, а сама пробивается сквозь пробку вокруг парка в центре города, единственного убежища, укрытого пальметтами и миндальными деревьями от безжалостного солнца.

Мама подъезжает к дому Кармелы — только он один и есть в этом квартале из бетона. Некогда он был красным, но выцвел до розового, и на переднем дворе в беспорядке торчат карликовые пальмы.

Кармела! — кричит мама у железных ворот.

Мы заглядываем в дом. В окно мне виден безголовый манекен в глубине комнаты. Мама оглядывается, замечает мои намокшие глаза и прижатый к шее подбородок.

Смотри веселей, говорит она, когда Кармела выходит нас поприветствовать. Ее волосы плотно уложены вокруг головы. Улыбка на пол-лица. У тебя в жизни начинается новое чудесное время. И у всех нас!

Кармела ведет нас в спальню. На полке лежат рулоны тканей. На столике у окна устроилась черная металлическая швейная машинка. С потолка свисает лампочка без абажура. Рядом с рабочим стулом шумит и крутится туда-сюда напольный вентилятор. На протянутой от стены до стены веревке приколоты кусочки ткани и вырезки из журналов с фотографиями платьев, которые заказали портнихе клиентки.

Плохо дело, говорит Кармела, в городе не найти ни клочка белой ткани. До церемонии первого причастия всего две недели, и всем девочкам от шести до восьми лет шьют платья вроде подвенечных.

Мама обмахивается журнальной вырезкой с моделью от Макколлы, взятой со стола Кармелы.

Я улыбаюсь про себя. Может быть, это знак, и свадьбу отложат — а лучше вообще отменят.

* Свинья! (исп.)

А какие есть цвета? — спрашивает мама.

Что? — вопрос вылетает у меня сам собой, и они обе вздрагивают.

Какие есть цвета, Кармела?

Для невесты? Кармела скривила лицо, но все же предлагает три варианта. Сияющая золотая парча — нет, ни в коем случае, — черный лен и рулон красного хлопка.

Мама щупает красную ткань на швейном столике.

Это скорее розовый, огненно-розовый, говорит Кармела. Она поворачивается и достает из комода длинный кусок белого кружева. Встает у меня за спиной и прикладывает кружево мне к груди, чтобы мама оценила эффект.

В комнате нет зеркала, и сама я на себя посмотреть не могу. Я сейчас должна быть в школе. Габриэль, мой единственный друг, удивляется, куда это я пропала. Я не могу уехать в Америку, не попрощавшись с ним.

Мама сосредоточенно рассматривает розовую ткань, почти как фламинго, и белое кружево.

Очень ярко. Есть что-нибудь еще?

Есть черное, но она же не на похороны собирается. Тут Кармела умолкает, и я чувствую, что за моей спиной она говорит что-то совсем другое.

Мне нравится черный, говорю я.

Мама отталкивает мою руку. Сшей ей что-нибудь симпатичное из розового, Кармела. И побольше белых кружев. Чтоб все видели, что моя дочь невинна.

Мы выходим под полуденное солнце. Мама открывает зонтик. Берет меня под руку. Заставляет сесть на бетонный выступ у стены дома Кармелы. От запаха жареного платано и рыбы мне хочется есть. На земле валяется абрикос, по абрикосу маршируют муравьи. В гостиных и кухнях играют, перекрикивая друг друга, радиоприемники. На противоположной стороне улицы какие-то мужчины

положили на ящики кусок картона и играют в домино. Женщины развешивают во дворах постиранное белье. Двое мальчишек играют в салки.

Мама достает из бюстгальтера сигарету.

Ты куришь?

Только по особым случаям.

Она останавливает прохожего, просит у него огоньку, затем отпускает взмахом руки. Сделав затяжку, она протягивает сигарету мне. Я кривлюсь с отвращением.

Главный урок, который надо выучить в жизни, чтобы выжить, говорит она сквозь едкий дым: научись притворяться. Не хочешь — не кури, но с сигаретой можно выглядеть шикарно, как кинозвезда.

Это не ко мне.

Она запрокидывает голову, делает затяжку, выдыхает. Солнце за спиной обрисовывает ее силуэт. У нас одинаковой формы глаза и губы, большие, округлые. Одинаковые жесткие волосы на затылке.

Наконец мама делает вдох, подмигивает и улыбается мне.

Если будешь делать такое лицо, *pendeja*, в Нью-Йорке тебя сожрут живьем. Тебе надо быть пожестче, Ана. Думаешь, мне нравится быть такой, какой я стала? Но твой отец слишком слабохарактерный. Он ни разу в жизни ни за что не дрался. Даже за меня.

Ты же всегда говорила, что он тебя буквально преследовал.

Ха. Раскрой глаза пошире, не жди, пока их тебе откроют другие. Слышишь меня?

В этот день мама — волчица, которая гонит прочь выросшего волчонка.

Ты едешь в Америку и делаешь вид, будто тебе плевать, о чем говорят его братья, но сама слушаешь и все подмечаешь. Он из очень трудолюбивой семьи, там хорошие мужчины, предприимчивые. У них есть чему поучиться. Братья Руис были такими же бедняками, как мы. Но они трудились и помогали друг другу. В отличие

от моей родни или родни твоего отца — жадное тупоголовое дурачье, только о себе и думают. А теперь мы породнимся с братьями Руис. Рамон собирается строиться на нашей земле, и, когда ты выйдешь замуж, никуда они от нас не денутся. Нам это нужно — особенно твоему отцу. Нашим садам недолго осталось. Вишня уже гниет, на манго напала мучная роса.

С фруктами год на год не приходится, напоминаю я. Неурожайный год, такое уже бывало.

Хочешь ждать у моря погоды? У этой семьи ресторан в столице, прямо на берегу. Спорю на что угодно — шикарный, на столах тканевые салфетки, в зале канделябры, в ваннх биде и плитка. А вдобавок Хуан работает с братом в Нью-Йорке и собирается открыть еще бизнес и еще. Они очень обстоятельные люди. Упорные. Умные. Ты же хочешь учиться, да?

Да, я хочу учиться, и, может, когда-нибудь у меня будет свой бизнес. Я изо всех сил сдерживаю слезы.

Мама затягивается в последний раз и кладет окурок на приступку. Она приподнимает мой подбородок, так нежно, что я успеваю удивиться.

Запомни: с тобой все будет хорошо. Ты едешь в Нью-Йорк. Ты будешь убирать его дом и готовить ему так, чтобы он каждый вечер возвращался домой. Смотри, чтобы он никогда не выходил из дому в невыглаженной рубашке. Напоминай, чтобы вовремя брился и стригся. Подстригай ему ногти, пусть другие женщины видят, что о нем есть кому позаботиться. Напоминай, чтобы он посылал нам деньги. Напоминай, чтобы заботился о тебе. Обязательно копи для себя, но ему не говори. У женщин свои нужды. И всегда будь сильной, всегда. Никому и ничему не позволяй соблазнить тебя или сманить с верного пути. Город — логово хищников, а ты всего лишь девочка. Моя маленькая глупенькая девочка. Я приеду к тебе в Америку, как только ты за мной пошлешь. Мы все приедем в Нью-Йорк, к тебе, и вместе чего-нибудь да добьемся. Клянусь тебе, и Бог мне свидетель.

Разве у меня есть выбор? Что будет со мной, с братьями, если я останусь?

Помнишь твою *Tiá** Клару? Ее дочь вышла замуж за мужчину, который работает в Нью-Йорке, и теперь он каждый месяц посылает деньги ее семье. Ни разу не пропустил. У них цементный пол в доме и новая ванная.

Я не хочу плакать. Но плачу.

Ох, *mi'jita***, не надо. Ну вот, на нас все смотрят. Не глупи. Посмотри на этих детей. Видишь вон тех?

Мама показывает на каких-то босоногих мальчишек, которые тащат корзины с арахисом и очищенными апельсинами. Знаешь, чем занимается каждый день твой брат Йонни, пока вы с Ленни сидите в школе?

Я отворачиваюсь. Мама берет меня за подбородок и заставляет смотреть сквозь слезы.

И как только Ленни научится считать и писать свое имя, он будет делать то же самое.

Да, я знаю. Знаю. Я каждый день глажу Йонни рубашки, а он приходит грязный с головы до ног, потому что таскает корзины вдвое тяжелей его самого и сидит у дороги, поджидая покупателей, которые пожелают купить свежего мяса или фруктов из папиного сада. Знаю, что, пока он все не продаст, домой возвращаться нельзя.

Не вешай нос, смотри веселей. Когда ты ходишь такая унылая, у папы сердце разрывается.

* Тетушка (исп.).

** Доченька (исп.).

Я ТВЕРДО СТОЮ НА СВОЕМ: НЕ УЕДУ ИЗ ЛОС-ГУАЙАКАНЕС, ПОКА

не попрощаюсь с Габриэлем — единственным, кому не все равно, что я говорю. На следующее утро, когда мама еще не встала, я собираюсь в школу. Раздуваю угли, готовлю горячий шоколад для завтрака, режу хлеб. Выпускаю кур, проверяю кормушки и поилки. Я завидую их свободе. Хорошо им, гуляют где хочется, и никаких забот. Я подметаю пол в гостиной — за ночь на нем всегда собирается слой пыли. Смотрю на фотографии, у нас их всего две: на одной папа с мамой в день свадьбы, а на другой мы все вместе. Три года назад нас сфотографировал какой-то турист, а потом прислал фотографию. Это единственная фотография, на которой собралась вся семья.

Солнце еще невысоко, скот жметя к деревьям и кустарнику. Я натягиваю воскресное платье и тихо выхожу из дома.

Я иду очень быстро, теперь я не услышу, если мама начнет кричать, чтобы я вернулась. С собой у меня тетрадь и острый карандаш. Я иду напрямик через поле, заросшее сорняками и диким табаком, перепрыгиваю пучки травы на камнях. Мне нравится, как веточки кустов и травинки щекочат мне руки, словно говоря: до свидания, Ана, не забывай нас. Про себя я твержу цифры и повторяю, как пишутся слова. D-e-s-e-o: желание. A-l-t-u-g-a: высота. P-g-o-g-g-e-s-o: прогресс. Все будет хорошо. Все будет хорошо.

Когда я дохожу до домишки в одну комнату, где располагается школа, я не могу дышать. Я сижу на обочине и пытаюсь прийти в себя. Может быть, я умираю? Внутри какая-то пустота. И боль. Я обхватываю колени, чтобы успокоиться. Дыши, Ана, дыши. Неужели я больше никогда не приду в школу? Как же так, как вообще

может человек попроситься со всем, что ему дорого, всем, что он знает?

Вскоре из солнца выезжает Габриэль, запыхавшийся ангел, с натугой жмет педали, поднимаясь в гору. На висках у него капли пота.

Что с тобой? — спрашивает он и сводит густые брови.

Я надеюсь, что он поймет, и говорю, что мне здесь быть нельзя. Он смотрит на меня, и я вдруг срываюсь с места.

Я бегу от школы прочь, отрицая неизбежное. Впереди — проход сквозь поля.

Отстань от меня! — кричу я Габриэлю. Я выхожу за Хуана, punto, все.

Я бегу мимо полевых рабочих, которые заносят мачете, стоя на коленях, и рубят тростник у самой земли. Хруп. Хруп. Хруп.

Стой! Габриэль встает в седле и крутит педали еще быстрее. Там змеи.

Где? Я останавливаюсь, визжу, подпрыгиваю.

Везде, смеется он, догнав меня. Давай уйдем, пока они не сползли.

Не смешно.

Тяжело дыша, я иду к дороге. Он катит следом на велосипеде.

Хочешь, отвезу тебя домой?

Не надо. Уходи.

Он осторожно берет меня за руку и тянет, заставляя поднять голову. Какой славный день. В небе ни облачка. Зелень деревьев переливается всеми оттенками. В любой другой день я шараялась бы прочь от Габриэля, но от его настойчивости у меня земля уходит из-под ног.

А пойдем купаться?

До берега всего миля, но я уже много месяцев не подходила к воде. Что за странные мысли. А впрочем, ничуть не более странные, чем предложение руки и сердца от Хуана Руйса.

Он говорит, я работаю в одном доме с бассейном, там живут gringos*. Они мне разрешают плавать, когда их нет.

Правда?

Ага, представляешь? Они вообще не напрягаются.

Ладно, говорю я и запрыгиваю на велосипед. Он быстро крутит педали, едет напрямик через поля, по грунтовой дороге. Держись, говорит он, и я обхватываю его за талию; наши тела сталкиваются и подпрыгивают на камушках и ветках. Он крутит педали, и мы поднимаемся на холм, о существовании которого я не подозревала, и оказываемся под стеной душистых цветов, каких я никогда не видела. Дом в колониальном стиле смотрит вниз, на долину; Габриэль оставляет у дома велосипед. Повсюду железные ворота с огромными навесными замками, и у Габриэля есть все ключи.

Я уже два года у них работаю. И никому говорить нельзя, потому что, если кто-то узнает, что дом стоит пустой, то все. А они хорошие ребята, эти gringos.

Ты здесь ночуешь?

Когда они в отъезде — да. Я тут вроде сторожа.

Diablo**, а ты умеешь хранить секреты.

Он сгибает руку, демонстрируя мне свои невеликие мышцы, и спрашивает: хочешь посмотреть мою комнату?

Я никогда не оставалась наедине с мальчиками, если не считать братьев. В ушах звенит мамин голос: даже не вздумай, не смей. Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Я иду вслед за ним по выложенной плиткой дорожке вокруг дома, он отпирает замок комнаты для прислуги. В комнате широкая кровать, стол, вентилятор на потолке, окно, которое выходит на бассейн, кресло, ярко-красные простыни и такие же занавески. Маленький телевизор, душевая кабинка, раковина. Стены выкрашены в яркий желтый цвет, а бетонный пол темно-красный.

* Иностранцы, как правило англоговорящие (исп.).

**Черт (исп.).

Как не похожа эта комната на ту, где я жила, когда две недели работала в одной семье из Сан-Педро. Моя комнатуха располагалась на задах. В туалете не было двери. Полы так и не покрасили. Мне было сказано не пользоваться туалетом в главной части дома. У меня были отдельные тарелки и стаканы, а детям объяснили, что деревенские разносят заразу, потому что живут под одной крышей со скотиной.

У Габриэля даже телевизор есть. Никогда не видела человека, у которого есть телевизор.

Может, я могла бы жить в этой комнате с Габриэлем, готовить для gringos, убирать у них в доме...

Ткань на кровати такая мягкая — простыни gringo. Какие еще секреты хранит Габриэль?

Пойдем, покажу тебе бассейн.

Габриэль стоит на расстоянии вытянутой руки, застенчиво и скромно, совсем не похоже на грубияна Хуана, который вечно тычет и щупает меня, будто лошадь.

Я иду за Габриэлем. Он трогает воду в бассейне, проверяя, нагрелась ли.

Еще рано, поэтому вода холодноватая, говорит он. Сбрасывает одежду, оставшись в одних узких трусах, и ныряет в воду головой вниз.

Иди сюда, машет он мне. Я сто раз купалась в нижнем белье вместе с Ленни и Йонни, но с настоящим мальчиком — ни разу.

Я не буду смотреть, честное слово, говорит он, отворачивается и ждет.

Я снимаю платье.

Не смотри! — кричу я, потому что лифчика у меня нет. Я прыгаю в бассейн. Холодная вода плещет на кожу. Я ахаю. Габриэль смеется. Плышет на спине через весь бассейн. Переворачивается и плывет по-обычному. Я слежу за ним беспокойным взглядом. Я умею только лежать на воде.

Я тебя научу, говорит он.

Тогда ты меня увидишь.

Я прикрываю грудь руками. Всей груди — два бугорка, но я все равно прикрываю.

Подумаешь, говорит Габриэль, у меня все равно больше.

И выпячивает грудь.

Ах ты, говорю я и брызгаю в него водой, а потом раскидываю руки и ложусь на воду спиной. Он подводит под меня руки. Сверху горячей волной наплывает солнце. В ушах вода. На мгновение я воображаю, что одна здесь, только я и солнце.

А теперь молоти ногами, Ана. Изю всех сил.

Я молочу так, что нам в глаза плещет водой.

Он вылезает из бассейна первым и стелет на пол полотенце, чтобы я могла сесть. Словно стараясь не разглядывать мое тело, он показывает мне вид на долину. Далеко-далеко плывут облака, дразня своим видом нас и иссохшую землю. Вот уже которую неделю не было дождей. Он сидит так близко, что его пальцы касаются моей ноги. Волоски у меня на шее встают дыбом. Сколько прошло времени? Мы сидим в молчании; его рука касается моей, мое сердце несется вскачь.

А вдруг коготок уже увяз? Вдруг я сейчас поверну голову и встречу его губы?

Я жду его движения, но он не шелохнется. Он переносит вес сначала на одну руку, потом на другую. Он ведет себя так, будто у нас в распоряжении вечность. Но у меня вечности нет, поэтому я целую его прямо в рот, прикрыв грудь ладонями. Стиснув пухлые губы, зажмурившись, мы прижимаемся ртами как мягкими подушками. Внутри у меня все переворачивается, будто я все еще в воде. Я чувствую, как нить тянется от места между ног сквозь сердце и прямо в горло. Не отстраняйся. Не смотри на меня. Не надо. Не надо. Что я наделала? Не о том ли предупреждали меня Тереса и мама? Не об этой ли беде, не о том ли, что, раз начав, уже не найдешь пути назад? Мы отрываемся друг от друга и хихикаем. Я стискиваю ноги, широко открываю глаза, сжимаюсь в комочек

крепко-крепко, туго-туго, перекрывая все ходы и выходы. Габриэль смущенно отводит взгляд.

Мне пора домой, говорю я. Если не вернусь сразу, мама меня убьет.

Я тебя отвезу.

Он вытирает шваброй края бассейна, словно стремясь стереть с них то время, что мы провели вместе. Я напяливаю платье, боясь остаться еще хотя бы на минуту, боясь себя самой.

Он высаживает меня у самого дома и спрашивает, завтра увидимся? Улыбка на пол-лица.

Да, конечно, отвечаю я. Как будто моя жизнь не должна вот-вот перевернуться вверх тормашками.

Мамы дома нет. Уф-ф. Я бегу к себе в комнату, к зеркалу, и проверяю, не оставил ли поцелуй с Габриэлем следов на лице. Глядя в зеркало, я морщу губы. Они как будто распухли, как будто стали другими.

ОДИН ПОЦЕЛУЙ — И Я ТЕПЕРЬ UNA MUJER*. НЕ NIÑA,**
не jovencita***, а женщина. Я трогаю зеркало, пытаюсь понять, как же это вдруг так вышло, но на мне ярко-розовое платье, и девочки, которую никогда не целовали, здесь больше нет. Я Ана, я вот-вот выйду замуж и уеду в Америку. Хуан Руис обещал приехать еще до полудня.

Я смотрю в кривоватое зеркало, по вырезу и дальше, вокруг плеч топорщится белое кружево. Платье туго обтягивает талию и едва прикрывает колени. Хуанита взбила мне волосы, стянула их в узел на темени и перетянула витыми ленточками, розовыми и белыми, одна поверх другой. Я подбочениваюсь, покачиваю бедрами. Я это или не я?

В Нью-Йорке у меня будет целый шкаф платьев и украшений. И куча сумочек и туфель. Хуан даст мне денег, и я каждую неделю буду ходить в салон на маникюр. Потом он поведет меня на бродвейское шоу и на танцы с живой музыкой. Наш дом будет полон друзей и родных. Каждый день будет как праздник.

Входит мама с косметичкой в руках.

Иди к окну. Там свет лучше, говорит она.

Я опускаюсь на пол и прижимаюсь к ее коленям. Вытягиваю спину в струнку, чтобы маме было хорошо видно мое лицо.

Смотри вверх, говорит она и красит мне ресницы тушью, а потом дует на них, чтобы высохли. Оттягивает мне веко и проводит по краю полоску, откинувшись назад, чтобы лучше видеть.

Дай посмотреть, дай посмотреть, говорю я и прыгаю к зеркалу.

* Женщина (*исп.*).

** Девочка (*исп.*).

*** Девочка-подросток (*исп.*).

Вот это да! Глаза у меня стали вдвое больше. А ресницы — вдвое длиннее.

Мама втирает мне в щеки розовый крем и бранится — какая я стала смуглая. А я еще и в бассейне с Габриэлем загорала.

А если бы Габриэль меня сейчас увидел? Решил бы, наверное, что я слишком взрослая.

Мама мажет мне губы красной помадой и велит подвигать ими туда-сюда, чтобы ровно легло.

Хуан не любит помаду, говорю я.

Это только чтобы сделать фотографию, отвечает она. Иначе губы будут не видно.

Она промокает их салфеткой. Этот трюк она недавно вычитала в журнале. Чтобы не пачкало зубы, говорит она.

Я снова бросаюсь к зеркалу, вспоминая все те ночи, когда Тереса воровала у мамы косметику и красилась, собираясь на свидание с Эль Гуардией. Я улыбаюсь, чтобы мама видела: на зубы не попало. У всех свои маски.

Мама усаживает меня перед домом на деревянную скамью в тени миндального дерева, здесь куда прохладнее, чем в доме — вот где настоящая душегубка. Тереса, Йонни, Хуанита и Ленни уходят на пляж.

Сними ты это платье, Ана, требует Тереса. Эль Гуардия будет с минуты на минуту.

На ней купальный костюм в обlipку, а поверх просторная мужская рубашка, чтобы прикрыться от солнца.

Мой младший брат Ленни уже в обрезанных у колена штанах, хлопает потной ладонью по моей ладони.

Габриэль тоже придет, подначивает Тереса, как будто знает о поцелуе.

Жаль, что я все пропущу, говорю я, вспоминая мамино предостережение. Чтоб ни волоска из прически не выбилось. Чтоб ни пятнышка на платье или еще где.

О-о-о, Габриэль, дразнится Ленни.

Я стараюсь не краснеть.

Когда он вез меня на велосипеде домой, я чувствовала между ног то самое, что мама называет дьяволом, крадущим рассудок. Лишившись рассудка, женщина совершает ошибки. Большие ошибки, как Тереса, которую дьявол ухватил в тот самый день, когда Эль Гуардия присунул ей свой огурец и сделал ребенка, лишний рот, который маме теперь приходится кормить.

Идите уже, говорю я. Мама меня убьет, если я встану со скамейки.

Однажды Йонни надерзил ей, и она так треснула его ручкой метлы, что он потерял сознание. Она плакала целых три минуты или даже пять, потому что мы все думали, что он умер.

Ты что, правда хочешь уехать с этим старикашкой? — спрашивает Тереса. Сиськи у нее торчат вперед как гранаты.

Да, Хуан и в самом деле староват, и никогда не был женат, и детей у него нет. Маму это беспокоит, но он из хорошей работающей семьи, этим людям можно доверять. К тому же он высокий и красивый, и ботинки всегда начищены. А главное, из всех девочек, которых он мог взять в жены и увезти в Америку, Хуан выбрал меня.

Слушай, Тереса, говорю я наконец, голодному и черствый хлеб в радость. У меня нет выбора.

Тереса достает из сумки маленькое полотенце и промокает им пот, выступивший у меня под волосами и на шее. Она жевала фенхель, и дыхание у нее такое чистое.

Ты с этой пудрой похожа на привидение. Еще и платье это. Бедная ты, бедная.

А мне нравится, бурчу я. Я всю жизнь донашивала за Тересой ее дешевые платья, хотя сестра толще и ниже меня. Наверное, она завидует. От платья пахнет новизной, оно жесткое и шуршит.

Да ладно тебе, Ана, пошли на пляж. Подождет твой старикашка.

С дороги сигналил Эль Гуардия, и мы вздрагиваем. Одна дверца у его автомобиля отвалилась, но он временно примотал ее скотчем. Из радиоприемника гремит меренге. Эль Гуардия жмет на сигнал.

Тебе не обязательно выходить за него, говорит Тереса, протягивая руки. Эль Гуардия заставляет двигатель рыкнуть, а она напоминает, что на берегу меня ждет Габриэль.

Я трогаю губы. Там, под помадой, я все еще чувствую вкус его поцелуя.

Но тут мама — настоящий экстрасенс — выбегает из дому и замахивается на Тересу кухонным полотенцем.

Отстань от нее. Тебе обязательно ломать Ане жизнь? Себе ты уже сломала.

Мама поворачивается ко мне и спрашивает: хочешь навсегда остаться здесь с каким-нибудь паршивым пижонем и неудачником вроде Эль Гуардии, который и собственного ребенка прокормить не может? Или лучше поедешь в Нью-Йорк с уважаемым трудолюбивым человеком, и заработаешь денег, и семье заодно поможешь?

По крайней мере, Эль Гуардия меня любит, кричит в ответ Тереса, перекрывая голосом грохот музыки из машины.

Любит, любит, как же. Да что вы знаете о любви и о настоящей жизни. Витааете тут в облаках.

Я не могу смотреть ни на ту, ни на другую, поэтому смотрю на Йонни, который привязывает к дереву козочку. Если ее отпустить, она убежит. Козочка смотрит на меня с тоской. Мне хочется ее погладить.

Тереса упирается ногами в землю, ноздри у нее раздуваются. Если я побегу, она схватит маму и будет держать.

Я прикусываю изнутри щеку и вдыхаю запах свежескошенной травы, сирени и навоза, гнилых манго под деревом. За криками и музыкой слышен полет колибри — хлоп-хлоп-хлоп, хлопают их крылышки, — скрежет гравия под ногами у Ленни, дыхание Габриэля у моего уха. По крайней мере, я поцеловала его, когда представилась возможность.

Эль Гуардия опять сигналил. Он знает, что при маме ему лучше из машины не выходить. Когда она в самый первый раз подмети-

ла взгляд его дьявольских глаз, устремленный на Тересу, то сразу предупредила: если будет путаться с ее дочерью, она ему хрен отрубит. А все знают, что мама может с закрытыми глазами разделять курицу.

Ну же, Ана, борись.

Тереса не отстает, а ведь знает, что о браке давно договорено и скреплено терпким ликером.

Отстань от нее! — кричит Тересе Йонни.

Перед лицом чужой настойчивости я превращаюсь в муравья. Я не такая, как мама и Тереса, — они-то будут биться до последнего дюйма, до последнего вздоха.

Вот именно, отстань, говорит Ленни и встает передо мною, скрестив руки на груди, хоть и знает, что Тереса может смести его с пути одним мизинцем.

Не волнуйся, говорю я. Когда-нибудь вы все приедете ко мне в Нью-Йорк. Вот увидишь.

И будем кататься на метро? — мечтательно перебивает меня Йонни.

И делать спикинглиш, говорит Ленни.

У тебя там никого нет, говорит Тереса. Ни одного родного человека. Кто тебя защитит? Она прижимает свой лоб к моему, и наша кожа склеивается от пота.

Йонни, как в карате, лягает воздух ногой, и мы шарахаемся друг от друга.

Я буду тебя защищать, говорит он. Я прилечу и всех отпинаю.

Мальчишка с сердцем мужчины, вот он каков, наш Йонни.

Я стараюсь не смеяться, чтобы не расстраивать маму. Она надеется, что я все сделаю как надо.

Хватит, Тереса. Я не хочу на пляж, ясно?

Тереса закатывает глаза и обнимает меня как в последний раз.

Мама ужасно горда мною. Она знает единственно верный ответ, и наконец-то я его приняла.

Ну хватит, хватит, машет рукой мама. Идите, идите. А то еще

Хуан увидит, как вы плохо влияете на Ану, хулиганы, говорит мама.

Ленни и Йонни с визгом и воплями несутся к машине Эль Гуардии. Они лезут в открытое окно на заднее сиденье и машут мне, выставив руки.

Ты совсем как папа, говорит Тереса, мама тоже вечно им командует.

Но даже она понимает, что этот брак важнее меня. Хуан — это наш билет, когда-нибудь мы все уедем в Америку.

Солнце безжалостно жалит мне лицо сбоку. Я пытаюсь думать о пляже, о том, как волны бьют о камень, о смехе и веселье. О Габриэле и о ключах, которые он носит в кармане. О том, как его взгляд скользил по моему телу, и глаза были как пальцы. Я запомнила тугие завитки его кудрей, его кожу, которая светится оранжевым и коричневым, как будто внутри кто-то зажег свечу.

Все это утро папа сидит в кресле-качалке и курит трубку. Мама то и дело высовывает голову из кухни, проверяет, как я там, улыбается и машет. Все свои мечты и надежды она возлагает на меня. И словно бы для того, чтобы подчеркнуть, как мне повезло — можно просто сидеть в новом платье и ничего не делать, — она гоняет Хуаниту и Бетти, заставляя их носить с заднего двора батат и юкку, стирать простыни, кормить кур и мыть грязные после вчерашней грозы полы.

Как же тебе повезло, говорят они. Но в отличие от них я никогда не мечтала уехать в Нью-Йорк. Они помнят каждый доллар, мельком упомянутый в случайной беседе, сплетничают о каждой американской заколке, паре туфель или платье на местных девчонках, которые раздражают таких мужчин, как Хуан, в расчете на подарок или просто наудачу. Все мечтают об одном: что он женится и увезет жену туда, где даже последняя деревенская девчонка вроде нас станет богатой и роскошной женщиной.

Будь у нас больше времени, папа забил бы козу и пригласил бы всю округу отпраздновать мой отъезд. Мама начистила бы плата-

но и чайот и положила бы их на один поднос, а на другой — юкку и сверху красный лук. Йонни поделился бы своими запасами мамахуаны*, чтобы все выпили и расслабились. Дом гудел бы как улей — соседи, родственники. Глоток мамахуаны — и вот я уже топаю оземь на заднем дворе, подчиняясь ритму барабана и стрекоту гуиро**. Из уважения к Хуану Габриэль держался бы поодаль. Но Тереса все равно потащила бы его танцевать со мной.

Да зачем мне, в самом деле, такой мальчишка, как Габриэль?

Но мы кружились бы и кружились, словно желая поворотить время вспять. Словно мы в силах его остановить.

О, я должна быть благодарна судьбе. Но как же не хочется уезжать из Лос-Гуайаканес, покидать дом, который давно умерший дедушка выкрасил в цвет желтых лютиков и который единственный в окрестностях выстоял и выдержал все ураганы. Дом, в котором живу я, и мои родители, и Йонни, Ленни, Тереса, Хуанита и Бетти, сосредоточие всей моей жизни, и я не могу представить себе другого.

* М а м а х у а н а — национальный алкогольный напиток Доминиканы.

** Г у и р о — латиноамериканский музыкальный инструмент, деревянная трубка с насечками.

КОГДА ПРИЕЗЖАЕТ ХУАН, ПЛАТЬЕ У МЕНЯ ИЗМЯТО И ПРИЧЕСКА

в беспорядке. Ни туши, ни помады давно нет. Я так и задремала сидя, каждую секунду ожидая его прибытия. Так жаль, что Тереса не осталась со мной, а уехала с Эль Гуардией. Пусть бы она хотя бы пожелала мне доброго пути.

Хуан останавливает автомобиль на траве у самого входа в дом. Кузов покрыт пылью.

Приехал, приехал, кудахчет мама, даже куры так не кудахчут.

При свете дня Хуан выглядит бледнее, чем я запомнила. Мама говорит, что так лучше, лучше для детей. Ребенку с темной кожей слишком тяжело живется. Она вручает мне бумажный пакет, а в нем бутылочка, чтобы мы с Хуаном пили каждое утро, и тогда дети не заставят себя ждать. Мужчина не мужчина, если у него нет детей.

Хуан торопится, потому что машина, на которой он за мной приехал, взята напрокат.

Брат снял для нас номер в El Hotel Embajador, мы проведем там медовый месяц.

Неужели? — мама буквально светится, ловя каждое слово о моем будущем.

Самый красивый отель в стране, добавляет Хуан.

Когда я в последний раз оставалась наедине с мальчиком, это был Габриэль. Хуан не мальчик, а мужчина. Он выше Габриэля на голову и вдвое толще. Седые волоски за ушами, на лбу волосы редуют. Мягкие, как подушки, руки и щеки. Скоро мы останемся наедине. У меня перехватывает горло, желудок заполняет пустота.

Чтобы отвлечься, я перебираю в уме список наставлений, которые давала мне мама в ожидании появления Хуана. Поехать

в Америку. Содержать в чистоте его дом, готовить ему ужин, стричь ему ногти. Посылать маме деньги, учиться у Хуана, учиться у братьев. Изю всех сил учиться в школе, выучиться какому-нибудь делу. Первыми выписать к себе маму и Йонни, потому что они могут работать. Потом Ленни, чтобы он ходил в школу, а потом папу и Тересу с малышом, если, конечно, Тереса согласится уехать от Эль Гуардии. Требовать у Хуана все, что нужно мне и моей семье. Я должна стать незаменимой.

Мама говорит с Хуаном так, будто меня здесь нет. Она не знает о Габриэле, а вдруг он еще придет на свадьбу и скажет сейчас или будет молчать вечно, хотя, конечно, жизнь не сериал.

Не беспокойтесь, сейюга, говорит Хуан, хорохорясь, вылитый ковбой. Я буду заботиться о вашей дочери. Он так чарующе уверен в себе. Конечно же, он может позаботиться обо всех нас. Он не слабак. Неукротимая природа вокруг лишь подчеркивает его силу — буйные кустарники, деревья-исполины.

Мои уши улавливают вой сирен вдали, рев пролетающего мотоцикла, крики ястребов, пролетающих так низко, что мы вздрагиваем. Я больше не смотрю на желтый дом, цветок, поднимающийся из самой плодородной на свете земли. Я представляю себе, как стою в небоскребе, под снегопадом, в сиянии тысяч огней.

С ХУАНОМ Я МНОГОЕ ИСПЫТЫВАЮ ВПЕРВЫЕ. ОН ОТКРЫВАЕТ передо мной дверь машины, и я сажусь вперед, на пассажирское место. Обычно мы всегда сидели сзади — с Йонни, Хуанитой, Лени, Тересой и Бетти: набивались как сельди в бочку. Думаю, одного этого уже достаточно, чтобы произвести впечатление на маму. Выйти замуж за Хуана — все равно что полететь на Луну. С пассажирского места я отлично вижу дорогу, и мир летит мимо, а Хуан жмет на газ и переключает передачу.

По дороге в отель мы останавливаемся у ресторана Руисов, что у самого города. Здесь, конечно, все знают Хуана. Особенно женщины. Меня он не представляет. Усаживает за стол, от которого тошнотворно пахнет дезинфектантом. Скатертей нет. Стен тоже нет. Просто цементная площадка на земле, шести, и на них пара листов жести, которые защищают клиентов за столами или у садовой барной стойки от дождя.

Я жду. От лампочек мои кисти и предплечья кажутся зелеными. Официантка приносит мне *morir soñando** с соломинкой. Целый стакан — мне одной. Опустив глаза, я потягиваю напиток и прислушиваюсь к знакомой песенке, которая играет по радио. И вспоминаю, как раньше, когда все дела по дому были переделаны и ужин оставался позади, мы с братом Йонни танцевали под эту музыку.

Хуан приносит поднос с двумя сэндвичами. Следом за ним к нам ковыляет Эль Кохо**, смешной человечек в криво застегнутой рубашке.

* Популярный в Доминиканской Республике напиток из апельсинового сока, тростникового сахара, молока и колотого льда.

** Хромой (*исп.*).

Значит, вот ты какая, говорит Эль Кохо, хватает указательным и большим пальцами пролетающую муху и швыряет ее на пол, словно желая меня напугать.

И как тебе это место?

Я пожимаю плечами. Ресторан?

Можно и так сказать, говорит Эль Кохо.

Хуан в шутку ударяет его кулаком и говорит: ничего, *pajarita**, когда-нибудь здесь будет не протолкнуться от туристов со всего мира. Мы устроим здесь все как надо, ты и я.

Правда? — говорю я. Никогда не думала, что буду хозяйкой ресторана.

Не забегай вперед, говорит Эль Кохо. У тебя даже документов на эту землю еще нет.

Я молча покусываю сэндвич.

Деньги. Документы. Вечно эти деньги и документы!

Эль Кохо подсовывает нам бумаги на подпись. Просматривает стопку фотографий каких-то женщин, по две одинаковые рядом, и выбирает подходящую.

Похожа на тебя, да? Эль Кохо прищуривается и отодвигает фотографию от глаз, чтобы убедиться.

Хуан смотрит на фото. Я тоже смотрю.

Как две капли воды, соглашается Хуан, сравнив лицо женщины на фотографии с моим.

Я прикусываю язык. Мама права, мужчины ничего не понимают.

Эль Кохо встает. Ладно, скоро буду.

Он ковыляет за стойку и берется за работу — работает так, будто делает большое одолжение и очень этим недоволен.

Хуан откусывает большой кусок сэндвича. Подтекающую подливку слизывает. Он ест быстро и жадно. Мама говорит, что характер мужчины всегда можно узнать по тому, как он ест.

* Птичка (*исп.*).

Ты что, не голодная?

Не особенно, говорю я, потому что от переживаний у меня пропал аппетит. Женщины за стойкой таращатся на меня, а может, на мое розовое платье в белых кружевах. Они не намного старше меня, но выглядят так, будто повидали все на свете.

Хуан забирает мой сэндвич и съедает. Он мог настоять, чтобы я съела, как мама, когда приходят гости. Даже если они говорят, что не голодны, мама ставит им тарелку и заставляет поесть. А как только тарелка опустеет, кладет добавки, даже если гости клянутся, что не могут больше съесть ни крошки.

Возвращается Эль Кохо и вручает Хуану паспорт. Хуан рассматривает паспорт. Пролистывает страницы. Эль Кохо и Хуан пожимают друг другу руки и перебрасываются ничего не значащими фразами.

Поздравляю, говорит Эль Кохо.

С чем?

Ты теперь замужем!

Как, и все? А как же церемония? Как же гости, торт, «теперь можете поцеловать невесту», «берешь ли ты в жены этого мужчину»? Вся эта мамина суета вокруг платья — и даже никакого празднования?

Можно посмотреть?

Я беру в руки большой желтый конверт с документами.

Женщина на фотографии — я, но несколькими годами старше: Ана Руис-Кансьон, родилась 25 декабря 1946 года.

Мне что, уже девятнадцать лет?

Государственное свидетельство о браке настоящим подтверждает, что тридцать первого декабря 1964 года Хуан Руис и Ана Кансьон заключили брак в суде Санто-Доминго, и неразборчивая подпись.

Билеты на самолет: Pan Am, из SDQ в JFK. 1 января 1965 года.

Мы прилетим в Нью-Йорк рано-рано, и сонные таможенники не заметят, что на фотографии не я, а совсем другая девушка.

Тереса сказала бы, что путешествовать в первый день нового года — плохая примета, все равно что входить в комнату мимо двери.

Под знаком «Выход» кучка девушек, они перешептываются и хихикают. Я уверена, они шепчутся обо мне. Мое ярко-розовое платье кажется еще ярче, еще глупее. Белое кружево едва прикрывает грудь. Хуан смотрит на витые ленточки у меня в волосах так, будто я подарок, который ему предстоит развернуть.

МЫ ЕДЕМ В ОТЕЛЬ. ХУАН ВКЛЮЧАЕТ РАДИО. ГОВОРИТЬ НЕ О ЧЕМ.

Когда я сажусь в машину, у меня задирается платье. Он старается не смотреть, но поглядывает. Его рука переключает передачу в нескольких дюймах от моего бедра. От него противно пахнет ромом и сигаретами. У меня на коленях коричневый пакет, который дала мама. Кроме бутылочки с настойкой она положила запасные трусы, кусок пахучего туалетного мыла и губную помаду.

Потребуй, чтобы Хуан купил тебе новую одежду. Он должен. Мужчина собственную голову от пятки не отличит. Требуй. Требуй. Требуй, говорила она.

На светофоре он гладит меня по щеке. Я стараюсь не конфузиться. Я должна его уважать. Его рука падает мне на колено какдохлая крыса.

Ты слишком тощая, говорит он, с этим надо что-то делать.

Я опускаю голову. Он постукивает меня пальцем по носу и говорит: не волнуйся, я хороший человек.

Если слышишь «не волнуйся», значит, самое время волноваться: так говорит папа.

Хуан останавливается на заправке и выходит из машины.

Меня охватывает паника. Мне страшнее, чем в тот день, когда Ленни блевал глистами, а потом побагровел, потому что глисты застряли у него в горле. Я решила, что он умрет у меня на глазах. Страшнее, чем когда я в последний раз встретила Габриэля у школы и ему пришлось спасти меня от меня самой.

С Хуаном я одна. Теперь я принадлежу ему. Меньше чем за час я потеряла четыре года жизни. Ане Кансьон было пятнадцать. Ане Руис стало девятнадцать. Я сжимаю колени, скрещиваю щиколотки, крепко переплетаю руки на груди.

Я кошусь на дверь машины, проверяя, закрыта ли она. У стены закрытого на ночь магазина с шинами развалились на ящиках двое мужчин. На улице темно. Над цистернами с горячим тускло светят фонари, но дальше сплошная темнота. Если я сейчас убегу, то, наверное, еще найду дорогу домой. Но возвращается Хуан, запирает мою дверь и включает верхний свет в салоне, чтобы лучше меня разглядеть. Усы лежат на верхней губе как тень.

Какая ж ты красotka. Умереть не встать, а?

Он ведет машину по темной дороге. Виден только кусок пути в свете фар. Далеко впереди загораются огоньки, словно стайка светлячков.

Ла Капиталь? — спрашиваю я.

Он показывает туда и сюда, словно заправский гид. Вон там Дом Колумба. Ты бывала там, Ана?

Я никогда не бывала ни в столице, ни в какой-либо другой части страны, если не считать Сан-Педро-де-Макорис.

Он сыплет названиями: Алькасар-де-Колон, крепость Осама. Величайшая столица мира, Санто-Доминго, сердце Америки — место, где все начиналось.

Его болтовня меня тяготит. Автомобильные гудки, атмосфера ночного гулянья, как будто весь город — одна большая дискотека. Все развлекаются.

Хочешь, я тебя туда свожу?

Он говорит гордо, но в его голосе слышится жажда восхищения и благодарности. Так что я молчу. Ни слова не говорю в ответ.

ХУАН ВЪЕЗЖАЕТ НА ПАРКОВКУ ОТЕЛЯ EL HOTEL AMBAJADOR.

Я распахиваю глаза, разеваю рот, высовываюсь из окна, чтобы лучше видеть. Фонтаны выбрасывают струи воды. Фламинго собираются в стаи и снова разбредаются в стороны. На парковке в строгом порядке выстроились дорогие автомобили.

Нравится? — сияет Хуан.

Я выхожу из машины и поворачиваюсь вокруг, вбирая в себя это зрелище. Сверкающие, расшитые блестками платья. Мужчины в хорошо сидящих костюмах, волосы смазаны бриллиантином и зачесаны назад, как у кинозвезд. Массивные канделябры, гладкие мраморные полы, высокие потолки, вазы с цветами, подсвеченная вода в бассейне, кондиционеры, диваны в мягкой обивке, сотни людей, которые говорят, звенят стаканами, курят.

На стойке регистрации Хуан заказывает шампанское.

Пришлите в номер, велит он посыльному. Четвертый этаж. И идет вперед, излучая эту свою чарующую уверенность. Как будто весь мир существует для него одного.

Я не сразу решаюсь войти в лифт. Он крепко берет меня за руку, и я закрываю глаза.

Ты лучше привыкай, говорит он. В нашем доме тоже есть лифт.

В нашем доме? Он поднимает меня, перебрасывает через плечо и смеется. Я нерешительно ударяю ногой дверь нашей комнаты — огромной, с двуспальной кроватью. Большие окна выходят на бассейн. Прохладный кондиционированный воздух холодит мне шею. Никогда не видела такой прохладной комнаты. Мне страшно смотреть ему в лицо. Это слишком. Слишком.

Кто-то стучит в дверь. Принесли шампанское. Хуан открывает

бутылку. Когда хлопает вылетевшая пробка, я вздрагиваю. Он вручает мне бокал.

Первый — залпом, говорит он.

Я не пью.

Это чтобы расслабиться.

Я глотаю шампанское как лекарство. Оно бросается мне в голову. Я прижимаю нос к стеклу и смотрю вниз. У края бассейна нежатся женщины в узких бикини, за женщинами охотятся мужчины.

Иди сюда. Хуан лежит на кровати. Его ботинки уже валяются на полу. Спортивный пиджак свисает с кресла. Он обжился в считанные минуты, как будто всю жизнь прожил по гостиницам. Я делаю вид, что не слышу его, не вижу отражения в оконном стекле. Я прижимаюсь щекой к холодному стеклу.

Он встает у меня за спиной. Расстегивает на мне платье. Лифчика у меня нет. Мама говорит, что лифчик нужен тогда, когда есть что приподнять. Я замираю спиной к нему. Он разбирает мне прическу, вытягивает ленты по одной, дает волосам упасть на спину. Шее становится не так холодно, я чувствую себя более защищенной.

Он запускает пальцы мне в волосы, цепляет их там, где они перепутались. Кладет ладонь мне на спину, рука липкая и холодная, потому что он держал бутылку от шампанского.

Под его руками платье соскальзывает у меня с плеч и грудой падает вокруг щиколоток. Он пытается заглянуть мне в лицо. Я не даю. Он притягивает меня к себе. Я напрягаюсь еще сильнее, живот становится твердым.

Пожалуйста, не надо, хочется сказать мне. Давай подождем.

Я вижу, что он меня видит, мое обнаженное тело отражается в окне. Он делает шаг назад, чтобы лучше видеть.

Что смешного? — спрашиваю я.

Да не привык я к тебе еще.

Он сует руки мне под мышки.

Свежая такая. Мягонькая.

Он прижимается ко мне сзади твердым. Я плачу. Он поворачивает меня лицом к себе.

Я хочу домой. Отпусти меня, пожалуйста.

Твой дом здесь. Мы с тобой теперь семья. Ты что, не понимаешь?

Слезы текут все сильнее и быстрее. Неправда. У меня уже есть семья. И дом.

Я хочу домой, повторяю я тонким надломленным голосом.

Твои родители сами предложили, чтобы я тебя забрал.

Я тебя никогда не полюблю, говорю я. Бросаюсь на постель и сжимаюсь в комочек, чтобы стать совсем маленькой. Я больше не чувствую своего тела. Меня больше здесь нет.

Извини, Ана. Хочешь — не хочешь, а надо.

Хуан включает радио. Ложится в постель, рядом со мной, у меня за спиной. Обхватывает меня сзади. Шерстяная ткань его брюк трется о мою обнаженную кожу, почти тепло, почти приятно.

Он говорит, не волнуйся, птичка, я тебя не обижу. Обхватывает меня рукой, на нем по-прежнему рубашка, галстук развязан.

Отводит мои волосы от лица и поет вместе с радио.

Solamente una vez...

Его голос отдается у меня в спине. Такой теплый, такой бархатистый, как глазурь на коже. И вдруг мы оказываемся у нас во дворе. Рамон играет на гитаре. Папа поддерживает огонь. Звякают пивные бутылки, братья хихикают. Мама утопает в мечтах о моем будущем.

Una vez nada más
Se entrega el alma
Con la dulce y total
Renunciación

Песня за песней ласкают наш слух, слова грусти и потери. Он поворачивает меня лицом к себе. Под его усталыми глазами набрякли мешки, но во взгляде надежда. Он берет со столика бутылку с шампанским, дает мне и говорит: выпей еще. Так будет легче.

Я пью не сразу, тошнотворный цветочный аромат дурманит голову. В конце концов я пью залпом, как пила мамины лечебные настойки, прямо из бутылки; на языке остается вкус кислого винограда.

Я ложусь на кровать, тело как деревянное, поворачиваю голову, смотрю в окно. Вижу отражение его ног и моих, его — в брюках, мои обнажены.

Он расстегивает рубашку. Показывается жирная волосатая грудь и живот. Прижимается ко мне — липкий, но теплый. Целует мне щеку, ухо, шею мокрыми тягучими поцелуями. Пальцы на моих сосках будто булавки. Не надо. Мне больно.

Он расстегивает ремень брюк. Я не смотрю. Он берет это в руки, твердое и толстое, как пест. Птичьи трели. Визги. Хриплые крики. Истошные песни спаривающихся лягушек. Боль короткая и резкая.

Когда все кончено, он встает с кровати, заправляет рубашку в брюки, застегивает ширинку, надевает пиджак.

Приведи себя в порядок и поспи. Нам уезжать через несколько часов. Я за сигаретами, говорит он и выходит из комнаты.

Здесь холодно, как здесь холодно. Я натягиваю на себя крахмальную белую простыню. Отодвигаюсь от мокрого пятна на кровати. В самолете будет холодно. И в Нью-Йорке тоже.

ЧАСТЬ II



ТЫ КОРОВА ИЛИ АКУЛА?

Так говорит мама, когда ловит меня бездельничающей в тени кустарника, когда на самом деле я должна работать по дому.

Ребенком мама видела множество морских коров. Они часто подплывали к берегу и медленно-медленно плыли вдоль пляжа. Большие, как настоящие коровы, черные, блестящие. Они были так близко, что она почти могла их погладить.

У морской коровы по шесть зубов в каждой челюсти, да не впереди, а в глубине, за щеками. Морская корова движется медленно и думает только о своем. А вот у акулы во рту зубов штук пятьдесят.

И где теперь морские коровы, спрашивает мама. Практически вымерли. А акула только покажись — и все уже разбежались.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ИДЕТ СНЕГ. СКОЛЬКО ЗДЕСЬ СНЕГА. В АЭРОПОРТУ

нас встречает Сесар, брат Хуана, он привозит нам теплые пальто. Он единственный из братьев, кого я еще не видела. Он выходит из толпы, ждущей у стойки выдачи багажа. Он самый младший из четверых. И самый темный. Высокий, худощавый, с блестящими глазами и теплой улыбкой.

Неплохо, говорит он, бросив на меня добродушный взгляд, и тычет Хуана в плечо. Водружает мне на голову большую вязаную шапку и отбирает у меня сумки. Хуан берет меня под руку.

Не глазей так на людей, навлечешь неприятности. И рот закрой. Разве я глазею?

Хуан идет быстро, проталкивает меня в разъезжающиеся перед нами двери. Двери жирно чмокают. Жгучий холодный воздух жалит и кусает щеки. На улице так шумно, что я зажимаю уши.

Как тебе самолет? — спрашивает Сесар. Я никогда раньше не летала, а самолет так трясло, что я чуть не описалась от страха.

Хорошо, говорю я. Как во сне.

Хуан волочет за собой меня и весь наш багаж, в котором бесконечные пакеты для друзей, коллег, родственников, и доволакивает до припаркованного автомобиля.

Я чувствую, что внутри пальто остаюсь собой, соль просохшего пота покрывает кожу.

Я высовываю язык и ловлю им снежинку.

Весь день стоять будем? Хуан говорит громче всех вокруг.

Хуан кладет вещи в багажник. Сесар открывает мне заднюю дверь. Добро пожаловать в Нью-Йорк, юная леди, говорит он.

Ой. Спасибо. Собственный голос кажется мне чужим. В груди становится больно.

На завтра все готово? — спрашивает Хуан Сесара, когда мы садимся в затхлый салон автомобиля. На передних сиденьях пушистые красные коврики, под ногами куски сырого картона. С зеркала заднего вида свисают четки и фотография обнаженной женщины. Заднее сиденье полностью в моем распоряжении. Нет здесь ни Йонни, ни Тересы, ни Ленни, ни Хуаниты, ни Бетти. Никто не раскидывает потные руки и ноги, не тычет острым локтем под ребро. Никто не болтает друг с другом. Как же мне их не хватает.

Смотри не перетрудишься, говорит Сесар и смеется. Он включает радио и подпевает Дину Мартину, голос которого едва пробивается сквозь помехи.

Хуан резко выключает радио. Становится так тихо, будто в машине кто-то умер.

Снег окутал город ватной тишиной. Машины едва ползут по шоссе. Потрясающий длинный мост. Реку сковало льдом. Деревья стоят голые. Все вокруг серое.

Ты проехал съезд! — орет Хуан и шлепает брата по затылку.

Я знаю, что делаю, говорит Сесар и выруливает напрямик в центр города. Просто хочу показать юной леди кусочек Нью-Йорка.

В пробке настоимся, цыкает на него Хуан.

Вокруг небоскребы, и я чувствую себя маленькой, как муравьишка. Мы медленно едем по городу, машины выстроились в линии, одна за другой, тесно-тесно, как домино на фанерке. И люди, замотанные, словно мумии, с кучами свертков в ярких пакетах, торопливые, совсем как Хуан, как будто у них какое-то срочное дело.

Нос у меня прижат к окну машины. От дыхания запотеваешь стекло. Падают мягкие снежинки. Мы как будто попали в шарик со снегом, как те, что продавали в аэропорту.

Ладно, Сесар, покатались — и хватит. Давай обратно на шоссе.

На светофоре Сесар поворачивается ко мне и говорит: здорово, правда?

Я киваю, соглашаясь. Он похож на моего брата Йонни, такой же бедокур. И у него, как у Габриэля, есть тайные ключи к секретным местам. Хуан совсем не такой. Он серьезный и думает только о деле.

Высадим Ану, а потом свозишь меня кое-куда, говорит Хуан Сесару.

Как прикажете, jefe*.

Я отлипаю от окна. Ты оставишь меня одну?

Всего на несколько часов. У меня дела.

А почему мне нельзя с тобой?

Слушай, Ана, не начинай. Твоя мамаша уверяла, что ты не будешь сидеть сложа руки.

У меня сводит скулы. Я дрожу. Корова или акула? Я показываю зубы, но Хуан уже думает о своем. Он включает радио и переключается на испанские новости. В город приезжает Джонни Вентура. В Санто-Доминго беспорядки. Кубинские эмигранты выстрелили из базуки в штаб-квартире ООН.

Сесар выезжает на шоссе, ускоряется, виляет между машин. За окном блестит река, деревья — голубого утреннего цвета, но не такие, как дома. Голубое сияние Нью-Йорка режет ножом и проникает сквозь кожу.

* Господин (*ист.*).

В КВАРТИРЕ ХУАНА ПЛОХО ПАХНЕТ. ЭТО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ отсыревшая фанера, в худшем — дохлятина. Я молчу, чтобы не обидеть его. Поверх мебели грудой свалены костюмы в пластиковых чехлах. Набитые чем-то ящики. У стены стоят матрасы без простыней.

Сколько же вас здесь живет? — спрашиваю я.

Сесар смеется. Когда как.

Не волнуйся, говорит Хуан. Мой брат Гектор сегодня утром съехал. Нашел работу в Территауне и перевез туда всю семью. Так что здесь только мы и Сесар...

Ты тоже будешь жить с нами? Я стараюсь скрыть облегчение: значит, не придется оставаться наедине с Хуаном.

Сесар здесь бывает редко, он вечно что-то крутит-мутит.

Мужчина должен ловить удачу за хвост, защищается Сесар.

Хуан показывает мне квартиру. Преодолев захламленную гостиную, мы выходим на кухню, длинную, как коридор. Вдоль стены выстроились красный металлический стол, стул и белая плита с четырьмя горелками. Ни очага, ни места для дров и угля; где же здесь готовить?

Плита и стены вокруг нее покрыты тонкой пленкой жира. Хуан говорит все быстрее, а я стараюсь не смотреть на большую фарфоровую раковину, пожелтевшую и полную грязной посуды.

Горячую воду включать вот так, холодную так. Плита включает-ся так.

А где мы берем воду и газ? — спрашиваю я. Дома мы носили воду из колодца.

Но Хуан отмахивается от моего вопроса, он торопится, ему надо уходить. Холодильник втиснут у дальней стенки, в самой глубине.

Кухня такая узкая, что войти можно только по одному. Спальня находится на противоположной стороне квартиры. Кровать не застелена, у стены все те же горы и груды коробок.

Что в них? — спрашиваю я Хуана.

Тебя не касается.

Рядом с дверью спальни — дверь ванной. На вешалке висит вытертое коричневое полотенце. Плитка пожелтела и заплесневела. Раковина и зеркало забрызганы зубной пастой и усыпаны щетиной. Занавеска для душа нуждается в стирке.

Не вздумай спускать воду, когда в душе кто-то есть, говорит Хуан.

Сиськи отморозишь, смеется Сесар.

Не обращай на него внимания, извиняется Хуан.

Уже у двери, уходя, Хуан сует мне коричневый бумажный пакет, который — я видела — достал из багажника Сесар. В пакете что-то теплое, живое. Я роняю пакет на пол.

Они смеются.

Сесар поднимает пакет и достает из него курицу. Он держит курицу за горло.

Добро пожаловать в Америку, говорит он.

Он отдает мне курицу. Я смотрю в ее стеклянные глаза. Наверное, она поранилась, когда упала. Я тысячу раз имела дело с курами, ощипывала их, разделывала, готовила. Но эту курицу мне хочется спасти от уготованной ей судьбы.

Хуан звенит ключами и наматывает на шею красный шарф.

Никому не открывай. Не выходи из квартиры, пока я не объясню, как тут все надо делать. Дверь запири.

Зачем? Разве кто-то может вломиться?

Бывает. Но это хороший дом. Здесь народ тихий, неприятностей не хочет. Только ты все равно держи ухо востро. Нью-Йорк — место опасное. Люди здесь не такие, как дома. Они думают только о себе.

Видимо, у меня очень уж испуганный и жалкий вид, потому что взгляд его смягчается, и он трогает меня за подбородок.

Не волнуйся. Я не дам тебя в обиду. Ты моя *rajarita*.

Хуан целует меня в лоб.

Тебе что-нибудь нужно? Я привезу, предлагает он.

Требуи, требуи, требуи, говорит мама. Белье. Одежду. Еду. Духи бы еще. Лак для ногтей. Деньги для семьи. Что попросить первым?

Ана, я же не могу весь день ждать.

Мне ничего не надо, говорю я. Если я ничего не буду просить у него, может быть, он тогда ничего не захочет от меня.

Сесар хватает Хуана за воротник и тащит вон.

В квартире царят уныние и запустение. Слава богу, у меня хоть курица есть, всяко компания. Повсюду слой пыли. Надо все тут вымыть.

Я вытаскиваю курицу из пакета. Кладу на стол. Она мелко дрожит и едва шевелится. Извини, говорю я, сворачиваю ей шею и запихиваю обратно в бумажный пакет.

Я снимаю тяжелое пальто — оно вдвое больше меня. Долой свитер, который вручила мне свояченица Хуана, когда я садилась на самолет в Санто-Доминго. Долой ярко-розовое платье. Я два дня его носила, надо бы и проветрить. Я надеваю белую майку, которую отыскала в спальне, в шкафу. Мебель такая грязная, что мне кажется, будто из трещины вот-вот выползет какая-нибудь дрянь. И этот запах, о, мама его сразу бы узнала. Смесь мужской вони? Одеколона? Сигаретного пепла? И дохлой крысы.

За работу, Ана! Ты теперь жена. У тебя есть обязанности.

Я начинаю с кухни. Намешав в миске уксуса с водой, я оттираю жир со стен и со столов. Вытаскиваю из холодильника кусок ветчины, бутылки с содовой, пакет с хлебом и гроздь платано и отмываю полки. Перебираю приправы, на салфетке карандашом, найденным рядом с солонкой, пишу список, чтобы Хуан купил все нужное в супермаркете. Мертвую курицу я кладу в холодильник, ощипывать, мыть, рубить и разделывать буду потом. Я замачиваю простыни и отстирываю их дочиста. Какие они мягкие. Совсем

как простыни в доме gringos, за которым присматривает Габриэль. Ах, Габриэль, вспоминаешь ли ты обо мне? Развешиваю простыни сушиться на кухне и расчищаю проход сквозь гостиную. Отмываю ванну. Мама с Тересой влюбились бы в эту ванну. Совсем как в кино, и можно добавить в нее пены. Под раковиной я нахожу косметику, солнечные очки и сережки.

Здесь бывали женщины? В этом-то свинарнике? Неудивительно, что Хуан стал искать жену.

Наступают сумерки, они сгущаются очень быстро. Хуан не вернулся.

Чтобы заглушить бряк-бряк-пш-ш-ш обогревателя, я включаю радио.

Gowing to da chapa, Ana go to get ma-a-areed, gowing to da chapa, Ana to geet ma-areed*.

Я потуже заворачиваюсь в байковый халат, который нашла в ванной. Обогреватель так шпарит, что дышать тяжело. Я открываю окно, чтобы проветрить. Сажусь у окна и жду Хуана. Я ставлю на стол керамическую куколку, которую Хуан купил мне в аэропорту Санто-Доминго. На куколке синее платье, перетянутое желтым кушаком. Милая моя пустотелая Доминикана, ни глаз, ни губ, ни рта, храни мои тайны.

Далеко внизу загораются фонари. Молодой парень чистит снег перед автосалоном, буквально набитым автомобилями. Парень протирает захватанные окна и с вожделением смотрит сквозь витрину. Салон закрывается. Этажом выше готовятся к выступлению музыканты. Перед входом уже выстраивается очередь. Все такие нарядные.

Может быть, когда-нибудь Хуан меня туда сводит.

* Едем в церковь, Ана выходит замуж (исковерканные первые строчки песни группы The Crystals).

ТАК ЖЕ КАК С КВАРТИРОЙ, ХУАН ЗНАКОМИТ МЕНЯ С ОКРЕСТНОСТЯМИ.

Он доволен моей уборкой, но его раздражает, что теперь ничего не найдешь. Перед тем как выйти на улицу, он натягивает пониже вязаную шапочку, прикрывающую мне уши, и наматывает колючий шарф, чтобы прикрыть мне лицо. Я дышу сквозь шерсть шарфа. Сияющее белое небо отражается от снега и слепит глаза. Хуан кладет руку мне на плечи, и мы вместе выходим на бой с холодным ветром, толкающим нас прочь от улицы, которую мы собираемся пересечь.

Люди ждут у перехода, машины терпеливо стоят на светофоре. Мусор убран в специальные баки. Какой здесь порядок. Чуть ли не на каждом углу телефонные будки и голубые почтовые ящики. Удобно. Продумано. Зелени, считай, нет. Деревья голые и серые, как асфальт тротуара. Через улицу от нашего дома находится парковка Пресвитерианской больницы Колумбии.

Это одна из самых больших больниц в мире, говорит он, когда мы идем по переходу. Вот это — бальный зал Одюбон, там евреи молятся, черные вытворяют черт-те что, а мы можем посмотреть кино на испанском или сходить на танцы. Под бальным залом тот самый автомобильный салон, теперь я вижу его вблизи. Хуан оставляет на его витрине отпечатки пальцев.

Когда-нибудь, скоро, мы купим новую машину, говорит Хуан, обводя пальцем силуэт выставленного в окне «бьюика». Напротив немецкая лавочка, там продают сосиски. Рядом — еврейское фотоателье. На витрине кубинского магазина всего на свете — кукла в рост человека, туалетная бумага, игрушечные самолетики, упаковки с карандашами и тетрадями, сигареты, крем для обуви, пластиковое ведро, швабра и удлинители.

Уж если у кубинца чего нету, значит, этого на всем белом свете не найдешь, говорит Хуан.

Мы идем по Сто шестьдесят пятой улице и заходим на почту. Внутри тихо и оттого тревожно, пахнет антисептиком, вот зона ожидания, все идут строго по очереди. Как это не похоже на Доминикану, где в любом государственном учреждении вечно стоит крик, а торговцы продают толкущимся в очереди людям фрукты, пастелито* и лотерейные билеты.

Войдя внутрь, Хуан начинает говорить тише. Он показывает мне окошко, где заказывает марки и покупает денежные чеки, чтобы отправлять домой Рамону — Рамон распоряжается семейными вложениями. Всего братьев Руис четверо, и трое сейчас в Нью-Йорке, а один — в Доминиканской Республике.

Хуан показывает на другую сторону улицы: церковь Святой Розы Лимской; рядом дом приходского священника, а в нескольких шагах — школа. С виду похоже на многоквартирный дом, но Хуан уверяет, что это самая настоящая школа. Вскоре на улице выстраивается колонна из нескольких сот детишек в клетчатых костюмчиках, дети шагают вокруг квартала под предводительством двух монахинь. Какая простая у них жизнь, Бог всегда рядом, только позови.

Я буду ходить в эту школу? — спрашиваю я.

Нет. В сентябре пойдешь в школу, где учат на секретарш, печатать научишься. Потом будешь работать в агентстве у моего друга. Не волнуйся, я все продумал.

Скажи ему, что хочешь учиться, чтобы получить настоящую профессию. Иметь собственный бизнес, помогать родным. Печатать на машинке — это хорошо, но мало. Скажи ему. Скажи.

Хуан ходит быстро. Он тянет меня туда, потом сюда, и наконец мы останавливаемся и входим в La Bodeguita на первом этаже нашего собственного дома, рядом с баром «Соль и перец».

* П а с т е л и т о — традиционное блюдо латиноамериканской кухни, пирожки с начинкой (*исп.*).

Когда за нами закрывается дверь, звякает колокольчик. В тесном магазинчике оглушительно играет меренге, грохочут барабаны, стрекочет гуиро. В каждой ноте мне чудится край Тересиной юбки, мамин смех, торчащие коленки Ленни. Сердце наполняется внезапной теплотой и стучит как сумасшедшее. Онемев от музыки, от этого магазинчика с полками под самый потолок, я стаскиваю шапку и шарф. Из-за прилавка на меня смотрит молодой парень. Встретив мой взгляд, он подмигивает.

Хуан сгребает меня за плечи и говорит: *compadre**, это моя жена.

Ты женился? Поздравляю, говорит он. Потом уже мне: меня зовут Алекс, к вашим услугам. Если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится...

Я не успеваю ни ответить, ни даже улыбнуться, потому что Хуан толкает меня к стене, где стоят ящики с платано, юккой, картошкой, салатом. Мы не покупаем здесь овощи, шипит он мне в ухо. Этот Борикуа продает вдвое дороже, чем в супермаркете. Потом он берет с полок разные вещи и объясняет: это «Колгейт», зубы чистить. Это «Виндекс», окна мыть. Это «Палмолив», для посуды. Это «Комет», чистить унитаз. Это кукурузные хлопья, будешь есть на завтрак. Это консервированные макароны, на обед. Ставит на прилавок сразу десять банок.

Сытно. И готовить легко. Разогреваешь и ешь.

У прилавка Хуан побряхтывает над каждой банкой, словно ему больно от каждой новой цифры. Алекс понимающе улыбается мне и говорит: мы с вашим мужем старые знакомцы.

Как странно слышать это «с мужем». Алекс подмигивает мне и берет у Хуана деньги. Потом вытаскивает шоколадку «Хершис» из штабелька у кассы и вручает мне.

Американский шоколад. Вкусный.

Это мне?

Я за это платить не стану, говорит Хуан.

* Приятель (*исп.*).

За мой счет, вонючка.

Идем, Ана, пока этот парень из меня последнее не вытянул.

Алекс улыбается, не открывая рта, не показывая зубов.

Вернувшись в наше здание, Хуан повторяет: в La Bodeguita будешь ходить только со мной, ясно? Ты этого Алекса не знаешь. От него одни проблемы.

Но он угостил меня шоколадкой, бесплатно. Не может быть, чтобы он был такой плохой.

Будь осторожна, Ана. У меня повсюду глаза, поняла?

Поняла. Я все очень хорошо поняла.

МАМА ТОЖЕ ВНУШАЛА НАМ, ЧТО У НЕЕ ГЛАЗА НА ЗАТЫЛКЕ.

И все-таки мы ухитрились часами прятаться от нее на миндальном дереве. Йонни положил поперек веток доски, построил крепость и снабдил ее пращами, кучкой камней и острыми деревянными копьями на случай нападения.

Конкистадоры идут, говорил Йонни. И мы вглядывались в даль, высматривая, не покажутся ли «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария». Мы махали кораблям, призывая их. Мы складывали груды товаров для меновой торговли: кокосы, манго, сахарный тростник, пальмовые листья. Море кишело рыбой, в небе было столько птиц, что они заслоняли солнце.

Что они везут? — спрашивала Хуанита.

Блестящие стеклянные бусы, нам носить на шее, и хлопковые шарфы, такие красные, говорила Бетти.

Ну пожалуйста, пожалуйста, говорила Тереса, я хочу быть вашей женой, puta*, служанкой.

Так, стойте, я вижу на море корабль, говорил Ленни.

И я, говорил Йонни. Это янки.

Доставайте пиво. Режьте курицу. И козу. Накопайте в саду сладкого картофеля и испеките, говорила Хуанита.

А что они нам дадут? — спрашивал Ленни.

Они нам только покажут свои ножи и ружья, и мы себя сами зарежем и застрелим.

Мы смеялись так, что животы болели.

Мы играли до темноты, когда на небе становились видны звезды и космические корабли. Ленни записывал их, ставил дату и вре-

* Шлюха (исп.).

мя. Вдруг однажды такой вот корабль сядет и похитит кого-нибудь из нас?

Как по-твоему, Йонни, путешествия во времени бывают? — спросила я.

Ты что, чокнутая, типа поехать в прошлое или там в будущее? — спросила Тереса.

Ну, понимаешь, почему сегодня — это сегодня, а завтра — обязательно завтра? А если бы завтра было сегодня? Или вчера стало завтра? Кто сказал, что минута должна быть длиной в минуту, а час — в час? Почему иногда минута длится так долго, а иногда пролетает, и не заметишь? Это как со звездами, в книжке говорилось, что мы видим их такими, какими они были когда-то, а не такими, какие они сейчас. Вот мы сейчас видим, что звезда такая яркая, но это просто ее свет до нас так долго летел, а может, она уже взорвалась. И ее больше нет. Пуф, и все.

А вдруг ты сейчас и здесь, и где-то еще, сказал Йонни. Вот ты — одна Ана, а где-нибудь на другой Земле есть еще одна Ана. Или вообще в будущем. А если мы как звезды, то, может быть, есть только Земля прошлого и Ана из прошлого?

Думаешь? — спросила я. Думаешь, это правда может быть?

Я ЖДУ ХУАНА КАЖДЫЙ ВЕЧЕР, НО ПОЧТИ ВСЕГДА ЗАСЫПАЮ, не дождавшись, на диване. Я кладу на тарелку пюре и нарезанную ветчину и оставляю на плите, на случай, если он голоден. Я слышу, как он снимает брюки и бросает их на стул, снимает часы и бросает на обеденный стол. Он приваливается ко мне своими телесами, будто я диванная подушка, обдает меня запахом сигарет и виски. Хлопает меня по попе, как папа хлопал, подгоняя, коров.

Ужин готов, говорю я, потом резко сажусь. Ужин готов, и всегда будет готов, пока смерть не разлучит нас.

Налей мне выпить. Пить хочу.

Где бутылка?

Он вздыхает. Ты хоть что-нибудь знаешь, а?

Я не одну неделю мыла и разбирала все вокруг и очень старалась запомнить, где что лежит, но Хуан всегда прячет бутылку в новое место.

Хорошо, когда в доме есть женщина. Братья те еще свиньи.

Мне становится радостно. Когда приедут мои братья, ух, как я буду ими помыкать. Я женщина, это мой дом, за которым я ухаживаю, моя семья, о которой я забочусь.

Вылакают все бухло, бормочет Хуан, до последней капли вылакают, если найдут.

Я приношу бутылку, которая на сей раз была спрятана в туалетном бачке, и достаю из шкафа стакан. Дрожащими руками я наливаю виски. Я хочу сделать все правильно, чтобы он гордился мною, чтобы ни о чем не жалел.

Может быть, все-таки поешь? — спрашиваю я.

На часах два ночи, черт возьми. Иди-ка сюда. Дай мне посмотреть на тебя, говорит он и смотрит на меня долго и пристально.

Обычно у него во взгляде читается «хочу-тебе-засадить», и тогда я закрываю глаза и просто позволяю ему засадить. Но сегодня он смотрит как-то иначе, по-новому.

Ты моя муза. Знаешь?

Я? Как это? Должно быть, у меня стало очень счастливое лицо. Никто никогда не говорил мне такого.

Мы тут поговорили с братьями. Будем покупать «бьюик». Я к нему давно приглядывался, ну там, в салоне напротив. У евреев есть такси для своих, так я подумал, что, если мы успеем первыми, можно будет начать с одной машины, а потом развернем целый бизнес, представляешь?

Разве у тебя нет машины?

Она слишком старая, на ней не поработаешь. Нам нужна машина специально для такси, аккуратная такая, чтобы с шиком катать пассажиров, да вот хоть бы и тебя.

Да не надо мне никакого шика.

Нет, надо. Ты моя жена, моя принцесса.

Правда?

Я-то считала себя плоскогрудой сестрицей, на долю которой приходится большая часть дел по дому.

А ты, принцесса Ана, будешь у нас в такси оператором.

Что такое «оператор»?

Люди будут тебе звонить и говорить, куда подать машину и куда их отвезти. Такси Руис доминиканское, и обслуживать мы будем доминиканцев.

Голос у него хриплый и надтреснутый от усталости и сигарет. Ничего, ложечка меда, и это пройдет.

Хуан, ты с ума сошел. Я что, буду спрашивать: скажите, пожалуйста, куда вы хотите поехать? Ваше имя, пожалуйста. Минутку, пожалуйста.

У него загораются глаза.

А еще научим тебя водить.

Неужели я в самом деле могу научиться водить машину?

И тогда ты купишь мне новое пальто с меховым воротником, как у актрисы, смеюсь я и кручусь вокруг своей оси, полы байкового халата разлетаются, ткань шуршит и мелькает.

Да, *mi pajarita*, и пальто куплю.

Забывшись от восторга, я обнимаю его за шею и целую в щеку.

Что, любишь меня? — спрашивает он.

У меня перехватывает горло, но надо что-то сказать. Разве я знаю, что такое любить мужчину?

Да, люблю, отвечаю я голосом, который больше похож на шум помех между двух радиостанций.

Так, как я о тебе забочусь, больше никто не позаботится. Ты ведь понимаешь, да?

Да, Хуан, я понимаю.

Притворяйся, притворяйся. Может быть, надо просто долго притворяться, и тогда я сама поверю, что это правда.

Нам обоим придется многим пожертвовать, зато на родине у нас будет свой дом. Я могу на тебя положиться?

Да. Конечно.

Хуан обеими руками обхватывает мою голову. Если он крутанет ее, то сломает мне шею, как я той несчастной курице, которую избавила от страданий месяц назад. Я сижу неподвижно. Он роняет голову на руки. Под тяжестью его тела я все глубже погружаюсь в пластиковую диванную обивку. Он храпит, сначала тихо, потом громко, как двигатель, который требует ремонта. Сегодня секса не будет. Какое облегчение.

Я слушаю, как снаружи гудят машины, как воеют больничные сирены. По ногам пробегает холодный сквозняк.

Хуан крепко засыпает, и тогда я отпихиваю его, самую малость, чтобы только выскользнуть из-под его веса, потому что надо убрать тарелку с плиты. Надо выключить свет. Надо проверить, заперта ли дверь.

Я принцесса, я буду ездить на новеньком автомобиле! Ха!

СЕСАР И ХУАН ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, ЕДЯТ И ПРИНИМАЮТ ДУШ.

Сесар частенько бывает помят, волосы торчат в разные стороны, под глазами мешки.

А я видел слона на улице, говорит он.

Да ладно.

Всех перебудил, зверюга такая. Дорогу перекрыл. Дерьмо у него с мою голову размером.

Ну что ты мне голову морочишь.

Слоны влюбляются один раз и на всю жизнь. Ты знала? Именно поэтому нельзя смотреть им в глаза и все такое.

Ты что, опять влюбился?

Сесар садится за кухонный стол и кладет рядом швейный мешочек, портновский сантиметр висит у него на шее. Уже поздно, но ему надо зашить рубашку, потому что завтра у него свидание с какой-то женщиной, они идут на танцы.

Может, эта женщина сделает из тебя человека, говорю я.

Женщины делают из меня психа, даже ты.

Э нет, меня не вmeshивай.

Он показывает мне язык и вдевает нитку в иголку. Быстро-быстро. Устраивается со своей парадной рубашкой так, чтобы на дыру падал свет, отпивает кофе и принимается снова иглой туда-сюда, делая крошечные стежки вдоль и поперек, в точности повторяя фабричное плетение ткани.

Он шьет, а я заглядываю ему через плечо, шурюсь, вглядываясь в мелкие движения его иглы. Закончив, он демонстрирует мне свою работу. Дырки как не бывало, без увеличительного стекла и не разглядишь.

Хочешь, научу тебя штопать так, чтобы было незаметно?

Даже на то, чтобы просто вдеть нитку в иголку, у меня уходит целая вечность. Мама вечно огорчалась, что я такая безрукая.

Смотри сюда. Берешь нитку самыми кончиками пальцев. Ну, давай, попробуй. А теперь надевай на нее иголку. Иголку к нитке, а не наоборот. В том-то и фокус. Нитка мягкая, а иголка жесткая, поэтому двигай иголкой. И с людьми тоже так. Если человек жесткий, подвинь его, чтобы не загоразживал, пролезь мимо и делай что хочешь.

Ты прямо как моя мама!

Он подмигивает. Достает из одежного шкафа пару брюк. Заставляет меня примерить. Пояс брюк сползает мне на бедра. Он становится на колени и берет мою босую ступню. У него такие теплые руки, как странно.

Правило номер один: перед примеркой всегда обувайся.

Я сую ноги в туфли. Он защипывает ткань, пальцы легко касаются моей ноги.

Вот так подкалываешь.

Его руки скользят вокруг моей щиколотки, будто какой-то зверек пробежал.

Вымеряй подгиб, чтобы край был ровный. Сначала загладь, потом подшивай. Обычно никто не заглаживает, но это неправильно.

Я тебя всему научу — в Нью-Йорке, чтобы не пропасть, нужно иметь приработок. Не жди, пока работа сама тебя найдет, бери дело в свои руки, зарабатывай.

Деньги, деньги, деньги. Твои братья только о деньгах и думают, да, Сесар?

А ты — нет?

НЕ НАДО МНЕ БЫЛО ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ. МЕНЯ ЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ.

Но когда звенит звонок, я решаю, что пришел Хуан. Но это не Хуан, а какой-то старик с кустистыми бровями и руками, на которых не хватает пальцев. Он одет в военное и пахнет как мусорное ведро.

Я ваш сосед, говорит он. Мистер О'Брайен.

Извините, света нет.

Он сует мне в руку почту. Я успеваю разглядеть написанное на конверте имя Хуана Руиса.

Извините, повторяю я, беру почту и закрываю дверь. Сердце колотится в груди. Вдруг мне нельзя было ее брать? Я кладу письма на кухонный стол.

День напролет я жду Хуана. Проверяю телефон — работает ли? Мама, наверное, позвонит. Только добраться до телефона для нее целая история, это надо в центр ехать.

Когда наконец приходит Хуан, я показываю ему почту. Рассказываю, что приходил мистер О'Брайен, говорю детским голоском, от которого самой противно. Я и так боюсь родителей, не хочу еще и Хуана бояться. Но все равно боюсь. Когда мама сердится, ее гнев замешан на страхе и тревоге за меня. Но когда сердится Хуан, мне кажется, что мое зависимое положение лишь ускоряет переход от недовольства к гневу, от гнева к ярости. На шее у него надуваются жилы, он выкатывает глаза и орет: ты что, беды нам хочешь?

Его голос всегда как будто рвет меня на части.

Нет, сэр.

Хуан бьет меня по лицу, сильно, между зубов собирается кровь.

Будешь теперь помнить: если я что-то говорю, будь любезна слушаться. Ясно тебе?

Я смотрю в пол. Сдерживаю слезы, опускаю плечи, отступаю ровно настолько, сколько нужно, чтобы показать, что я подчиняюсь. Я выросла среди животных. Они многому меня научили.

ПОСЛЕ ТОГО СЛУЧАЯ ХУАН ПРИНОСИТ ТЕЛЕВИЗОР И СТАВИТ
его в гостиной.

Рада? — спрашивает он.

Господи, еще бы, говорю я.

В тот день на экране появляется черно-белая заставка:

*Кто
любит
Ану?*

Муж входит в дом, бросает пальто на стул, скрещивает руки на груди и зовет жену. Жена со счастливой улыбкой выбегает обнять мужа. Но тут она видит, что муж зол, и хочет сбежать. Муж велит ей вернуться. Муж довольно красивый, в костюме, с зализанными назад волосами. Иногда, когда муж злится, он говорит по-испански.

Затаив дыхание, я жду этого момента.

Муж достает из кармана бумагу и тычет ею жене в лицо. Жена съеживается от страха. Это важная бумага. У жены неприятности. Как в тот раз, когда жена попыталась пробраться на шоу, где муж поет и играет на барабанах. Бадабуммм!

Муж пытается уговорить жену, но, но... муж кричит, и жена отпрыгивает. Жена без конца улыбается. Муж кричит так громко, что выглядывают соседи, но реша-

ют предоставить жену ее судьбе. Жена умоляет соседей остаться. Жена прячется за спины соседей. Муж кричит на соседей. Жене и соседям некуда бежать. [Смех за кадром.]

Муж на кухне, в фартуке, весело насвистывает. Сюрприз! Жена читает газету, муж достает хлеб из тостера. Жене очень нравится еда, которую приготовил муж. Муж с женой совсем запутались. Муж покупает жене коробку конфет. Жена падает в обморок. [Смех за кадром]

ОТ АНЫ НЕТ ПИСЕМ? — КАЖДЫЙ РАЗ СПРАШИВАЕТ ГАБРИЭЛЬ, повстречав Йонни, Хуаниту, Бетти или Тересу. За домом растет дерево, здесь мама искать не станет, они лежат на деревянном настиле в вышине и смотрят в небо. С одного края небо темное, того и гляди хлынет дождь; с другого края легкие облака пронизаны солнечными лучами и над землей низко летают цапли. Вообще-то Йонни должен косить траву, чтобы дорожка к дому не зарастала. Тереса ставит на землю таз с бельем, которое отмокало весь день в ожидании стирки.

Как ты думаешь, что сейчас делает Ана? — спрашивает Йонни у Тересы.

Уж точно не о нас думает. Тереса заслоняется от солнца ладонью. Сидит себе в шикарном ресторане, ест здоровенный кусок мяса, все ей одной.

Йонни фыркает. Спорим, что мясо ест Хуан, а Ана только косточки обсасывает. Йонни крутит перед собой невидимый руль. А может, Хуан купит Ане машину? Тогда она покатает нас, когда мы приедем.

Покатает? — говорит Габриэль. Ты хоть раз ее на велосипеде видел?

Йонни! Тереса! Ленни! — кричит мама. Ей не нравится, что Габриэль все никак не уходит, того и гляди придется кормить лишний рот.

Ш-ш-ш, говорит Ленни, тихо крадется вниз, держа в руках нож и целясь в самодельную мишень.

Порежешь меня, ворчит Тереса, я тебе ноги узлом завяжу вокруг этого самого дерева.

Ну почему ты такая злая, говорит Йонни. Успокойся уже, блин.

Ленни прицеливается, но нож падает ему прямо на ногу. Ай, ай! Йонни смеется. Сопляк, скажи спасибо, что не в глаз.

Ленни съезживается, баюкает раненую ногу.

Сам иди с ней разбирайся, говорит Тереса Йонни, потому что по горло сыта мамой и работой за двоих, которую мама взвалила на нее после того, как я уехала. В столице беспокойно, мама с папой места себе не находят от тревоги и потому все время ссорятся. Ходят слухи, что в горах и долинах теперь полно герильяс, совсем как на Кубе. Если они приставят папе дуло ружья к виску, ему придется выбирать: либо покрывать партизан, либо донести на них.

А ты тоже хочешь в Нью-Йорк, да? — спрашивает Йонни.

А ты думаешь, что приедешь и сразу станешь захибленным бейсболистом, как Мэнни Мота? Да у тебя даже биты нет.

Уж и помечтать нельзя.

Тереса обеими руками берет голубя и шепчет ему на ухо: Ана, приезжай уже домой. И отпускает птицу, и ее клюв смотрит прямо на меня.

ГОЛУБИ ПРИЛЕТАЮТ СТАЕЙ. ХУАН ВЕЛИТ МНЕ ИХ НЕ КОРМИТЬ,
но я все равно кормлю.

Ана, голуби – это летучие крысы. Они гадят на пожарных лестницах и кормятся на помойке. Это тебе не домашние голуби, их не нафаршируешь и на праздник не приготовишь.

Он говорит, что если съесть такого голубя, то заболеешь. Или даже умрешь. Ко мне постоянно прилетают пятеро. Я назвала их Йонни, Хуанита, Бетти, Тереса и Ленни. Иногда они приводят с собой друзей. Если они не съедают рис, который я им насыпала, то перед приходом Хуана я прячу тарелку подальше. Голубь по имени Бетти любит глядеться в окно, как в зеркало. Бетти кивает, вертится туда-сюда. Голубь Йонни и голубь Хуанита всегда держатся вместе. Иногда голубь Йонни прогоняет других, и вся тарелка достается Хуаните. Голубь Ленни самый мелкий. А голубь по имени Тереса, о, он занимает собой все пространство вокруг, надувает грудь, выкатывает шею, чистый петух, а не голубь.

Иногда я велю голубям проверить, как там моя семья, и тогда их не видать по нескольку дней. Когда голуби возвращаются, приходят письма. Просьбы, просьбы, просьбы.

Тереса хочет пойти на курсы парикмахеров, нужно пять долларов.

Ситуация в Доминиканской Республике вышла из-под контроля. В стране волнения. Молодым парням может не поздоровиться.

Вызовите к себе Йонни. Поскорей, пока он тут не ввязался во что-нибудь.

Даже Габриэль теперь таскает с собой ружье длиннее собственной ноги.

Я глажу написанное Тересой имя Габриэля. Пусть не воздух, которым он дышит, пусть хотя бы чернила.

Мама пишет:

Ты получила нужные документы?

Ты ходишь в школу?

Ты хорошо заботишься о Хуане?

Пришли нам денег на а), б), в)...

Бедная Тереса работает в жуткой дыре на самой худшей улице Макориса, чуть зазеваешься, исподнее снимут. Она стала такая худая, ты не представляешь, а все потому, что не умеет отличить приличного человека от отребья.

Эль Гуардия слишком уж подолгу торчит в столице, все болтает, что янки придут и спасут нас, а сам метит запродаться повстанцам. Его в гробу привезут.

С Ленни все слава богу, он каждый день ходит в школу. Но у нас просто земля из-под ног уходит.

Пришли денег. Пришли денег. Пришли денег.

И между строк:

Мы скучаем по тебе.

Мы скучаем по тебе.

Мы скучаем по тебе.

Без тебя все совсем не так.

РАЙОН У НАС ХОРОШИЙ, НО ДЕЛА В НЕМ ПЛОХИ. ЕЩЕ ДО ТОГО, как я слышу выстрелы, я вижу, как в бальный зал Одюбона входит целая армия чернокожих мужчин в галстуках-бабочках, за мужчинами тянутся их семьи. Обычно неподалеку маячат копы, но сегодня никого нет. Ни единого. Может, где-то дело еще хуже?

Хлоп, хлоп, хлоп.

Я падаю на пол, как тогда, ночью, когда мальчишки в форме стреляли в воздух, требуя, чтобы папа открыл наш colmado* в неурочный час. Ползу к Сесару, сегодня воскресенье, поэтому он весь день спит. Хлопаю в ладоши у него над ухом, но он не просыпается.

Проснись, я тяну его за штанину. Сесар поворачивается ко мне спиной и подтягивает ноги к груди.

Ну пожалуйста, Сесар.

Я пригибаюсь.

Что случилось? — спрашивает Сесар, толком не проснувшись. Я стягиваю его с дивана и прячусь за его спину. Он открывает окно. В комнату врывается шум города. Порыв холодного ветра бьет меня по лицу. По улице во весь дух бежит человек, толкая перед собой медицинскую каталку. Человек забегает в «Одубон».

Сесар по пояс высовывается из окна. Мы смотрим, как из зала толпой выбегают люди. Один из них хватается какого-то мужчину, швыряет наземь, бьет кулаком, пинает. Почему нет полицейских? Воскресенье же. Где полиция?

Наконец появляются полицейские с дубинками в руках. Из алюминиевых дверей выкатывают каталку с лежащим на ней

* Продуктовая лавочка (исп.).

человеком и везут по улице в больницу. Вспышки камер. Из здания с криками выбегают люди. Головы втянуты в плечи. Руки машут в воздухе. Кто погиб? Кто-то погиб.

Плохо дело, говорит Сесар.

Что там? Что?

В сторону больничного отделения скорой помощи везут еще одну каталку с человеком на ней.

Очень-очень плохо.

Может, он еще поправится? Или она?

Знаешь, сколько я ждал этого вечера, говорит Сесар, сна уже ни в одном глазу. В «Одубоне» играют Las Hermanas Milagros, я даже новые туфли для танцев купил. А теперь копы как пить дать отменяют концерт из-за этого дерьма.

Как ты можешь? А вдруг там кого-то убили.

Да подумаешь, выстрелы, тут вечно кто-то стреляет. А вот чтобы в свободный вечер да какая-нибудь веселая гулянка — это почему-то никогда не получается.

Ты серьезно?

Сесар кружится по квартире так, словно уже слышит Las Hermanas Milagros. Он проходит в танце от одного угла гостиной до другого, огибает кофейный столик, врывается в обеденный стол, в полки, в диван. На кофейном столике лежит стопка пластинок. Он берет верхнюю, вытаскивает из конверта и протирает рукавом рубашки.

El Pussy Cat... ай-ай-ай... Эх, Ана, вот это песня!

El Pussy — чего? — спрашиваю я. Он продолжает громить гостиную. Я пытаюсь вернуть все на место. Он что, не может постоять спокойно?

Слышала бы ты! Когда Монго Сантамария берется за инструмент, его руками играет Бог!

Сесар издает кошачий вопль. Делает вид, будто царапает меня. Дергает головой и улыбается. Он прыгает вперед снова и снова, выставив руки, локти и колени согнуты, голова втяну-

та в плечи, зубы оскалены, и я всякий раз вздрагиваю, ожидая удара.

А Сесар знай поет, фальшиво-префальшиво, это вам не Хуан.

Здорово, правда? Его дыхание обдаёт мое лицо теплом.

Как ты можешь танцевать — сейчас? Посмотри, там же люди, им плохо.

А вот еще послушай. Это моя любимая, тебе понравится, говорит он.

Сесар протирает рукавом очередную пластинку, аккуратно кладет ее на вертушку, нагнувшись, осторожно ставит иглу на самое начало дорожки, чтобы не соскользнула. Падает на диван, ноги кладет на кофейный столик, руки забрасывает за голову. Закрывает глаза и слушает.

Вот это песня, правда, Ана?

Звонит телефон. Хоть бы это была мама. Даже если она опять будет просить денег.

Мама? — ору я, перекрикивая музыку, пение Сесара и шум за окном.

Но в трубке только чье-то дыхание.

Хуан?

Тот, кто дышал, вешает трубку, и в мое сердце вползает новый страх.

Некоторое время спустя по телевизору вдруг показывают фотографию бального зала «Одубон».

Специальный репортаж! Especial! Специальный! Репортаж! Reportaje!

Молодой парень. Чернокожий. Даже красавчик. Малькольм Икс.

Шум уличной толпы сливается с шумом из телевизора в гостиной. На экране — тело на каталке, а за ним — зубоврачебный магазин и маленький парк, где мы с Хуаном иногда сидим на скамейке и едим одно мороженое на двоих. Вот он, наш Бродвей, в самых новостях! Вход на станцию метро «168-я улица», вывеска

неотложной помощи. Наш дом! Яркая вывеска «Соль и перец» — ресторан на первом этаже. Маленький прямоугольничек среди других таких же. Наши красные занавески! И силуэт в окне — неужели это я?

ХУАН ДАЕТ МНЕ ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ И ЗАПЕЧАТАННЫЙ КОНВЕРТ,
на который осталось наклеить марку.

Сходи в магазин, купи яиц, говорит он. В холодильнике шаром покати, что я есть буду? Овсянку и хлопья? Я тебе что, голубь?

Я еще никогда не выходила из квартиры в одиночку. Только с Сесаром или Хуаном. Чаще всего я целыми днями сижу дома. Сесар и Хуан приходят и уходят, с одной работы на другую, а у меня через день стирка. Надо мыть унитаз. Готовить еду. И ключа у меня своего нет, Хуан говорит, что у него нет времени сделать второй. Вечно у него отговорки.

Иди уже!

Дома мы держали кур. Я чувствую себя курицей, захочет хозяин — выпустит, захочет — снова запрет.

На мне шерстяное платье из мешка с ношеной одеждой, которую где-то раздобыл Хуан.

У меня нет ни кошелька, ни сумочки, поэтому я складываю пятидолларовую бумажку и кладу в карман пальто. Карман такой большой. Вдруг выпадет? Я выхожу на улицу, радуюсь, что сегодня нет холодного ветра прямо в лицо. Перехожу на другую сторону улицы, там почта. Улица все та же, наша Сто шестьдесят пятая. Почта находится напротив маленького парка, где все скамейки повернуты в сторону церкви. Я встаю в очередь четвертой. Стараюсь не глазеть на людей и вместо этого рассматриваю блестящий плиточный пол, черный с красным, и пробковую доску с объявлениями. Все по-английски. Чисто и аккуратно, как в больнице. Очередь проходит быстро, и вот я уже просовываю конверт кассирше. Она говорит что-то, но так, будто у нее рот набит, и приклеивает марку на конверт. Я киваю, понятия не имея, на что соглашаюсь. Даю ей

деньги, влажные от пота. Она разворачивает купюру и отсчитывает сдачу. Куча монеток. Четыре долларовые купюры! Какое богатство.

Я, должно быть, улыбаюсь, потому что она улыбается в ответ.

На улице я подставляю пятерню солнцу. Wepa!* Смотри, мама, я в Нью-Йорке, иду по делам, и у меня куча денег.

Хочется хоть одним глазком посмотреть на школу, где дети ходят в форме, и я поворачиваю на Сент-Николас-авеню. Посмотрю, и напрямиком в «Фудораму», куплю яиц, молока, может, хороших яблок и шоколадку. Хуан говорит, что этот город устроен решеткой.

Здесь сплошные квадраты и прямоугольники, Ана. Номера идут подряд. Супермаркет на Бродвее, на углу Сто шестьдесят первой. Не пропустишь. Поосторожней там. Не говори с незнакомыми. Никуда не заходи, только в магазин. Не смотри в глаза полицейским и наркоманам. Если что, переходи на другую сторону улицы. И не тяни там, мне на работу надо.

Школьные окна наглухо закрыты, но я все равно высматриваю внутри признаки жизни. Совсем не похоже на школу у нас дома, где все время шум и дразнилки. И Габриэля нет, он всегда отвоевывал себе парту рядом с моей. Вдруг он меня еще вспоминает?

На Сто шестьдесят четвертой я поворачиваю к Бродвею, но посреди квартала припаркована полицейская машина. Полицейский выписывает штраф. Я оставляю церковь Святого Николая за спиной, прохожу мимо мужской парикмахерской, где мужчины ждут, чтоб их постригли под машинку, а на вывеске — парики, миную витрину ломбарда, в которой выставлены обручальные кольца, фотоаппарат и пистолет. Сколько всего нового. Ничего, надо просто пройти дальше по Сент-Николас, она идет параллельно Бродвею, потом свернуть на Сто шестидесятую, пройти один квартал, и там будет супермаркет.

Но Сто шестьдесят вторая все никак не заканчивается. Ни еди-

* Возглас радости (*исп.*).

ного магазина. Вот и Сто шестьдесят второй тоже уже нет. Сент-Николаса тоже нет. Может, это Эджкомб-авеню?

Ни единого знакомого дома. Я поворачиваюсь вокруг, высматривая мост Джорджа Вашингтона. Лавочку с мороженым. Земля плывет у меня под ногами. Лица прохожих кажутся такими большими. Хуан ждет, он опоздает на работу. Едущая мимо машина притормаживает, опускается стекло. Из рта шофера валятся слова. Я бегу. Набитые сдачей карманы стучат по ногам, монеты брякают. Я бегу туда, откуда пришла, но Сто шестьдесят вторая все тянется и тянется без конца. Тут я вижу лавочку с мороженым — Сент-Николас! Вот и Бродвей. Но я потеряла кучу времени. Столько времени потеряла. Я озираюсь — не смотрит ли кто? И захожу в La Bodeguita. Продавца, которого так не любит Хуан, там сегодня нет. Какое облегчение. Сегодня работает другой, гораздо моложе, он даже не здоровается, когда я вхожу. Я покупаю молоко. Яйца. Он подсчитывает сумму. Не отрываясь от комиксов в газете. Я даю ему доллар. Еще одна горсть мелочи!

Дверь подъезда уже открыта. Лифт уже ждет. Входя в квартиру, я чувствую, как вспотела под своим шерстяным платьем.

Почему так долго?

Очередь в... супермаркете.

Правда? Днем?

Я пожимаю плечами. Хуан не идиот.

Теперь и поесть не успею, говорит он.

Успеешь. Садись, говорю я маминым тоном. Твердо кладу руку ему на плечо, успокаиваю, как непослушную лошадь. Сядь, Хуан, сядь.

Он смотрит в мое потное лицо. От шерстяного платья чешется все тело.

Если с тобой что-нибудь случится, я себе никогда не прощу, говорит он.

Видишь, какой он хороший человек? Что же это улицы Нью-Йорка так меня заморочили?

ЕЩЕ ДО ХУАНА, ДО НЬЮ-ЙОРКА МЫ С МАМОЙ, ТЕРЕСОЙ, Хуанитой и Бетти, бывало, садились вокруг приемника и слушали Джеки, идеальную жену, такую элегантную, и муж у нее хороший человек, американец. За трубным голосом доньи Алегрии, местной радиозвезды, бархатистый голос первой леди был едва слышен. Когда Кеннеди застрелили, мы услышали, как Джеки любила своего мужа – так сильно любила, что добровольно подвергла себя опасности, когда русские угрожали Америке. Тринадцать тревожных дней, пока старая карлица Куба разыгрывала свою карту.

Я лучше умру с тобой, выпевала в воздух Джеки, и дети со мной вместе, чем жить одной без тебя.

Вот, учитесь, твердила мама всем своим дочерям. Она всегда говорит именно то, что от нее хотят услышать. Овдовела, ну так и что же, все равно богатая! Вот как важно правильно выбирать мужа.

И мы из всех сил вслушивались в голос Джеки, которая делилась с нами своими женскими секретами.

Главное для жены – ухаживать за мужем, говорила Джеки. Мужчина весь день проводит на работе, он живет своей работой. И если дома его ждут ссоры и скандалы, где же бедняге отдохнуть?

А ведь правда. Когда Хуан приходит домой, ему только и хочется, что отдохнуть. Очень ему надо слушать про обогреватель, который только к вечеру заработал, или про засор в кухонной раковине.

Смахните тревоги прочь, как лошадь смахивает муху, говорила Кеннеди.

Настоящая женщина не позволяет себе грустить сверх меры.

Секс – дело пропащее, одежда потом в ужасном состоянии.

Слушая Джеки, мы хихикали. Ее платья стоили дороже всего

нашего дома, всей нашей земли, всего, что у нас когда-нибудь было или будет.

Может, лучше быть победнее и попроще, зато с сексом, шепнула нам Тереса, пока мама не слышит.

Как же я по ним скучаю. Как хочется, чтобы они сидели здесь, у меня на кухне, а я мыла посуду. Может, вдовой быть даже лучше, говорю я пустым стульям. А если Хуан однажды выйдет из дому и больше не вернется? Вдовой, как жена Малькольма Икса, Бетти Шабазз — ах, кузина Бетти! — которая осталась с шестью дочерьми на руках. Как Джеки Кеннеди, которая осталась одна с двумя детьми, но была все такая же элегантная и хрупкая, как куколка.

Я задерживаю дыхание перед каждым словом, и даже мой голос теперь звучит совсем как у нее, с придыханием, и обволакивает собой Хуана.

ЗВОНЯТ В ДВЕРЬ, НО Я НЕ ОТКРЫВАЮ. Я ИДУ К ОКНУ. ИЗ ПОДЪЕЗДА выходит человек, он поднимает голову за миг до того, как я прячусь. Это Антонио. Когда Антонио был у нас в прошлый раз, он сказал, что Хуан не говорил ему о том, что женился. Хуан не говорил ему, какая я красавица. Хуан вообще ничего ему не говорил, хоть они и видятся почти каждый день, потому что работают вместе. Оба они работают официантами в «Йонкерс Рейсвэй» еще с шестидесятых, когда только-только приехали в Америку. Когда Антонио приходил в прошлый раз, я пригласила его в гостиную и подала виски со льдом, но, в отличие от прочих мужчин, Антонио всегда говорит вкрадчиво. Если я ему не открою, будет хуже — мы не можем разбрасываться покупателями.

Я включаю домофон и приглашаю его войти.

Сбрасываю домашнее платье, смахиваю пушинку с шерстяной юбки. Заново подкрашиваю губы. Поправляю шарф на волосах.

Включаю радио и, прислонившись спиной к двери, жду, когда постучит Антонио.

Антонио всегда такой ухоженный: ногти в маникюре, тщательно подстриженные усики.

Я уж было решил, что ты не желаешь меня видеть, говорит Антонио, ожидая приглашения войти. Небольшой пакет, из которого торчит розовая оберточная бумага, странно смотрится в его больших руках.

Простите, говорю я, глядя в пол, потом перевожу взгляд на его туфли. Я не услышала звонок, наверное, радио работало слишком громко.

И как это у него получается — ходит по снегу, а ботинки сияют как зеркало? У Хуана на башмаках вечно разводы, я каждый ве-

чер оттираю с его обуви соль. Антонио снимает тяжелый кожаный плащ и отдает мне. А на улице-то мороз! Плащ у него холодный. Руки и щеки тоже, наверное. Он смеется, как будто в моем присутствии ему не по себе. Пожилые мужчины иногда такие смешные.

Хотите воды или еще чего-нибудь? Или приступим сразу?

Антонио наклоняет голову.

Ты всем мужчинам так говоришь?

У меня пылают щеки. Обычно я предлагаю воду, потому что она ничего не стоит. Дома я приносила воду из колодца, кипятила и пила теплой, потому что брать лед из холодильника не разрешал папа. Лед — для покупателей. А в Нью-Йорке вода такая сладкая, чистая, прохладная.

Что ж, начнем, говорит он. Я сегодня тороплюсь.

Розовый пакет он ставит на столик у двери.

Да-да, конечно. Я тотчас же открываю стоящий в коридоре шкаф и достаю два костюма.

Раньше у Хуана костюмы лежали грудami по всей гостиной, торчали из коробок. Коробок, которые его поделщики сбрасывали с грузовиков, развозивших товар по универсальным магазинам. «Мейсиз». «Джимбелз». «Б. Олтман и компания». Но потом я развеси-ла их в шкафу так, как вешают одежду в магазине. Те, что труднее всего продать, — на самом видном месте, их видно сразу, едва откроешь дверцу. Новые поступления убраны поглубже. Я даже распределила их по размерам, чтобы было проще.

Антонио подходит все, он сам как манекен. Я помогаю ему надеть пиджак. Он разглаживает лацканы, выпрямляет спину, разглядывает себя в зеркале, которое скотчем приклеено к дверце шкафа. Когда он надувает грудь и приподнимает широкую бровь, я подавляю смехок.

И брюки тоже померяйте. Хуан не принимает возвраты.

От этого Хуана одна головная боль. Не будь мы с ним знакомы так долго, я бы давно вел дела в другом месте.

Я вас оставляю, говорю я.

Я оставляю его переодеться в прихожей, но сама подглядываю в щель между стеной и дверью гостиной. Ноги у него мускулистые, кожа темная, как у человека, который не боится солнца, — у Хуана кожа бледная, сухая, волосатая, — а волосы Антонио, угольно-черные, зачесаны назад, уложены и сияют не хуже его лаковых туфель.

Брюки хорошо сидят в поясе, но длинноваты. Он не успевает сказать ни слова, а я уже достаю из шкафа жестянку с иголками, булавками и нитками, которые подарил мне Сесар. Сейчас подзаработаю.

Я в две минуты подошью.

Надо же, Хуан не говорил, что ты еще и портниха.

Ну что вы, Антонио. Я просто подшиваю брюки. Только и всего. Подождите минутку, я все сделаю.

Хуан не знает, что я подрабатываю шитьем и беру деньги себе. Мама бы одобрила. У женщины должны быть свои деньги, отдельные, на свои нужды — уход за собой, прическа, туфли, эти дни. А еще надо посылать деньги домой. Мама ожидала, что Хуан будет помогать семье, но он считает каждое пенни. Чуть подешевеет молоко или туалетная бумага, сразу бежит в супермаркет. Он считает, что снял меня с родительской шеи — и будет с них. Так что я посылаю маме собственные сбережения, хотя, конечно, вру, что это от Хуана.

Мне жена подшивает, серьезно, почти испуганно говорит Антонио. Она не любит, когда другие женщины возятся с моими штанами.

Ой. Я не...

Не волнуйся, *soagazón**. Просто моя жена умная женщина.

Так вы возьмете оба костюма?

А скидка будет?

Эта часть работы всегда самая неприятная.

Я не могу... Мне нельзя...

* Нежное обращение, сердце (*исп.*).

Антонио не настаивает. Другие мужчины злятся, требуют, чтобы я позвонила Хуану и дала им поговорить с ним напрямую. Один даже выхватил у меня костюм, перебросил через руку, а деньги швырнул мне под ноги, и ровно столько, сколько сам считал нужным.

Антонио не такой.

Вот, за оба, говорит он, доставая из серебряного зажима банкноты. Но в следующий раз скажи Хуану, что я хочу получить скидку.

Его дыхание отдает табаком и немножко мятой, и я вспоминаю отца, потому что он курит трубку. Антонио перебрасывает костюмы через плечо, чтобы их пластиковые чехлы не волочились по земле.

Розовый пакет так и остается на столике. Я не бегу за Антонио. Недавно в лифте ограбили соседку, пожилую еврейку, которая живет этажом ниже. Она прожила здесь больше тридцати пяти лет. Хуан говорит, никому нельзя верить, а особенно черным, которые спят на улицах и высматривают, кого бы тряхануть. Хуан произносит «эти черные» так, будто свежует козу.

Они хуже пуэрториканцев, хотят все и сразу за просто так. Вот доминиканцы работы не боятся. Именно поэтому доминиканца кто угодно возьмет на работу.

Я никогда еще не видела человека, который работал бы так много, как Хуан. Каждый день я согреваю ему воды с солью, чтобы он попарил ноги. Каждый день чищу ему щеточкой ногти и мажу мозоли кокосовым маслом.

Из шестидесяти двух долларов, полученных от Антонио, я отделила два и прячу их в мою глиняную Доминикану. Остальное прячу в конверт, но прежде записываю полученную за костюмы сумму в специальную тетрадь. Хуан умеет только складывать, вычитать он так и не научился, шутят все наши гости. Свои заработки я записываю карандашом на стене под подоконником. Кладу доллар в куклу — и плюсю, достаю доллар — вычитаю. За эти шесть не-

дель я скопила пятнадцать долларов, чтобы отправить домой, пусть не тревожатся обо мне.

Звонит мама, говорит и говорит без умолку.

Aló, Ана, ты меня слышишь? Как ты там? Aló?

Все хорошо, я...

А я сразу сказала, что все будет хорошо. Ты мне еще не раз спасибо скажешь.

А как там...

У вас там холодно? У тебя, небось, полон шкаф новых платьев и туфель. Смотри, не бросай украшения как попало, чтоб не перепутались. Ты нашла работу? Ты уже пошла учиться?

Все сложно. Куча возни с документами. Я пока веду бизнес Хуана, на дому. У него куча клиентов.

Он тебе платит?

Нет, но...

Скажи ему, что тебе нужна работа. Ты сама должна зарабатывать. Нельзя же просто сидеть дома и ждать. Ты учишь английский?

Все сложно.

Обязательно скажи Хуану, чтобы прислал нам денег. Папа вывихнул руку, от доктора пришел такой счет, что мы только ахнули. Сама знаешь, как оно бывает. С миру по нитке...

Погоди, что с папой? Он там? Дай мне...

Пришли Йонни и Ленни одежду, когда случится оказия. Мне — дезодорант и зубную пасту. А Тересе — лифчик.

Aló? Aló?

Aló? Ана! Скажи Хуану... Aló?

Как же я скучаю по дому! Но здесь никому об этом не скажешь, а в трубке сплошные помехи...

Я открываю розовый пакетик, который оставил Антонио. Должно быть, это подарок для его жены. Или для меня? Ну вдруг для меня? Мужчины все одинаковые, даже хорошие, как Антонио. В пакете красная коробочка сердечком, обтянутая тканью в скла-

дочку. В коробочке четыре шоколадки, формой напоминающие наперсток. Я кладу шоколадку в рот целиком. Не раскусываю, просто держу во рту, и это так сладко и приятно.

Я съедаю второй шоколадный наперсток. Красный вишневый сок заливает руку, течет по пальцам. Я облизываю их. Сердце стучит как бешеное. Скажи Хуану, скажи Хуану, твердит мама. Как будто это так легко — сказать Хуану. Я и в самом деле хочу работать. Хочу выучить английский, хочу, чтобы в шкафу у меня было полно платьев. Я заворачиваю последнюю конфетку в фольгу и прячу в самой глубине холодильника. Коробочку я аккуратно расплющиваю и убираю в шкаф под раковиной, в пластиковый пакет с вещами, которые нашла, убираясь в квартире. Женскими вещами, не моими. Вроде косметики, которой я крашусь, когда Хуана нет дома, а потом смываю, пока он не вернулся.

ХУАН ПРИХОДИТ ПОЗДНО, УЖИНАТЬ НЕ ХОЧЕТ. ОН ПЬЯН, И, СУДЯ

по мешкам под глазами, день у него был тяжелый.

Иди сюда, говорит он, брюки уже на полу, рубашка распахнута.

Я загораживаюсь стулом — я уже научилась не даваться и точно знаю, сколько времени пройдет, прежде чем ему это надоест, и сколько — до того, как он уснет. Когда он тянет ко мне руки, я перебегаю за кофейный столик, надеясь, что Хуан споткнется о него. В прошлый раз споткнулась я, расшибла ногу.

Но на этот раз он все-таки ловит меня за руку и тащит в спальню. Я уже знаю, что бывают моменты, когда сопротивляться не нужно, пусть все идет как идет, и время начинает течь быстрее.

Я сижу на кровати, на коленях подушка, колени и щиколотки скрещены. Надо бы убрать ужин в холодильник, пока тараканы не набежали.

Посмотри на меня.

Я не впущу его, даже в глаза — не впущу.

Мне всего-то и хотелось бы, чтобы он сказал, что я красивая, шептал мне на ухо, что я его птичка и другой такой нет, и это было бы правдой. Чтобы он усыпал постель цветами и смотрел на меня влюбленно, как смотрел Габриэль, как будто мои округлости таили в себе какую-то загадку. Я прикусываю нижнюю губу, сдерживая слезы, и не смотрю на Хуана, потому что если посмотрю, то увижу только кожу в крупных порах да толстые темные волосы, которые топорщатся на подбородке и торчат из носа.

Я закрываюсь руками от его кислого дыхания.

И он бросается на меня, раздвигает мне ноги, хватая за грудь, тянет.

Я сжимаю мышцы, словно пытаюсь одним усилием переку-

сильнее его мужественность надвое. Но чем сильнее я напрягаюсь, тем сильнее он рвется вперед. А чем сильнее он рвется, тем легче ему войти. Бедрa мои сотрясаются, кровь приливает к моему естеству. Мне хочется умереть. Кончай, кончай уже! Я вращаю бедрами. Щеки опалает волной жара. Все внутри содрогается так, что я боюсь обмочить все вокруг. От смущения я закрываю глаза. Мне хочется столкнуть его с себя, но его бедра движутся вперед, рывки делаются все сильнее и глубже. Он хватает меня за ноги и забрасывает их себе на плечи, и вновь меня окатывает волной, на этот раз сильнее, короче. На глазах вскипают слезы — и вся я киплю и плавлюсь.

Да, шепчет он мне на ухо. Да, да, так, да, Каридад. Кончи со мной. Кончи.

Он гладит мою спину, руки, ноги, и от его прикосновений по телу пробегает дрожь. Пот капает с его лба мне на лицо. Он зарывается лицом в подушки. Его пальцы запутались у меня в волосах, тянут легонько, усиливая неожиданное чувство наполненности.

Каридад. Наконец-то я услышала это имя в открытую. Это она — дыхание в телефонной трубке, это ее косметику я нашла и спрятала в шкафчике в ванной.

Когда Хуан отваливается, я заворачиваюсь в простыню. Мне стыдно. Между ног саднит, пульсирует, просит еще, наливается болью. Он лежит на животе, обнаженный, точь-в-точь спящий хряк. Я смотрю на свое отражение, на залитое краской лицо, руки все дрожат и дрожат. Что-то странное творится с моим телом. Что-то необъяснимое.

В ДЕНЬ, КОГДА БЕЗМОЛВНЫЕ ЗВОНКИ ПРЕКРАЩАЮТСЯ, ХУАН ПРОСИТ Сесара пойти с ним на ночную смену в отель «Плаза», где теперь работает Каридад. Рабочие бастуют, требуя повышения зарплаты, и «Йонкерс Рейсвэй» пока закрыт.

После смены на фабрике Сесар устал, но он не может отказать Хуану, поэтому надевает второй свитер и вместе с Хуаном идет в город.

Каридад нас выцепит, говорит Хуан.

Это какая Каридад, та, которая тебе чуть хер не отрезала, когда узнала про Ану? — спрашивает Сесар и качает головой, глядя на соседа по очереди, свеженького иммигранта в слишком коротких брюках, щиколотки наружу.

И зачем я с тобой пошел?

Помнишь, как мы были такими же? — говорит Хуан. Голодные ублюдки.

Из боковой двери выходит Каридад, видит в очереди Хуана и Сесара, машет им, приглашая войти. В очереди фыркают, они не знают, что Хуан уже который год согревает постель Каридад.

А я думаю — что это такие важные люди и стоят в очереди, как все, говорит она.

Я по тебе соскучился, говорит Хуан ей на ушко.

Эй, Сесар, скажи своему брату, что я с женатиками не путаюсь.

И ты ей поверишь? Она сама замужем. Хитрая какая.

Успокойся, брат, может, и зря мы это.

Я хоть попытался, кричит Хуан Каридад и уходит к дороге, туда, где в этот вечерний час не протолкнуться от машин и от людей, возвращающихся с работы. Багровеет небо. Мороз жалит щеки.

Сесар едва поспевает за Хуаном, который быстро шагает к стан-

ции подземки — лицо багровое, зубы стиснуты. В метро едут молча. На «Вашингтон-Хайтс» Хуан выходит и направляется прямоком в бар для gringos. Здесь темно и тихо, ему по вкусу. Не то что ирландские бары, где что ни день, то драка, или черный бар, где вечно гремит музыка.

Вышибала у дверей пропускает Хуана, а Сесара придерживает.

Какого черта, говорит Сесар, указывая на Хуана. Это же mi brotha*.

Слушай, парень, мне проблемы ни к чему. И вышибала поворачивается спиной к Сесару.

Brotha! Mi brotha! У Сесара кожа темнее, чем у брата, и его не впервые разворачивают у входа в бар. Но на сей раз вышибала хватает под локоть и Хуана и выводит его наружу.

Соño, сагајо!** Хуан размахивает руками, у него чешутся кулаки. Он багровеет, как в мультике, где у героя потом взрывается голова, и вдруг ни с того ни с сего бьет Сесара в скулу, опрокидывая того на тротуар.

Вонь застарелой мочи, сорняки, пробивающиеся сквозь трещины в асфальте, боль от рассаженной руки, когда Сесар пытается смягчить падение. Он этого Хуану не забудет.

Люди глазеют на него так, словно это он, Сесар, нарывается на неприятности.

Чтоб я тебе еще хоть раз помог, не дожدهшься! — кричит Сесар Хуану.

* Мой брат (*исп.*).

** Какого хрена! (*исп.*)

Я ЖИВУ В КВАРТИРЕ ХУАНА ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА, И ВОТ наконец-то у каждой вещи есть свое место. Даже у Сесара имеется отдельный угол для его добра. Хотя Сесар в последнее время дома не показывается. Может, женщину нашел. Может, с Хуаном поцапался. Тогда понятно, почему Хуан бесится чуть что.

Я убираю волосы от лица, связываю их в тяжелый узел и принимаюсь за уборку. Я лью на пол воду и тру доски губкой. Наполняя ведро, я с усмешкой вспоминаю, какую трепку задавала мне мама, пропусти я хоть пятнышко. Я тру пол, я довольна жизнью, сосновый запах разведенного в воде мыла витает вокруг. Тут звонят в дверь, и сердце мгновенно прыгает куда-то в горло.

От вас течет! — кричит за дверью управляющий.

Хуан запрещает открывать дверь, когда его нет дома, даже если это управляющий. Если дело важное, придут в другой раз.

Управляющий снова звонит и держит звонок так долго, что у меня болят уши.

Наверное, что-то срочное. Я приоткрываю дверь, не снимая цепочки, и выглядываю наружу. У управляющего ярко-розовое лицо в рыжих веснушках и такие же рыжие волосы. Брюки оттягивает пояс с инструментами.

Можно войти, мисс? У нас проблема.

No problema.

Si, problema. Он торопливо тычет пальцем себе в грудь, потом внутрь квартиры.

Я снимаю цепочку.

Увидев ведро с мыльной водой, управляющий хватает его и орет — так он обычно бранит двух своих внучек, которые в выходные бегают по всему дому.

Нет! Нет! Нет! Нельзя! Он мотает головой и поднимает руки к небу.

Я не дура, говорю я по-испански. Мне что, нельзя мыть пол? Потом я даю ему клочок бумаги и вкладываю карандаш в короткие, похожие на обрубки пальцы. У него руки рабочего человека.

«Нельзя лить воду на пол. Вода протекает вниз».

Управляющий уходит, и я достаю с полки старый испанско-английский словарь в черной кожаной обложке.

Когда Хуан возвращается домой после хлопотного дня, я показываю ему записку от управляющего. Я не хочу нам беды, но как, спрашивается, мне тогда убирать? Без воды никак.

Он видел ведро?

Да, я как раз мыла пол, когда он пришел.

Черт возьми. Это здание принадлежит больнице. У них люди квартиру годами ждут. Ты хоть понимаешь, чего мне стоило всунуть нас в этот список, чтоб мы могли жить в хорошем доме с хорошими соседями?

Мысли бегут наперегонки. Ничего я не знаю.

Я думала, что-то случилось, поэтому открыла. Он нам ничего не сделает. По-моему, он хороший человек.

Какой еще хороший человек?

Звонит телефон.

Не бери, говорит он.

А если это мама?

Ана, твоя семейка меня с ума сведет.

Телефон все звонит и звонит. Мама так далеко ездит, чтобы позвонить, говорю я.

Он выхватывает у меня телефон, сгребает в кулак мои волосы и запрокидывает мне голову так, что я смотрю ему прямо в глаза.

Прости, я не...

Его кулак маячит у меня под носом. Я леденею. Его лицо ста-

новится красным, как свекла, словно он весь день ждал случая ударить кого-нибудь, наорать, причинить боль. Удара нет, вместо этого он швыряет меня на диван. Я выскальзываю из-под его тела, прыгаю ему на спину, впиваюсь пальцами в глаза. Ослепленный, Хуан содрогается, раскачивается всем телом. Я цепляюсь крепко, как клещ. Он спотыкается о кофейный столик, хватается за стену. Я спрыгиваю и бегу в ванную. Но дверь закрыть не успеваю — он хватается меня за талию и тащит, как футбольный мяч, я лягаюсь и колочу его. Он бросает меня на кровать.

Сохраняй спокойствие, настоящая женщина всегда обведет мужчину вокруг пальца, говорила мама.

Не давай сдачи, прикинься овечкой.

Доброй жене воздастся.

Камень лежит, не катится, а реку поворачивает.

Хуан хватается меня за шею и наваливается всем весом так, что дышать уже вовсе невозможно. Я не могу выдавить ни звука. Хоть бы зазвонил опять телефон, хоть бы кто-нибудь постучался в дверь. В глазах все расплывается, комната начинает кружиться, тело содрогается, и наступает ничто, покой, конец.

Я прихожу в себя от того, что Хуан хлопает меня по щекам и зовет по имени. Голос его слышится словно издалека, Ана, Ана. Потом над самым ухом: Ана, очнись. Очнись, ну пожалуйста.

Когда я кашляю и открываю глаза, он падает на кровать и рыдает, не в силах остановиться.

Иди ты к черту! Я плачу вместе с ним.

Через несколько минут Хуан уходит на кухню и сам берет себе поесть. Садится за кухонный стол и ест, причмокивая после каждой ложки. Он не ест, а загружает еду прямо в глотку, минуя язык, не чувствуя вкуса.

Интересно, что будет, если я картинно распрощаюсь с жизнью — распахну руки и выпрыгну из окна? Что он сделает? Будет ли винить себя? Может, его посадят в тюрьму?

Потом Хуан сам моет за собой тарелку и ставит на сушилку —

так он просит прощения, — но забывает закрыть кастрюли крышками. Если это и извинения, то какие-то тухловатые.

Худшее позади. Вскоре Хуан переоденется и поедет на работу. Через сорок пять минут за ним заедет его друг и подбросит до «Йонкерс». Я иду стирать носки. Я тру и тру, не глядя в зеркало, боясь увидеть на скуле синяк от кулаков Хуана.

Ана? В дверях стоит Хуан. На нем мексиканское сомбреро, которое мы повесили на стену в коридоре для красоты. Жалкое до дрожи зрелище.

Иди ко мне, *pajarita*.

Он поднимает и разводит руки. Губы его заворачиваются на кончиках, словно в просьбе о прощении. Тихо, надломленным голосом он поет:

El lunar que tienes,
Cielito lindo
Junto a la boca,

Я мотаю головой. Песня ничего не изменит. Будь у него хоть самый прекрасный голос в мире.

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores

Уходи же. Уходи.

Cielito lindo los corazones

Он подается ко мне и прижимает мою голову к груди.

Сегодня после работы я поеду прямиком домой. Побудем вместе.

Он поднимает мое лицо и нежно целует меня в лоб.

Я смотрю позже, на лице ни единой отметины, ни царапинки. Только слегка прикушена нижняя губа. Да краснота вокруг шеи.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ХУАН ПРИХОДИТ С РАБОТЫ РАНО. КОГДА
он входит, я молча сижу у стола.

Я тут поговорил с управляющим, говорит он.

Я не смотрю на него. Я не готова. Пока — нет.

Ты не волнуйся, Ана, ничего страшного. Просто протекло не-
много на потолок снизу, надо будет закрасить.

Одной рукой я баюкаю посиневшую шею. Смотрю в окно.
На улице еще светло. Впервые за долгое время не видно людей, ко-
торые собирались, чтобы поговорить о погибшем политике. Оста-
лись только полицейские. Какая-то женщина в красной шляпе
каждый день приносит ко входу свежие цветы, чтобы никто не за-
был, что случилось с мистером Иксом. Любовница? Жена, Бетти?
Миссис Икс?

Ана Икс, повторяю я про себя, а Хуан все говорит и говорит.

Понимаешь, это дома у нас полы бетонные, а здесь не так, гово-
рит Хуан. У них тут полы как корзина: чуть прольешь воду, и про-
течет насквозь. Понимаешь?

Он неуклюже наливает себе стакан виски. Вот и хорошо. Меня
не просит. И про ужин не заикается. И хорошо, потому что сегодня
жена его кормить не собирается. Сегодня мне плевать, пусть хоть
он выбросит меня из окна.

А еще до твоего приезда в доме были мыши. Ты знала? Они жи-
вут между полом и стенами. Но у тебя тут такая чистота, в точно-
сти как твоя мама говорила.

Хуан постукивает по полу каблуками ботинок.

Слышишь? Внутри пустота. Стоит нам сделать шаг, и человек
под нами все слышит. Когда я только-только приехал в Нью-Йорк,
не мог заснуть, потому что этажом выше люди все ходили туда-

сюда по квартире. Я чуть не рехнулся. И стал искать квартиру на последнем этаже, долго искал.

Хуан сует мне нарядный пакет. Я не поднимаю руки, и он сам вытаскивает из пакета маленькую черную коробочку.

Открой.

Не хочу, чтобы он касался моей руки или плеча. В эту самую минуту я решаю уйти от него. Если я останусь, он меня убьет. Завтра, когда он придет домой, я уже не буду сидеть за столом, словно птица в клетке. В La Bodeguita я слышала, что от конечной остановки на Сто семьдесят девятой в аэропорт Кеннеди каждый день ходит автобус. До остановки всего двенадцать кварталов. А потом три часа на самолете до Санто-Доминго.

Твоя мама мне говорила: никогда ты не найдешь другую такую девушку, как Ана. У нее сердце размером с арбуз. И ты покраснела. Было темно, но твои щеки — я видел: они покраснели. Помнишь?

Нет, Хуан, было так темно, что ты не разглядел бы даже белков моих глаз, где уж там краску на щеках.

Хуан смеется. С непривычной нежностью берет меня за руку. Гладит по щеке.

Я упрямо думаю о том, что возьму с собой. Пятнадцать долларов, спрятанных в кукле, — это мало. В сейфе у Хуана лежит конверт; это деньги Антонио, Хуан должен положить их в банк. Я знаю комбинацию, Хуан сам мне сказал — на случай, если с ним что-нибудь произойдет.

Как только я тебя увидел, Ана, то сразу понял: мы предназначены друг другу. Открой!

Я встряхиваю коробочку, внутри что-то брякает. Он берет коробочку и открывает сам. В руках у него пара золотых серег с прозрачными каменными слезами: янтарь. Я беру сережки в руки. Подарю их Тересе, это она вечно мечтала о принце на белом коне, который увезет ее в волшебный замок, а сама выбрала мужчину сердцем и потому совсем упала в маминых глазах.

Ты меня любишь, Ана? — спрашивает Хуан.

Я прикусываю язык и сжимаю губы. Я смотрю только на каменные слезы. Я стискиваю колени. Хоть бы он умер.

Ты счастлива со мной, скажи?

Грудь разрывается, от хлынувших слез враз промокают рукава свитера. Мой голос громкий и безудержный, как сирена. Я хочу до-мой, повторяю я. Обхватываю себя руками, потому что дрожу всем телом, словно кипящая кастрюля.

Черт бы все побрал! Хуан бьет ладонями по столу, заносит кулак, хочет ударить в стену, но сдерживается. Хватает пальто и, громко топая, уходит, с размаху захлопнув дверь.

На улице уже темно. В квартире тоже темно. Надо зажечь свет. Я провожу пальцем по камням, расстегиваю замочки сережек, примеряю. Покачиваю головой, ловя свое отражение в зали-том лунным светом экране телевизора. Это моя последняя ночь в Нью-Йорке. Надо вымыть все окна и зеркала, заштопать рубашки Хуана и перегладить выстиранное.

ЕСЛИ Я УЙДУ ОТ ХУАНА И ВЕРНУСЬ ДОМОЙ, МАМА ВСТРЕТИТ меня так. Она выложит на стол пластиковый шлепанец, отцовский кожаный ремень, кулек риса, гибкую ветку с дерева, мухобойку и проволочную вешалку. Два ведра воды и новенький кусок мыла. На казнь придут все. Она прикажет мне выбирать, чем меня наказывать, а я не стану. Она рассыплет рис по полу и прикажет: на колени. Чтобы не злить ее еще больше, я покорно встану на колени. Но это ее ни капельки не смягчит. Я дерзкая девчонка, я разрушила все ее труды. Я убила ее надежды. Она устроит мне крестную муку, прикажет мне поднять ведра с водой, не вставая с усыпанного рисом пола. Я буду терпеть боль в мышцах и жжение в коленях. Я поверну время вспять и верну все, как было прежде, еще до того, как мы узнали братьев Руис. При виде моего каменного лица мама примется колотить меня по спине, по ногам, по рукам шлепанцем, или ремнем, или вешалкой. И с каждым ударом она будет все больше злиться на себя, боясь зайти слишком далеко, как однажды, когда Йонни чуть не умер после ее трепки. Я не умру. Она просто хорошенько поколотит меня, чтобы я запомнила, на что она способна. А потом Тереса и Йонни снимут меня с креста, натрут мои раны алоэ и тигровым бальзамом, приложат к больным местам кубики льда и скажут, как они рады, что я вернулась, и спросят, что я им привезла из Америки. Сквозь жар я буду слышать, что соседи говорят: как плохо Ана выглядит на фотографии; пора ей узнать, что у всякого поступка есть последствия. Как жаль, а ведь в Нью-Йорке ее ждало такое блестящее будущее.

А я ночь за ночью буду слушать, как мама причитает о том, что Хуан Руис был не так уж и плох, как я сочиняю, и, будь она на моем месте, давно бы уже купалась в золоте.

Я ДОСТАЮ ПЯТНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ ИЗ ДОМИНИКАНЫ И ЕЩЕ семьдесят пять — из сейфа. Чемодан не беру, а вместо этого надеваю на себя все, что у меня есть: шерстяное платье, две рубашки сверху и юбка на штаны. Что осталось, я кладу в пакет из универмага «Джимбелз», оставшийся от кого-то из покупателей, приходивших за костюмами. В восемь утра я выхожу из дому и иду в сторону Сто семьдесят девятой, где находится остановка автобуса. Солнце уже встало, холодный рассветный воздух холодит мне щеки, но под тремя слоями одежды мне так жарко, что я чувствую себя тушеной луковицей.

Меня здесь никто не знает, зато Хуана, похоже, знают все, поэтому я иду, низко опустив голову. Шарф трется о синяки на горле.

Я захлопываю за собой дверь квартиры. У меня нет ключей, и вернуться я не смогу. Я вырвалась! Я иду так быстро, что едва не спотыкаюсь о малыша, который идет за руку с матерью. Двенадцать блоков, одна авеню и потом автобус. Если девяноста долларов у меня в сумочке не хватит на билет в самолет, я буду на коленях умолять, чтобы меня пустили на борт. Покажу синяки на шее. Кто-нибудь да сжалится.

Я шагаю вперед, сперва по Бродвею, мимо входа в бальный зал, куда через несколько часов дама в красной шляпке принесет свежие цветы. У входа в метро стайка женщин в париках и длинных юбках толкает перед собой коляски, большие, как тележки в магазине. Мимо треугольника на Сто семидесятой, где в сумерках на деревьях загораются огни и родители сидят до самой темноты, глядя на играющих детей. Я стараюсь не смотреть в глаза прохожим, смотрю только на пожарные гидранты, на автобусные остановки, железные фонарные столбы да неровные тротуары, по-

трескавшиеся там, где их украшает отпечаток руки или подошвы ботинка. Голуби клюют что-то с влажной от дождя земли. Правда, что в канализации живет дьявол, и, если я пройду слишком близко, меня туда затянет? Вот крысы там точно живут. Они перебегают тротуар из стороны в сторону, слишком быстро, чтобы их можно было заметить, но я множество раз видела их по ночам из окна, видела, как они спуют под ногами у прохожих. А я все иду и иду. Что будет делать Хуан, когда вернется с работы? Может, он придет с цветами или еще с какой-нибудь безделушкой, а дома — ни ужина, ни выглаженной рубашки на завтра. Он ударит кулаком в стену или пойдет и кого-нибудь поколотит. Я иду и иду. По спине течет пот. Чокнутая тетка, оделась как капуста. Но мне плевать. Пусть думают что хотят, а я сяду на автобус, доеду до аэропорта и улечу в Лас-Америкас в Санто-Доминго. Оттуда я дам знать Йонни или Тересе. Они договорятся, чтобы кто-нибудь подвез меня домой.

На конечной остановке между Бродвеем и Форт-Вашингтон-авеню выстроились в ряд автобусы. Люди тоже, всюду длинные очереди. В голове мелькают цифры: билет в один конец — семь долларов, туда и обратно — двенадцать.

Добравшись до перекрестка Сто семьдесят девятой и Форт-Вашингтон-авеню, я сворачиваю перед мостом, где над головами пешеходов с грохотом несутся автомобили, и ныряю в стеклянные двери, подальше от шума. Подниматься на эскалаторе слишком страшно, поэтому я взбираюсь по обычной лестнице рядом с ним. На полу спят немытые люди, я отвожу от них взгляд. Я стараюсь не вдыхать запах засохшей мочи и не смотрю на нищих. Достигнув входа на станцию, где целые толпы людей уверенно и решительно шагают кто туда, кто сюда, я крепко вцепляюсь в сумочку и поднимаю свой пакет. Повсюду знаки. Гейты, номера, мигающие лампочки. Сердце колотится где-то в горле. Что я делаю? А если Хуан меня не отпустит? А если мама не примет? Не могу больше думать.

На плечо ложится рука. Я взвизгиваю. Рука закрывает мне рот.

Ш-ш-ш, Ана, ты что, хочешь, чтоб меня арестовали?

Сесар.

Я с силой кусаю его ладонь, и он отпускает меня.

Я еду домой, говорю я, поворачиваясь к нему.

Сесар трясет рукой, как будто ему больно. Ну у тебя и зубы.

Из кармана куртки он достает сигарету. Что, уедешь, даже не попрощавшись?

Да ты и дома-то не показываешься, вечно с какими-то девицами, говорю я и не узнаю своего голоса. Неужели я кокетничаю? Сейчас? Да еще с Сесаром!

Я быстро меняю тон и спрашиваю: ты почему не на работе?

Он не показывался у нас в квартире уже неделю. Всякий раз, когда я спрашивала о нем Хуана, ответ был один: не лезь, это семейное дело.

Тебя ищу, говорит Сесар. Я отшатываюсь, он смеется.

Расслабься, Ана! Я пошутил. Просто ловлю на остановке машину, одна женщина обещала работу.

Я легонько бью его в грудь. Кожаная куртка у него расстегнута.

Смотри, заболеешь, говорю я. Тебе что, совсем не холодно?

А я все равно поеду домой, что ты там ни говори, что ни делай.

Я хочу уйти, но он хватает мой пакет и идет к выходу из терминала.

Отдай, это мое. Я кричу, бегу за ним следом, сквозь стеклянные двери, по холодной улице квартал за кварталом. Наконец он садится на скамейку, устроенную на камнях в парке на пересечении Сто семьдесят пятой улицы и Форт-Вашингтон. Сдвигает какие-то газеты, а я пытаюсь отдышаться.

Сесар, ну отдай. Мне надо на автобус. Ну пожалуйста.

Кто же будет о нас заботиться, если ты уедешь?

Так-то ты думаешь меня уговорить!

И все-таки я сажусь рядом, для схватки у меня нет сил. В последнее время я все время чувствую себя усталой, даже когда высплусь. Он прижимает мою голову к рубашке, от которой пахнет

желтым мылом, я сама ее стирала. Он похлопывает меня по спине, по трем слоям одежды — платье, рубашка, пальто.

Знаешь, Ана, в первую ночь в Нью-Йорке я боялся до одури. Даже спать не мог. Обогреватель кашлял, как кот, который наелся шерсти. За окном орал какие-то психи. Я тогда твердо решил, что вернусь домой с первым же самолетом.

Дай угадаю: а потом все равно остался.

Никогда не говори «никогда».

У мужчин все по-другому. Ты можешь делать, что сам хочешь.

Я отталкиваю Сесара и иду к железному забору, отгораживающему нас от реки. Полоса высоких зданий. Машины, несущиеся по Гудзон-Паркуэй, шумят, как океанский прибой. Набежит и отхлынет. Чирикают птицы. Засохшая какашка на асфальтовом тротуаре. Мост Джорджа Вашингтона вдали. В мой первый день в Нью-Йорке этот мост сиял, как рукотворное созвездие. Мне казалось, что река под ним поуже, посинее, больше похожа на море. Но здесь она серая и грузная. Выплывает буксир и уплывает. Взгляд Сесара жжет мне спину.

Что бы там ни вышло у вас с Хуаном, все поправится, правда. Мой братец, конечно, та еще задница, но человек он неплохой.

Ты всегда его защищаешь.

Он и со мной обходится по-свински, но как-никак родная кровь. Этого не перешибешь. Даже когда я на него зол, все равно всегда помню: жизнь — дерьмо, и друг у друга только мы и есть.

Родная кровь... Вот я и хочу домой.

Чтобы сползти обратно, да, Ана? Ну какое будущее ждало бы нас там? Мне тоже чертовски хотелось наплевать на этот город и уехать, но на следующее утро в окно светило солнце, Хуан сварил мне кофе и показал, какой Нью-Йорк становится чистый и красивый, когда светло. Мы пошли в центр города, дошли до самой Эмпайр-стейт-билдинг. Красивая, чистенькая такая, залюбуешься. Прямо как в кино, где Кинг-Конг по ней лезет и стучит себя в грудь.

Сесар целует кончики пальцев. Чертовски красивая. За послед-

ние двадцать четыре часа я повидал больше, чем за всю жизнь дома.

При мысли о том, чтобы вернуться к Хуану, завтрак комом встает у меня в горле. Я сгибаюсь над стоящей рядом урной, и меня тошнит, потом я вытираю губы рукавом пальто. Налетает сильный ветер, голова у меня идет кругом, и я слепо шарю рукой, нащупывая решетку забора.

С ПОТОЛКА ЛЬЕТСЯ СВЕТ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, СЛЕПИТ ГЛАЗА.

Запах антибактериального мыла заслоняет собой все остальное.

Что со мной?

В голове шумит и ухаает. Я едва могу ее приподнять. Я сбрасываю ноги с одного края металлического стола. Рядом сидит на стуле Сесар. Он смотрит на меня так, словно я умерла, и теперь он лицезреет чудо.

Ты потеряла сознание, Ана.

Мне холодно в тонкой рубашке, я чувствую себя голой, хочу снова под защиту своих многослойных одежек. Лихорадочным взглядом обвожу небольшую комнату вокруг.

Моя сумка... Деньги Хуана!

А где моя одежда? Мои вещи? — спрашиваю я.

Сесар вскакивает со стула и открывает шкафчик рядом. Вот она, моя одежда, лежит, сложенная в высокую стопку.

Все в порядке. Тут только мы с тобой. Хочешь, я привезу Хуана?

Я качаю головой.

Давно я здесь?

Меньше часа. Врач сказал, чтоб ты пописала в этот стаканчик, и, если все в порядке, тебяпустят домой.

Я умираю от голода. Рядом с кроватью — стол врача. Увидев на нем плоску с леденцами, я беру себе желтый.

На стене висит яркая картинка, жираф, чтобы мерить рост детям. Я встаю с постели и становлюсь рядом с жирафом — шестьдесят три дюйма.

Эй, маленький эльф, туалет вон там, говорит Сесар. Медсестра велела оставить стаканчик на полке в коридоре.

Я писаю в стаканчик и отношу его на белую полку. На каждом

стаканчике надпись: «Пресвитерианская детская больница Морган Стэнли, Нью-Йорк».

На моем написано: Ана Икс: ДР неизвестен.

Я с облегчением улыбаюсь Сесару: умница, не назвал мою фамилию. У меня нет денег, но больница все равно не может отказать мне в приеме. Я ставлю стаканчик с мочой рядом с другими такими же. Ана Икс: женщина без семьи. Может быть, это цена, которую платишь, чтобы стать американкой: никакая семья больше не назовет тебя своей.

Возвращается врач. Лицо у него гладкое, как камушек в ручье. Из-за светлых ресниц, бровей и волос его голубые глаза кажутся ярче, слова шумят у меня в ушах.

Подпишите здесь, и можете ехать домой. При беременности обмороки случаются довольно часто, говорит врач.

Я жду, чтобы Сесар перевел.

Escú me... plis, sló*, слышу я голос Сесара.

Доктор обводит живот руками, очерчивая что-то вроде воздушного шарика.

Я прикрываю рот рукой, другой рукой хватаюсь за живот. Достаточно ведь всего одного раза. Один-единственный раз, и Тереса забеременела от Эль Гуардии. Теперь все становится на свои места. Почему пудинг, который я съела этим утром, встал внутри колом. Почему весь этот месяц я то и дело бегала в туалет. Усталость в середине дня...

Поздравляю! Доктор хлопает Сесара по спине, вручает ему белый пластиковый пузырек с таким видом, словно это сигара, и кричит: Vitaminas!

Я так потрясена, что не могу даже объяснить, что у меня по-прежнему идут месячные. Немного, но идут. Вдруг со мной что-то не так?

Окей, окей! — кричит в ответ Сесар, расплываясь в улыбке. Пе-

* Простите, медленнее, пожалуйста (исп., исковерканный англ.).

редает мне белый пластиковый пузырек. Я хватаю пузырек. Рад Сесар или испуган, поди разбери.

Когда врач уходит, Сесар говорит: теперь ты никуда не уедешь. Твой ребенок будет американцем.

Будет американцем, повторяю я. Этого хочет мама. И Хуан хочет. Ребенок с голубой кровью и голубым паспортом, со всем, что дает этот паспорт. Как же мне хочется, чтобы мои родные были здесь, со мной, в этой холодной комнате, чтобы я могла рассказать им свою новость. Разум и сердце скачут как на американских горках. В одну минуту я решаюсь уйти, в другую уже парю на крыльях радости и страха. Ребенок! Я буду его любить, он всегда будет со мной, да, но с ребенком Хуан ни за что меня не отпустит. Неужели я никогда больше не вернусь в Лос-Гуайаканес, не увижу свой дом? Я начинаю рыдать.

Радоваться надо, говорит Сесар и крепко обнимает меня обеими руками. Здесь, в этой больнице я как никогда остро чувствую себя ребенком, мне нужно, чтобы кто-то меня держал.

Мы возвращаемся домой пешком, слишком голодные, чтобы разговаривать. Он несет мой пакет. Я держу его под руку. На нас светит солнце. Ветер вышибает бумажные стаканчики из урны на углу. Мне хочется петь, кричать, кружиться, хохотать. У меня будет ребенок! И, словно прочитав мои мысли, Сесар тащит меня через улицу в голубиный парк напротив бального зала Одюбона. Не выпуская из рук мой пакет, он влезает на камень, с которого дети зимой катаются на санках, встает во весь рост и барабанит кулаками по своей костлявой груди, выкрикивая мое имя: Ана-на-на-на! Лихо съезжает вниз и вспугивает стаю голубей. Голуби взлетают в небо, заслоняя собой солнце. Мне ничего не остается, как пригнуться, уворачиваясь от летящего помета, и бежать вместе с Сесаром в укрытие под навесом кинотеатра, рядом с мемориалом Малькольма Икса.

Попали? — спрашивает он.

Я проверяю платье и одежду.

Нет, а в тебя?

Это на счастье.

Тоже мне счастье.

Он берет с мемориала у зала алую гвоздику и вручает мне.

Сесар, так нельзя.

Я нюхаю цветок, а потом кладу его обратно наземь, к остальным.

Ему-то какая разница, он умер.

Алтарь есть алтарь, в любой стране.

Ты еще хочешь улететь домой? — спрашивает он.

Не говори Хуану, что я беременна.

Почему? Он же будет счастливейшим из живых.

Мне вдруг хочется зарыться лицом в его грудь, почувствовать его объятие. Я сую руку в карман его пальто, хватаю его связку ключей и опрометью бегу через дорогу к нашему дому. Светофор мигает зеленым, давая мне перейти, но Сесар не успевает и остается на противоположной стороне улицы, за потоком машин. Он топчется на одном месте, жестами требуя, чтобы машины его пропустили.

Я добегаю до дверей подъезда и звеню в воздухе ключами от квартиры. От широкой улыбки у меня болят щеки.

ЧАСТЬ III



ХУАН ЖДЕТ, ПОКА Я ВЫЛОЖУ ОДЕЖДУ, ЧТОБЫ ОН МОГ ИДТИ на работу. Прошло три дня с тех пор, как я попыталась уйти. Я до сих пор не смотрю в его сторону. Одно дело — пощечина или кулак в стену, но душить? Он же мог меня убить. А что будет, когда он узнает, что я беременна? Сильно ли рассердится? Сколько еще я смогу держать эту тайну при себе? Сесар ведь не из тех, кто умеет хранить секреты.

Я взбираюсь на кровать и крашу ногти. Руки дрожат, красный лак наползает на кожицу у основания ногтя, я жду, что Хуан прикрикнет, замахнется, что угодно. Но этим утром он как океан в штиль. Может быть, он сам понимает, что зашел слишком далеко. В очередной раз.

Где мой новый костюм? — почти ласково спрашивает он. Хватит заниматься не пойми чем, выбери мне галстук. Мне нельзя опаздывать.

Я смотрю в окно. Недели почти весенней погоды остались позади, и в Нью-Йорк пришел мороз. По краям окна висят сосульки. Но толпа напротив «Одубона» все растет, появляются плакаты, и парк у выхода из метро, где встречаются голуби, тоже заполняется людьми.

Проклятые хулиганы, говорит Хуан, заполняя тишину, пытаюсь перехватить главенство.

Я понимаю, что он имеет в виду многочисленных доминиканских политиков, и отхожу от окна.

Если в Доминиканской Республике будет война, мы можем все потерять. У нас до сих пор нет свидетельства о праве на землю.

Я достаю галстук в сине-голубую полоску и отдаю Хуану, а сама думаю вслух, и зря. Папа говорит, не тревожься прежде беды.

Вот потому-то он и беден как церковная мышь.

Хуан достает из кармана сложенный доллар и машет им у себя перед носом.

Вот во что я верю, говорит он. Он смотрит на деньги, как ребенок на конфету, и мне становится грустно. Я выхожу из комнаты и иду варить кофе.

Сегодня придет женщина, занесет мне денег, кричит он из спальни.

Женщина?

Ну да. Одолжил ей сотню долларов. Ее зовут Марисела. В залог она дала мне свое обручальное кольцо. Там, в сейфе. Теперь она шесть недель подряд будет возвращать по двадцать пять долларов еженедельно. Вот это называется легкий заработок.

Тебе кофе с молоком?

Он пьет кофе черным и высыпает в чашку чуть ли не всю сахарницу, но я все равно спрашиваю. Если не спросить, он назовет меня лентяйкой. Что же это за жена, если она не может вскипятить молока для мужа?

Ана, где мой ремень?

Я оставляю кофе и иду доставать ремень из брюк, которые он надевал накануне. Брюки висят на стуле в гостиной и пахнут кухонным жиром и лошадьми. Запах мне даже нравится. Он напоминает о Лос-Гуайаканес, о лошадях, которые лениво щиплют траву у нашего дома, пока я пеку лепешки в земляной печи. Кроме того, этот запах означает, что после бегов у Хуана прибавилось денег в карманах, он подавал еду в конюшни, владельцам лошадей, а те дают хорошие чаевые. Но в кармане брюк я нахожу не деньги, а сложенный лист бумаги — письмо? — и быстро прячу его в карман юбки.

В костюме Хуан смотрится солидно: ни дать ни взять успешный американец. Не узнать в нем босоногого мальчишку, который когда-то торговал леденцами на улице. Я смотрю, как он стоя допивает черный кофе. Смотрю, как надевает твидовое пальто.

Обматывает шею красным шарфом, от которого тянет женскими духами.

Будь умницей, *rajarita*.

Он сгребает меня за талию и вжимается ртом в губы. Трижды похлопывает меня по щеке, как младенца по попке.

А ты наконец-то округляешься, *rajarita*. Терпеть не могу тощих как спичка, того и гляди сломаешь.

Я запираю за ним дверь. Когда Хуан уходит, я буквально чувствую, как на квартиру и на меня саму снисходит покой. Я смотрю из окна, как он быстро шагает сквозь муравьиную толпу. Люди идут с цветами, с фотографиями Малькольма Икса, с плакатами.

ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

СПРАВЕДЛИВОСТИ!

УШЕЛ ТАК РАНО!

Проходя мимо полицейских, Хуан не поднимает лица. У себя дома он буйан и задира. На улице он выглядит маленьким, уязвимым, даже испуганным. Как пылинка, которую можно сдуть одним движением губ.

ДАЖЕ ПИСЬМО ПАХНЕТ ЛОШАДИНЫМ НАВОЗОМ.

Дорогая Каридад!

Прости меня, пожалуйста. Я всем сердцем хочу быть с тобой, но все очень сложно. В жизни мужчины наступает миг, когда нужно пойти на жертвы ради семьи. Никто не поймет этого лучше тебя, ведь твой муж на войне и не знает, вернется ли он домой. Да еще этот Вьетнам.

Ты просишь меня прийти, но я не могу оставить А. одну. Она никого здесь не знает. Ее семья доверила ее мне. Я обязан о ней позаботиться. Ты не представляешь, как мне тяжело.

Кари, жизнь моя, сердце мое. Как же я скучаю по тебе, или, наверное, правильнее будет сказать, что теперь, когда нас разделяет расстояние, я вспоминаю тебя всю, всю целиком, и как твои губы складывались вопросительным знаком, и ты вечно подозревала, будто я что-то затеваю. Твои глаза, такие яркие, всегда блестящие и любопытные. Запах твоей кожи, господи, какая же у тебя мягкая кожа. Твое обнаженное тело рядом с моим. Как падали по утрам лучи солнца в нашу с тобой постель. И как это ты всегда, нет, в самом деле, абсолютно всегда ухитрялась проснуться такой красивой?

Люблю тебя. Люблю тебя.

Твой Хуанчо

Я СМОТРЮ В ГЛАЗОК, В КОРИДОРЕ МАРИСЕЛА СМОТРИТСЯ

в карманное зеркальце. Идеальное лицо: кошачьи глаза, вздернутый носик, розовые губы. Прямые волосы лежат гладко, на концах превращаясь в крупные завитки. Я открываю дверь и теперь могу рассмотреть гостью целиком: пальто, сумочка и ботинки, все изумрудного цвета. Она на голову выше меня, как картинка с рекламы — самая счастливая женщина в мире.

Здороваясь, Марисела целует меня в обе щеки.

Так ты Анита, жена Хуана?

Я киваю как дура, разинув рот, тощая, сложенная как мальчишка. Я никого здесь не знаю. Я теперь Анита или всего только А., Хуан обязан обо мне позаботиться, а у меня не может быть ни собственных друзей, ни собственной жизни.

Ты как будто язык проглотила, а? — и Марисела входит, не дожидаясь приглашения.

Она осматривает сначала меня, потом квартиру, и ее тонкие брови ползут вверх. Подушки хорошо взбиты, на большом зеркале над диваном ни пылинки. Солнце вливается в комнату сквозь ослепительно чистые окна. В ее присутствии квартира кажется совсем простой.

Хотите кофе? — спрашиваю я и тут же мысленно одергиваю себя. Не спрашивай, угощай сразу, сказала бы мама.

Как вкусно пахнет! Ты обедала?

Это ужин для Хуана, быстро говорю я. Просто приготовила пораньше, потому что он забегает домой между работой. Но вы садитесь, пожалуйста. Здесь на всех хватит.

Она кивает, и я беру у нее пальто. Незачем признаваться, что на обед у меня обычно банка консервированных макарон с со-

усом. Они такие мягкие, и соус густой, как будто для беззубого готовили.

Марисела — первая моя гостя с тех пор, как я приехала в Нью-Йорк. Я накрываю на двоих, достаю тарелки получше. Даже ее бархатистый голос звучит, как у ведущей с радио. Напевая себе под нос, я разогреваю кукурузное масло и обжариваю последний платано из холодильника. Хвала святой Альтаграсии, сегодня я очень удачно приготовила голубиный горох с рисом и потушила мелко нарезанное мясо. Я не каждый день готовлю такой большой обед.

Какая ты куколка, говорит она. Напоминаешь мне мою сестру. Я взяла у Хуана деньги, чтобы купить ей билет на самолет до Нью-Йорка. Когда она приедет, будет работать, но и учиться тоже. Невежество — худшее, что есть в мире, особенно для женщины. Ты согласна?

Я тоже хочу пойти в школу, говорю я.

Тебе нужно пойти на бесплатные приходские курсы английского, это на Сто шестьдесят пятой улице, рядом со входом в церковь. Получишь аттестат об общем образовании. Это, конечно, немного, но совсем без аттестата нельзя.

Аттестат?

Сколько тебе, восемнадцать? Девятнадцать? — спрашивает Марисела.

Пятнадцать.

О! Она смотрит на меня как в первый раз, потом изучает свои ногти, длинные, с маникюром.

Мне было пятнадцать пятнадцать лет назад. Подумать только. А ты уже замужем. Твои родные рады?

Да. Очень рады.

Я приехала в шестьдесят первом году, одной из первых. Все время плакала и просила мужа увезти меня обратно, но что за жизнь ждала бы нас дома? Здесь тоже жить нелегко. Я бы давно уехала домой, если бы не заработок. Я совсем испортила руки постоянной уборкой. Смотри, какая кожа сухая. У тебя есть крем?

Она взмахивает руками.

Если бы Тереса видела ладони Мариселы, все в темных линиях, она сказала бы, что эта женщина прожила много жизней и что у нее можно многому научиться.

Мне стыдно признаваться, что у меня нет крема. Всякий раз, как я хочу купить что-нибудь для ухода за собой, Хуан начинает меня торопить, поэтому я втираю в кожу растительное масло. Марисела улыбается, как будто все понимает.

Ах, ладно, давай потом, после обеда.

А за уборку хорошо платят?

Лучше, чем на фабрике. Я самая лучшая домработница из всех. По вечерам я мою офисы в центре города. Это несложно. Днем работать тяжелее, зато и платят вдвое больше. У меня две клиентки. У одной двое детей и дома такой кавардак. В мое отсутствие она и пальцем не пошевелит, я же вижу. Прихожу, а еда буквально присохла к тарелкам. В холодильнике просто ужас что творится, особенно после выходных. А еще эти gringas вечно жалуются. Мария, не забудь вымыть под диваном и под кроватями. Не забудь помыть окна, они давно не мыты.

Передразнивая хозяйку, Марисела поднимает мизинец и чешет нос, я смеюсь.

А как бесит, когда у них гости, и они сидят, пьют чай и смотрят, как я работаю. Или еще хуже, когда они стоят над душой и следят, чтоб я ничего не пропустила. Спрашивается, если у них столько свободного времени, чтоб за мной следить, почему бы им самим не прибраться в доме?

Я смеюсь так, что у меня болит живот.

Мария — это они меня так называют, хотя я им сто раз говорила, что меня зовут Ма-ри-се-ла, — не могла бы ты сварить мне кофе? У тебя гораздо вкуснее получается. Ой, Анита, посмотреть на них, так до них и детей не рожали, они первые такие. Ребенка носят как миску с водой, все уронить боятся. А случись какая неприятность, сразу в слезы.

Я сгибаюсь над раковиной, едва не описавшись от хохота. Разве так бывает? Чтобы женщина не знала, как держать ребенка?

Мария, малышка все время плачет. Мария, забери ее, пожалуйста! ста!

Марисела встает и протягивает ко мне руки, держа мою хорошенькую тарелку с таким видом, словно это обкакавшийся младенец.

Да-да-да, этим gringas не нужно работать, не нужно убирать в собственном доме, а когда их дети плачут, они даже не умеют их уговорить. Одна клиентка хочет меня на полный день. Но она совсем чокнутая, с ней одной я сама рехнусь. Знали бы они, что у меня за жизнь. У меня в Пуэрто-Плата две маленькие дочки, они живут с моей мамой. Я два года не могу к ним вырваться. Был бы у меня богатый мужчина, который бы обо мне заботился, я бы сидела дома и растила своих девочек.

Марисела прерывается, отпивает воды и продолжает свой рассказ.

Мария, у тебя что, кофе сбежал? Мария, в следующий раз не опускай чайный пакетик в воду, а заливай кипятком, так правильно. Мария, не забудь... Ах, детка, я хожу с прикушенным языком, иначе так прямо им и скажу: сделайте вы хоть что-нибудь без меня. Или дайте мне выходной, чтоб я сама что-нибудь могла сделать.

Платано готовы. Я подаю их Мариселе с солидным гарниром из риса с горохом. И смотрю, не отводя глаз, на нее, на Хуаниту, на Бетти, на Тересу, на нас на всех, как мы хихикаем и сплетничаем за столом на кухне.

Как мне хочется на работу, говорю я.

Нет. Нет. Эти gringas своего счастья не понимают, не будь как они. Ведь тогда у тебя будет двойная работа, сначала на работе, потом дома. А какие холода! Я до метро дойду, и уже зуб на зуб не попадает.

Марисела растирает руки и качает головой в предчувствии.

Ах, Анита, я целыми днями напролет смотрю на часы. О, как бы я хотела оказаться дома.

Я представляю себе квартиру Мариселы, наверное, она гораздо красивее нашей, потому что у нас все такое унылое и вечно чего-то не хватает. Хуан не хочет тратиться на ненужное — занавески, покрывала, скатерти. А у нее дома наверняка портреты в золотых рамах. Канделябры. Кровати с балдахинами. Хрустальные вазы. И везде салфеточки.

Ах, для меня дом — это святое. Приходи ко мне как-нибудь, посмотришь, как у меня славно. Дом — лицо женщины.

Услышав ее приглашение, я едва могу скрыть восторг. Как хорошо иметь подругу и ходить к ней в гости.

Марисела с удовольствием ест тушеную говядину, а я откусываю по чуть-чуть, чтобы хватило Хуану. Хотя бы она не попросила добавки.

Ты просто волшебница! У тебя талант. Если бы я готовила как ты, муж носил бы меня на руках.

Она смеется, и я смеюсь вместе с ней.

Она съедает все, что есть на тарелке, и смотрит на часы.

Мне пора бежать. Через два часа смена. Только-только, чтоб переодеться, приготовить ужин и добраться до работы.

Она достает из сумочки пузырек с ярко-розовым лаком для ногтей.

Вот, это тебе, пустячок.

Я с удовольствием беру лак. Он того же цвета, что у Мариселы.

Я смотрю, как ее пальцы застегивают пуговицы, достают из кармана пальто черную вязаную шапку с изумрудного цвета отделкой. Она надевает шапку так, что та прикрывает часть лица.

Не уходи! — хочется сказать мне. Мы обнимаемся на прощание, мой нос мимолетно касается ее длинной шеи. Со мной остается запах ее духов.

Я не закрываю дверь до тех пор, пока Марисела не войдет

в лифт. Она высовывает из кабинки голову и кричит: главное — добежать до метро! Пожелай мне удачи!

Я закрываю дверь, но спустя несколько мгновений она звонит снова.

Прости, Анита, это опять я!

Я открываю дверь, и она сует мне в руку двадцать пять долларов, которые должна Хуану, и загибает мои пальцы в кулак.

МАМА НЕ ВЕРИТ В ЖЕНСКУЮ ДРУЖБУ. НО МАРИСЕЛА НЕ ТАКАЯ.

К тому же я теперь горожанка.

Я примеряю из своего гардероба то, что покрасивее. Когда Марисела пригласит меня, я буду готова. У меня есть пара поношенных туфель на высоких каблуках — от соседей, у которых недавно умерла дочь. Посмотри, может, что-нибудь подойдет, сказал тогда Хуан. Одежда самая обычная, ничего особенного, но размер оказался мой.

Из шкафа Хуана я достаю белоснежную рубашку и тоже примеряю. Она мне до колен. Его одежда пахнет влажной шерстью и духами Каридад: роза? лилия? ваниль? Я смотрюсь в одно зеркало, потом в другое. В квартире много зеркал, они приклеены на дверцы шкафов.

Наклонившись, как Мэрилин Монро на той самой фотографии, я посылаю себе воздушный поцелуй. Выставляю обнаженное плечо и покачиваю бедрами. Рубашка падает на пол, а я воображаю, как Габриэль смотрит на мою обнаженную грудь. С тех пор как я приехала, она здорово выросла.

Я ныряю в пиджак Хуана. Достаю из кармана носовой платок и делаю вид, что чихаю, громко, как Хуан, от раскатистого чиха которого сотрясаются стаканы на полках.

По тому, как мужчина чихает, можно многое о нем узнать. Ха-ха-ха.

Здрав ноги, я падаю на диван.

Ана, принеси мне выпить! Ты что, заснула? Где мой ужин? Что ты там возишься? Ана! Ана! Ана!

Отстань, Хуан, налей себе сам! — говорю я лежащей на столе шляпе и смеюсь.

Я закидываю ногу на ногу, как кинозвезда, и курю воображаемую сигарету, так курила мама у дома Кармелы. Затягиваясь сигаретой, она вся светится, глаза, улыбка, и я вижу женщину, которая когда-то отказывала женихам направо и налево — прежде, чем вышла замуж, прежде, чем родила детей, прежде, чем ей пришлось тяжело трудиться, чтобы сохранить нашу ферму и нашу семью.

Я выдыхаю невидимый дым. Руки взлетают в воздух, как у танцоров фламенко в дневном телешоу.

Я сую руки в карманы его пиджака. Сколько же у мужчин карманов для разного добра! Находка: сложенный счет со скачек, где работает Хуан. Разворачиваю: номер телефона, бледно-розовый отпечаток ее губ.

Мне уже давно никто не дышал в трубку. Может, она до сих пор не простила Хуана?

Кари. Каридад. Я катаю имя во рту и проглатываю его. Желудок сжимается. Я списываю номер в свою записную книжку. Складываю чек, удостоверившись, что входная дверь заперта. В ванной — только здесь я могу уединиться — я сажусь на унитаз и внимательно рассматриваю цифры, почерк, которым написано слово «Кари», ласковое имя, которым зовет ее Хуан. На краях бумага обтрепалась, цифры написаны широко и небрежно.

Я пытаюсь представить себе ее лицо, ее волосы, ее губы, ее размеры. Высокая, с грудями как арбузы? Длинные черные волосы сбегает по спине волнами, словно море в цунами?

Каридад. Каридад. Каридад. Я катаю ее имя на языке.

Может быть, Каридад тоже одинока. Но у нее по крайней мере есть Хуан, и он по-настоящему ее любит. Ах, почему я не убежала с тобой, Габриэль, с твоими добрыми глазами и пухлыми губами? Бедрa содрогаются от внезапного яростного желания вернуться назад во времени, вновь прыгнуть в тот бассейн, лежать на воде, а он пусть положит руку на ямку у меня на спине. Тот день под жарким солнцем принадлежал нам одним. У нас с Габриэлем были ключи ко всем замкам. Никому не говори, сказал он про тот се-

кретный дом. Никому не говори, всякий раз просила Тереса, тайком убегая из дому.

Ана Икс, хранительница секретов.

Теперь я сама могу звонить ей и дышать в ухо.

В КОНЦЕ КОНЦОВ КАРИДАД И ХУАН СХОДЯТСЯ ОПЯТЬ.

Я нахожу улики — его одежда, счета, противоречивые отговорки. Я составляю из этого всю картину: как Хуан встречается с Каридад между работами и тишком ложится с ней в постель после рабочего дня. Как иногда он случайно засыпает, не замеченный ее детьми, которые спят в соседней комнате.

Когда она снова начинает звонить, Хуан запирается в спальне, где телефон стоит у кровати, а я подслушиваю их разговоры по телефону на кухне.

Почему я, Каридад?

О чем ты?

В той очереди на морозе стояло человек двести, а ты выбрала меня.

Мне показалось, что ты из тех, кто не станет задавать слишком много вопросов.

А до меня ты кого-нибудь так подбирала?

Какая разница? Ты совсем перестал петь. А я так люблю, когда ты поешь.

О чем же тут петь?

Ах, Хуанчо, почему ты больше не смотришь на меня?

Хуан и не смотрит, по крайней мере, когда ее тело бесстыже распахнуто перед ним. Руки над головой, ладонями вверх. Хуан поворачивает к стенке фотографию на столике у кровати, на фотографии муж Каридад, он во Вьетнаме и пишет ей оттуда: дождись меня. Скажи детям, что я их люблю.

Твоя жена знает про меня? — спрашивает Каридад Хуана.

Ты с ума сошла?

Ты меня еще любишь?

Хуан снова и снова говорит да, до боли в груди, но это просто потому, что он все время задерживает дыхание.

МНЕ ХОЧЕТСЯ ОБО ВСЕМ ЕЙ РАССКАЗАТЬ, ПОЭТОМУ, КОГДА Марисела приходит в следующий раз, я выпаливаю, едва открыв дверь: я беременна!

Какая радость, говорит она, впорхнув в квартиру, сбрасывает пальто мне на руки, вручает мне морозно-розовую губную помаду из сумочки — и все это одним движением. Она кружит меня и говорит, добро пожаловать в клуб матерей, Анита. Только мы знаем, что значит носить в себе новую жизнь. Сначала она размером с горошину, потом с виноградину, с апельсин, с авокадо, а потом большая как папайя. Представляешь, такое большое из такого маленького. Когда я рожала свою старшую, ох, я думала, что умру, но все равно тужилась, я умерла бы ради ребенка, которого я уже любила так, как никогда не любила раньше. Когда ты на границе жизни и смерти, это ни с чем не сравнить. Вот увидишь. Увидишь.

Посмотрим, тихо усмехаюсь я, посмотрим.

Я как-то не задумывалась о том, каково это — рожать. Какой большой ребенок, какая маленькая я. Как неизбежна боль.

Как тебе повезло, говорит она, глядя меня по щеке. Твой малыш родится американцем. Это надо отпраздновать.

Марисела включает радио и находит станцию, которая транслирует меренге. Она хватает меня за руку, двигает бедрами в такт музыке, ведет меня налево и направо.

Двигай задницей, трясись бедрами! — поет она. Покажи, откуда ты родом!

Я пытаюсь отпустить бедра колыхать вволю. Рука Мариселы ловит мою; потом она легонько отталкивает меня, чтобы закружить раз, другой, и вот она у меня за спиной, а перед нами зеркало на стене.

Посмотри на это лицо, говорит она. У тебя такие большие глаза, такие мудрые. Они знают больше, чем ты готова признать даже себе. А какие скулы, и нос греческой богини.

Будь мы лошадьми, Марисела была бы со мной целых одиннадцать месяцев, до самого рождения ребенка. У нас на ферме у каждой кобылы была подруга.

Помни, говорит Марисела, решает всегда женщина. Мой муж не хотел, чтобы я вызывала сюда сестру, но она уже выехала. Мы с ней откроем салон. Не слишком большой, ровно такой, чтоб нам справиться. К нам пойдут со всего города, потому что только мы, доминиканки, по-настоящему умеем укладывать пышные волосы. А там, кто знает, может быть, твоя сестра приедет в Нью-Йорк и придет работать ко мне. Правда, замечательно? А ты будешь приносить нам обед. За деньги, конечно.

Да, зарабатывать самой было бы славно.

Я замечаю, что на часах уже десять минут третьего. Через несколько минут Марисела убежит на работу.

Не тревожься. Когда я приду в следующий раз, то займусь твоей головой. Таким волнам и океан позавидует. А если их красиво подстричь, они будут спадать каскадом. Даже океану нужен берег.

Она показывает на себя. Думаешь, вот это все получается само собой?

Марисела, сделай мне одно одолжение.

Ну конечно. Мы же подруги.

Не говори Хуану о ребенке. Пусть будет сюрприз.

Ах, сестра, милая ты моя сестренка. Никому не скажу ни слова.

Я ВЫПИЛА НЕСКОЛЬКО ЧАШЕК КОФЕ И ВОВСЕ НЕ СОБИРАЛАСЬ спать, но тело отяжелело, и холод пробирает до костей. На экране телевизора помехи. Передачи кончились.

В квартиру врывается Хуан и включает верхний свет. Я распрямляюсь, как пружина, и сажусь прямо.

Soño! Cabrones! Idiotas! — бормочет он. Пинает попавшийся на пути стул.

Что на этот раз? Проблемы на скачках, где работы порой бывает столько, что некогда отдохнуть свои законные пятнадцать минут или сходить в туалет, чтоб дать отдохнуть ногам или выкурить сигарету? Или он опять подрался с Сесаром, который снова не показывается? Или дело в Каридад?

Он с топотом вваливается на кухню.

Я вспоминаю, что не убрала пластиковую тарелку, на которой оставляю корм для голубей. Вдруг Хуан увидит, что я впустую трачу рис на голубей? Вдруг Марисела или Сесар скажут ему о ребенке?

Я спешу следом.

Сядь, говорю я. Я разогрею тебе ужин.

В кухне света больше, и я вижу, что он пил. Нос и щеки покраснели. Под глазами мешки, отчего взгляд кажется печальным. Он поднимает с кастрюли крышку, лезет рукой внутрь, достает комок вареного риса и засовывает в рот.

Я не голоден, говорит он.

На лестнице пожарного выхода светится в лунном свете тарелка, и я сдвигаюсь, чтобы загородить ее собой. Спину холодит сквозняком из приоткрытого окна.

Холод собачий!

Я не успеваю закрыть окно, и Хуан отталкивает меня. Замирает,

открывает окно, хватает тарелку и швыряет на пол. Рис прыгает по плиткам кухонного пола, убегает на деревянные полы гостиной.

Ты что, опять кормила голубей?

Нет, я...

Не ври мне!

Нет, говорю я. То есть да.

Я бегу в гостиную, падаю на пол, сворачиваюсь в клубок и прижимаюсь к стене, чтобы защитить живот, — я видела, так делали протестующие, которых показывали по телевизору.

Сдурела, что ли? — говорит Хуан больше себе, чем мне. Я что, монстр какой-то?

У нас будет ребенок, готова крикнуть я. Но когда я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на него, он стоит на месте и недоверчиво смотрит на меня. Я закрываю руками лицо, все тело дрожит. Рисинки покалывают руки и ноги.

Хуан уходит в спальню. Я встаю с пола, убираю рис, убираю несъеденный ужин. Голубь Тереса, с розовыми и зелеными перышками на крыльях, стучит клювом в окно, и я вздрагиваю.

Кыш, шепчу я. Ночь на дворе, что это ты вдруг?

Почему ты не полетела с нами на берег моря, Ана? Надо было бежать, пока был шанс.

Голубь стучит, стучит, стучит в окно. Надувает грудь, поднимает крылья. Лети, Ана, лети.

Я раскидываю руки, встаю на цыпочки и вытягиваю шею.

КОГДА ПЛАТЬЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕСТАЕТ СХОДИТЬСЯ, ХУАН
говорит: идем в «Эль Бейсмент».

Правда? — в восторге говорю я. В «Эль Бейсмент»?

«Эль Бейсмент» принадлежит Гизелле и Джино. Марисела говорит, что именно там покупает большую часть своих роскошных нарядов.

Не тяни ты, а то передумаю. Хуан поднимает палец. Купим одно платье. И все. Поняла?

Хуан умеет испортить настроение.

Мы проходим по переулку за домом, входим в неприметную дверь и идем по узкому кирпичному коридору в свежей краске. Я стараюсь не дышать, боюсь, что стошнит от вони мусора, скопившегося за высокими железными дверями: гниющие объедки,дохлые крысы, высохшая краска. Приходится пригibasь, чтобы не задеть голые лампочки, которые освещают этот коридор без окон.

Миновав еще несколько дверей, на очередной мы видим звонок. Джино отвечает на вызов и приглашает нас войти, и я вижу Гизеллу с крашенными в рыжий волосами, она расставляет коробки.

Красуясь перед ними, Хуан говорит: выбирай, Ана, что душе угодно.

Погляди-ка, Джино, да он в ней души не чает.

Мне нужно всего одно платье, говорю я, хотя уже хочу все-все, что висит на протянувшихся от стены к стене вешалках.

Гизелла окидывает меня оценивающим взглядом, выгибает бровь и вновь берется разбирать очередную выпавшую из грузовика коробку.

Но Хуан не унимается. Ана, говорит он, ты можешь выбрать

что хочешь. И смачно целует меня в лоб, словно я лошадь, которой предстоит забег.

Я перебираю висящие на вешалках бесчисленные наряды в прозрачных пластиковых чехлах. С рукавов свисают магазинные бирки. Я слышу, как Хуан и Джино говорят о Хоакине Балагере, которого прочат в президенты Доминиканской Республики.

Может, он наведет в стране порядок.

Этого черта мы хоть знаем.

А как же тот парень, Саатаño, который снюхался с Фиделем?

От предвкушения у меня дрожат коленки. Какие шелковистые свитера! Косые переплетения нитей на пиджаках, пушистый мех на воротниках пальто! Я сжимаю руки, чтобы не перетрогать все.

Хочешь, я покажу тебе, что мне нравится больше всего, говорит Гизелла, заметив, как я глазею на сумку в изумрудных блестках.

Покажите, пожалуйста, говорю я. За посмотри денег не берут.

К этой сумке у меня и туфли есть, говорит она, явно намереваясь развлечься.

Хуан притопывает в нетерпении, а я бережно трогаю разноцветные жакеты на пуговицах, стопками сложенные на столах. Потом Гизелла уговаривает меня перемерять кучу платьев и пальто к ним. Потом я роюсь в коробках с обувью, криво и косо составленных в штабеля от пола до потолка, и ищу свой размер.

Rajarita, мне на работу пора, говорит Хуан, выдавив улыбку.

Еще минутку.

Как он тебя балует, говорит Гизелла.

О да, Хуан один такой на всем свете, говорю я и посылаю ему ответную улыбку.

В углу на веревке висит полосатая простыня, а за этой простыней я надеваю и сбрасываю платье за платьем. Все они велики мне в плечах, но плотно облегают живот и бедра. Скрывать беременность становится все труднее.

Наконец я выбираю темно-голубое платье длиной до середины бедра с острым углом выреза.

Примерь-ка к нему пальто, говорит Гизелла, потом подносит пару лакированных туфель на дюймовом каблучке и с крупными пряжками. Хлопковое пальто на два пальца длиннее платья. Туфли великоваты, но на отекающие ноги будут в самый раз. Сумка в тон, голубая и бежевая клетка, с лакированным ремешком. Я смотрюсь в прислоненное к обувным коробкам зеркало.

Хоть сейчас на подиум, кричит Гизелла Хуану.

Вот бы порадовалась мама, если бы увидела меня такой, как в отражении. Хорошо одетой, невозмутимой.

Хуан кивает. Ну, пойдем?

Требуй. Требуй. Требуй.

Я бестрепетно киваю Хуану и говорю: я возьму все это.

Хуан дожидается, пока мы окажемся снаружи, за пределами слышимости Джино и Гизеллы. Хватает меня за руку. Я роняю пакет с покупками.

Я же сказал — одно платье! Одно! Я что, миллионер?

Я бесстрашно смотрю ему в глаза.

Я тебя не боюсь, говорю я, зная, что он слишком горд, чтобы сделать мне что-нибудь при свидетелях.

Погоди, вернись вечером — пожалеешь, умная нашлась.

НЕМНОЖКО ОТРАВЫ В ТАРЕЛКЕ НИКОМУ НЕ ПОВРЕДИТ.

Я вылезаю на лестницу пожарного выхода, сажусь на ступеньку и жду моих голубей. Выбираю Бетти, потому что она вечно задирает Хуаниту. Хватаю ее обеими руками. Пригнувшись, ныряю обратно в квартиру. Голубь протестующе курлычет. На кухонном столе приготовлена деревянная доска. На плите — кастрюля с горячей водой. В раковине — ведро. Все хорошо, говорю я ей, успокаиваю, глядя в глаза, и отрубая ей голову. Одним ударом. Ее тело вздрагивает, потом содрогается в непроизвольных спазмах. Я связываю ей ноги веревочкой и подвешиваю на кран в раковине. Пока стекает кровь, я готовлю приправу. Смешиваю в миске горсть кориандра, сок лайма, два зубчика чеснока, еще кое-какие пряности.

Потом я ошпариваю голубя и ощипываю перья, как будто это волосы на голове Хуана. Ощипанный голубь лежит на деревянной доске, готовый отправиться в маринад. Запах сводит с ума. Совсем как дома.

Я разрубаю голубя на шесть частей и промываю в холодной воде. Натираю мясо специями. Добавляю небольшую тушеную луковку и половинку зеленого перца и надеваю на миску пластиковый пакет, чтобы хорошенько промариновалось.

А тем временем я ставлю на плиту кастрюлю, лью в нее кукурузное масло и немного сахара — для цвета. Сахар превращается в карамель, и тогда я добавляю голубя. Оставляю на маленьком огне и включаю радио. Играют Los Panchos. Я протираю раковину, прячу голубиную голову, кишки и перья в два пакета и отношу в мусоросжигательную печь в коридоре. Когда мясо подрумянивается, я добавляю рис и четыре чашки воды. Щепотку соли для вкуса.

Ну и кто из нас пожалеет, а, Хуан? Когда вода выкипает, я накрываю кастрюлю крышкой и оставляю томиться на медленном огне.

Пока ужин доходит, я долго принимаю горячий душ, чтобы избавиться от запаха. К приходу Хуана квартиру заполняет соблазнительный аромат. Он встает у двери, не сводя глаз с парадных приборов и стаканов, которые сам принес с ипподрома, а я сервировала ими стол.

Я подаю ему рис с голубятиной и горку жареных платано. Наливаю в стакан холодное пиво.

А неплохо, говорит он и подмигивает.

После длинного рабочего дня он голоден до смерти. Вернулся рано, значит, у Каридад не был. Может быть, он не так уж и зол на меня из-за платья.

Может, зря я все это затеяла.

Подожди, говорю я и хватаю тарелку прежде, чем он успевает съесть хоть кусочек. Он не пускает, и тарелка падает на пол.

Ну вот что ты наделала! Куда лезешь? Иногда ты такая дура, Ана, что просто удивительно.

Да пошел ты, Хуан.

Ничего, говорю я. Тебе хватит.

Я убираю с пола и подаю ему новую солидную порцию.

Он ест без остановки.

Бедный голубь Бетти, чем-то ты была больна?

Очень вкусно, говорит Хуан.

Правда?

Я сияю. Он давно уже не хвалил мою кухню. Я подаю ему воды, а он смотрит на меня. По-настоящему смотрит. На округлившийся живот под одеждой. На увеличившуюся грудь.

Запишу тебя к врачу, говорит он.

Хорошо, ладно.

Я понимаю: он знает.

ПОУЖИНАВ ГОЛУБЕМ, ХУАН ЖИВЕТ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, даже живот у него не болит. Он записывает меня к врачу на пятнадцатое апреля.

Я надеваю новое платье.

Скажешь, что тебе девятнадцать, как по документам, а не пятнадцать.

Я не говорю Хуану, что уже была в больнице. Он остается ждать снаружи.

Врач велит мне снять все, кроме белья, и надеть длинную больничную рубашку.

Никогда не видела врачей-женщин.

У нее очки сползают на кончик носа. Серебристые волосы острижены коротко, по-мужски. Она ласково поглаживает меня теплой ладонью по руке. И выходит, чтобы не мешать мне раздеваться.

Если не считать висящего на стене плаката с изображенной на нем семьей и подписью какого-то Нормана Рокуэлла, кабинет сияет белым. Здесь есть раковина и какие-то стеклянные ящички с деревянными палочками и ватными шариками. Я так и не поняла, надо ли снимать лифчик и туфли, так что снимаю на всякий случай все и надеваю рубашку, только носки оставляю.

Я сажусь на обитый чем-то мягким столик и жду. Живот у меня еще маленький, но уже торчит. Может, это ребенок потягивается? Мальчик это или девочка? А осмотр — это больно?

Врач стучится и входит, не дожидаясь ответа. Она кладет руку мне на грудь и просит лечь. Замечает синяки на руках и на шее, давние, многонедельные — очень уж долго они не проходят. Кратко смотрит мне в глаза, и я отвечаю таким равнодушным взглядом,

каким только могу. Измеряет мне температуру. Давление. Прикладывает к животу холодный стетоскоп и слушает.

Кванто аньо ту тийанесс*? Голос эхом отдается от стен.

Пят... то есть девятнадцать.

Она надавливает на живот тут и там.

Тут у нас все славно, весело говорит она. Все прямо-таки бвено**.

Она берет со стола запаянную в пластик картинку с ребенком в утробе и показывает мне.

Указывая на бумагу, она говорит: кавбеса*** — и указывает на собственную голову. Потом обводит пальцем головку ребенка у меня на животе. Берет мои пальцы и дает пощупать, показывает, что головка сейчас у самой лобковой кости. Я чувствую под пальцами что-то твердое и круглое.

Она жестом велит мне одеваться. Бвено.

Врач выходит. Я сижу одна, мне как никогда хочется, чтобы рядом была Тереса. Или Марисела — единственная, кого я могу называть другом. Пусть бы даже мама, хоть от ее разговоров без умолку я рехнусь через пять минут. Как она будет рада, когда узнает!

Врач возвращается, но на этот раз приводит еще одну женщину с большой кожаной сумкой, набитой папками.

Здравствуйте, сеньора Руис, говорит медсестра на чистейшем испанском языке.

Руис-Кансьон, поправляю я.

Она садится рядом, протягивает руку и берет мои ладони.

Ваш малыш выглядит отлично, сеньора Руис-Кансьон.

Как хорошо, что теперь все точно, вздыхаю я.

А что ваши родные? Они здесь, с вами?

Нет, они остались в Доминиканской Республике. Но скоро, может быть, приедут, или я к ним поеду. Муж говорит, что поездки — ужасная морока. Деньги, понимаете? И документы.

* Сколько тебе лет? (*искаж. исп.*)

** Хорошо (*искаж. исп.*).

*** Голова (*искаж. исп.*).

Ваш муж здесь?

Да, ждет на улице.

А дома у вас все в порядке?

Почему они задают столько вопросов?

С малышом что-то не так? — спрашиваю я у медсестры, которая говорит по-испански, но смотрю при этом на врача.

Мы просто хотим убедиться, что вашему малышу ничего не угрожает дома.

Медсестра вручает мне какие-то блестящие бумажки, но я вижу, как она подозрительно поглядывает на мою шею и руки.

Это для информации, сеньора Руис-Кансьон. Если вам понадобится помощь или если случится беда, вы всегда можете обратиться за помощью.

Я смотрю на верхний листок. Фото женщины с распухшей губой и синяком под глазом, с ужасом во взгляде.

У меня все хорошо! — говорю я и сама прислушиваюсь, как это звучит. У меня все хорошо.

Я хочу отдать брошюры медсестре, но она не берет, и я сую их в сумочку.

Спасибо вам, говорю я и улыбаюсь, готовясь к продолжению расспросов.

Я никогда не буду такой, как эта женщина на фотографии. Хуан ведь не такой уж и плохой. Ну даст иногда волю рукам, когда не в настроении, подумаешь. Я обеими руками обнимаю живот. Ребенка я им не отдам.

Врач поворачивается к медсестре, та переводит.

Вы должны записаться и прийти через месяц. Посмотрим, как развивается ваш малыш.

Спасибо, говорю я, большое спасибо.

Врач снова дает мне в точности такую же баночку витаминов, как ту, в прошлый раз. Говорит, это образец, для начала. Тот, первый, пузырек я спрятала от Хуана под раковиной и уже почти допила. Теперь можно будет пить витамины в открытую.

А это — железо, говорит доктор и трясет гремучей баночкой как маракасом. Медсестра говорит, что у меня дефицит веса. У беременных часто развивается анемия.

Вы обязательно должны хорошо питаться, объясняет медсестра. Ешьте шпинат, ямс, красное мясо.

Но меня рвет от любой еды.

Это пройдет, сочувственно говорит медсестра.

Наверное, мне не стоит ей доверять, но как не хочется выпустить ее руки.

Я убираю витамины и железо в сумочку, которая — они ведь наверняка заметили — прекрасно сочетается с пальто и туфлями. Пусть видят, как муж обо мне заботится.

Я выхожу на улицу, жаль, что они не видят, как вскакивает со скамьи Хуан, все это время в нетерпении ожидавший жену. Завидев его, я испытываю странное облегчение. В этот миг он — все, что у меня есть.

Ну, ребенок, ребенок? Он поет и хватает меня за руку. Он опаздывает на работу, но в его прикосновении сквозит новая невыгнанный нежность.

Доктор говорит, все хорошо.

Хорошо.

Он быстро переводит меня через улицу к дому. Войдя в квартиру, обнимает меня, отрывая от пола.

Я так рад, что теперь у нас будет самая настоящая семья.

Он похлопывает меня по щеке и прощается. Когда он уходит, облегчение становится еще больше. Я смотрю в окно, как он идет к бродвейской станции метро. Изменится ли теперь что-нибудь между нами? Я открываю на кухне окно, чтобы проветрить, и сыплю на пластиковую тарелку рис для голубей.

Милые вы мои птички.

МАРИСЕЛА ПРИНОСИТ МНЕ РАБОТУ. ОНА ЗАБЕГАЕТ РАНО, СРАЗУ после ухода Хуана. С собой у нее два пакета с крошечными глиняными куколками, узкими ленточками, клеем и кружевами.

Что это? Я беру пакет и ставлю на диван.

Марисела рывком сбрасывает пальто, скрывающее ее наряд: узкие шерстяные брюки, яркий свитер и большие ботинки мехом наружу. Волосы убраны по-французски, ракушкой. Против обыкновения, она не покрашена, но даже без косметики выглядит красавицей. Я гляжу на себя: волосы все еще заматы после сна, потому что я никого не ждала.

Слушай внимательно, compadre. У тебя три часа на все про все. Я забегу пообедать и заодно заберу готовое. Платят по пять центов за штуку. У подруги свадьба, нужны сувениры. Тут двести штук. Я сказала, что знаю одну девушку, которая сделает все быстро и дешево.

Я?

Ну конечно! Справишься?

Я обвожу пальцем образец: Эдвин Мартинес и Андреа Томе, навеки вместе, 04/10/1965.

Осторожнее с клеем, схватывает намертво, хоть по виду и не скажешь, можно без кожи остаться. Смотри, чтобы ленточка не загораживала имена и чтобы у куколок лица были видны. И кружево еще, видишь, надо сложить вот так сзади, как крылышко бабочки.

Я не успеваю задать ни единого вопроса, а Марисела влажно чмокает меня в щеку и вновь упаковывается в толстое шерстяное пальто. Машет мне на прощание и закрывает за собой дверь.

Звонит телефон.

Я бегу к нему, привычно надеясь, что это кто-нибудь из домашних.

Это Хуан. Он хочет прийти домой на обед. Именно сегодня! Его голос как кулак, барабанивший в мою дверь. Он никогда не приходит домой днем, но теперь я жду ребенка, и Хуан хочет меня проведать.

Ой, ну зачем такие хлопоты. Нет, ну то есть я всегда приготовлю тебе поесть, говорю я как можно равнодушнее. А сама кошусь на пакеты с сувенирами на диване, гадая, успеет ли Марисела все забрать прежде, чем вернется Хуан.

Ты скучаешь по мне? — спрашивает он.

Ну, дома без тебя... так тихо.

И это чистая правда. Когда Хуан дома, он орет так, словно я глухая. Он высасывает зубы и чавкает за едой. Под настроение он поет.

Повесив трубку, я хватаюсь за сувениры: пять центов за штуку, двести штук всего — целых десять долларов в мою Доминикану! Отодвинув кофейный столик к стене, я раскладываю материалы на полу. Рассматриваю керамическую куколку, меньше ногтя на мизинце. Куколка двойная, жених и невеста, надо приклеить ее на ленту. На образце клея совсем не видно. Я стараюсь сделать так же аккуратно. Поначалу я пачкаю клеем пальцы, но вскоре ловлю ритм, и работа идет все быстрее, а ошибок я почти не делаю.

Снова звонит телефон. Я бегу ответить. Опять это проклятое дыхание. Она ждет, пока я скажу «алло», молчит и вешает трубку. Этим утром она звонила уже дважды. Сложив два и два — Хуана, который хочет прийти на обед, и ее звонки, я делаю вывод, что они поцапались. Наверное, он сказал ей про ребенка.

Две сотни сувениров готовы, и у меня еще осталось время. Я выстраиваю их на кухонном столе. Лицами к двери, пусть встречают Мариселу, когда она войдет. А я бегу приготовить обед на нас на всех.

Марисела возвращается все так же чисто умытой, без космети-

ки, как будто мы не просто знакомые, а задушевные подруги, почти сестры, перед которыми не надо притворяться.

Марисела перебирает сувениры и кладет в пакеты. Вручает мне обещанные десять долларов.

Приятно иметь свои деньги, правда, Ана?

Приятно помогать семье, там, дома. Им всегда нужны деньги. Как ты думаешь, я должна рассказать об этом заработке Хуану? — спрашиваю я, чтобы сменить тему.

Это твои деньги, они его не касаются.

Марисела съедает с тарелки все подчистую. Я бы с удовольствием предложила ей добавки, но тогда не хватит Хуану. Мне столько хочется сказать Мариселе, но мама... Пусть мама далеко, ее предостережения относительно друзей свежи в памяти и не дают мне говорить свободно. И все-таки Марисела столько для меня делает, больше, чем кто-либо другой, хоть и дом у меня простенький, и сама я, должно быть, кажусь ей наивной простушкой. А она сидит и ест со мной. Со мной вместе. Подбрасывает мне работу. Как же я могу не любить ее.

Марисела наклоняется и берет меня за руки так же, как та медсестра в больнице. Я не знаю, куда девать глаза, поэтому рассматриваю собственные ногти, короткие, обкусанные.

Ты такая щедрая, Ана, у тебя золотое сердце.

На глаза наворачиваются слезы. Так по-доброму со мной не говорила даже мама. А ведь однажды мне будет столько, сколько сейчас Мариселе, а моей дочери столько, сколько мне сейчас. Как же мне повезло, что Марисела здесь, со мной, в моей жизни, на моей кухне, заполняет собой пустоту в моем сердце и в квартире. Слова не идут на язык, я боюсь показаться круглой душой. И я делаю то, чего не делала никогда даже перед собственной матерью. Я опускаюсь на колени, на холодный линолеум пола, зарываюсь в колени Мариселы и обнимаю ее. Впервые за долгое время я обрела настоящую подругу.

ПОСЛЕ ТОГО КАК Я УБИЛА ГОЛУБЯ БЕТТИ, ОНИ ПЕРЕСТАЛИ прилетать. Голуби не дураки. Не носить им больше тайных посланий Тересе, которая никогда не берет на себя труд доехать до телефона и позвонить. Должно быть, узнает новости от мамы. Написав маме о том, что я беременна, я получаю ответное письмо, тонкое и отсыревшее до того, что черные чернила в нем выцвели до неузнаваемости. Читать почти невозможно. Я прижимаю письмо к лицу и нюхаю призрачный запах Лос-Гуайаканес.

Дорогая Ана!

Дитя в животе все равно что золото в банке. Не жди, пока Хуан выправит твои документы. Ему-то это зачем? Займись документами сама, иначе как ты потом вызовешь нас? Ты же не хочешь рожать без нашей помощи. Я знаю, что у Хуана дела идут скверно, потому что после того, как мы продали его семье участок под стройку, там свалили кучу цемента, да так она и лежит. Стройки нет. Твой отец продал три акра и лошадь какой-то женщине из Нью-Йорка. Она собирается выращивать сахарный тростник. Я сто раз говорила твоему отцу, что надо выращивать тростник. Но он это дело не любит. У нас тут дела плохи, просто ужас. В парках по всей столице раздают пистолеты, чтобы люди стреляли друг в друга. Можешь себе представить, что творится. Ленни ест, но не растет. А Хуаниту и Бетти нужно срочно выдать замуж, пусть мужья их кормят. Скажи Хуану прислать денег. Он должен о нас заботиться, ведь ты носишь его ребенка. Можешь

быть уверена, мы в долгу не останемся. Не забывай о нас. Кто помнит, откуда он родом, того ничем на свете с пути не сбить. Помни. Помни.

С любовью,

мама

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ БРАТЬЯ РУИС СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ. В ЭТУ субботу мы едем к Гектору, аж в самый Тэрритаун, будут обсуждать возможность американского вторжения в Доминиканскую Республику. Наконец-то я познакомлюсь с Иреной, женой Гектора, которую он вечно оставляет дома с младенцем. Приятно повидаваться и с Сесаром, который опять ненадолго пропал. Чью постель он согревал на этот раз?

Хуан умеет водить, но за руль все равно садится Сесар.

Ему нравится, когда его возят, говорит Сесар, как большого начальника.

Хуан со смешком отмахивается, но Сесар прав, Хуан и в самом деле держит себя так, словно он лучше своих братьев. Потому что у него кожа светлее. Потому что волосы не выются. А сравнить с остальными, так еще и самый высокий.

У Сесара темная кожа, тугие завитки волос и слегка приплюснутый нос. В отличие от Хуана, которому очень важно, что о нем подумают, Сесару на это, похоже, плевать. Глаза у него веселые, взгляд бедовый. Что он ни наденет, все ему к лицу. Он ведет себя так, словно весь мир должен о нем заботиться. Родители умерли один за другим, когда Сесару исполнилось пять, и он их не помнит. Можно сказать, что его вырастили трое старших братьев.

Гектор и Ирена теперь живут в доме, а не в квартире, в Тэрритауне. Не в многоэтажном муравейнике, как мы. Своя земля, свои деревья и кусты, свой двор. У них один ребенок, сын. Ирена не доминиканка.

Не доверяю я этим пуэрториканкам, говорит Хуан. Ничуть не лучше американок — холодные, только о себе и думают.

По его уязвленному тону я понимаю, что это явно связано с Карридад и их отношениями.

Хуан включает радио. Я еду на заднем сиденье, как маленькая. Но мне так лучше, потому что теперь его тяжелая рука не ляжет мне на бедро. Он сводит брови буквой V. По радио передают игру «Метс» против «Гигантов» в Сан-Франциско. У «Гигантов» питчером Хуан Маричал, на которого Хуан ставит большие деньги.

Когда-нибудь в бейсболе останутся одни доминиканцы, говорит Хуан. Пусть сейчас Маричал — один из немногих доминиканцев в высших профессиональных лигах, пусть его недооценивают и не замечают, но когда он поднимает ногу и делает свой коронный замах, любой признает: белые парни ему и в подметки не годятся.

Мы едем быстро, дорога не занимает и часа. Но как же не похожи Тэрритаун и Вашингтон-Хайтс. В Тэрритауне поют птицы, лают собаки, где-то вдалеке смеются и играют на задних дворах дети. Дворики перед домом обнесены белыми заборчиками, гостей приветствуют плещущие флаги. Цветы в глиняных горшках.

Гектор поджидает нас на крыльце, сидит на пластиковом стуле и курит сигареты одну за другой. В пепельнице на полу — горка окурков. Редущие волосы обнажают лоб в пятнах. Его нельзя назвать самым красивым из братьев, но припорошенная сединой дневная щетина и мягкие глаза выдают в нем безобидного, доброго человека.

Братья, кричит он, не дожидаясь, пока Сесар припаркует машину на дорожке.

Гектор хватает меня за плечи, внимательно рассматривает и тяжело хлопает по спине. Потом отталкивает меня, хватая Хуана за шею и тащит в дом. Сразу за ними идет Сесар. Получается многоножка, длинное тельце, из которого во все стороны торчат руки и ноги.

Гектор ведет нас к черному ходу за домом. Задний двор забе-

тонирован. Ржавая сетка забора отмечает границу его владений. Привязанная к столбику крупная короткошерстная собака облаивает Хуана, и тот прячется мне за спину.

Сидеть, командует Гектор. Дай лапу! Немного помедлив, собака садится и подает Гектору лапу.

Я, наверное, улыбаюсь, потому что Гектор подмигивает Хуану и спрашивает меня: хочешь попробовать?

Не подходи к ней, Ана, говорит Хуан, как будто это я боюсь собак.

Я сажусь на корточки и даю собаке обнюхать мою руку. Дай лапу, говорю я так сурово, как только могу.

Собака поднимает лапу и вкладывает ее в мою руку. Теплая шерсть согревает холодные ладони.

Ну хватит! — в ужасе говорит Хуан.

Успокойся, брат, говорит Сесар.

Мы переглядываемся, сдерживая смех. Хуан боится доброй собаки. Хуан — настоящий горожанин.

Пойдемте в дом, говорит Гектор.

Оказавшись внутри, Хуан успокаивается. В гостиной все коричневое. Мы садимся и тотчас тонем в шоколадно-коричневом диване с рыжевато-коричневыми подушками, такими мягкими, и диванные пружины под поверхностью покалывают нас снизу. На полу светло-бежевый ковер. Повсюду раскиданы игрушки. Ковер не чистили давным-давно. Тут крошки от еды, там высохшая земля. Маленький телевизор, весь захватанный. Я иду на грохот кастрюль и оказываюсь у кухни.

Я стою в коридоре, дожидаясь приветствия от Ирены. Шумит вода. Играет радио. Ирена вытягивает шею, и я вздрагиваю.

Что делать в темнота? — спрашивает она на ломаном испанском. Голос звучит странно, как будто она знает мало слов.

Я Ана, жена Хуана.

Она обводит меня взглядом с головы до пят и обратно и шумно втягивает воздух сквозь зубы. Я отвечаю взглядом, улыбаюсь во все

тридцать два зуба, словно пытаюсь переломить ее отношение. Она только что сняла бигуди, и на макушке у нее подпрыгивают крупные круглые локоны. Она скалывает их заколкой в точности так, как это делает Тереса. Я до боли скучаю по Тересе. У Ирены кожа гораздо темнее, чем у Тересы, но с высокими скулами и точеным носом. Под шеей выпирают кости. А Тереса округлая и мягкая, куда ни посмотри. Брови Ирены выщипаны в ниточку, ровной дугой, словно она не один час возилась и с лицом, и с волосами. Но макияжа ни грамма. На ней домашнее платье и шлепанцы. Я оделась как для похода в церковь и, кажется, перестаралась. Если я хочу добиться ее расположения, придется попотеть.

Я осторожно вхожу в кухню. Ирена вручает мне платано и нож. Ногти у нее короткие и обрезаны ровно, по-мужски. Она мельтешит вокруг так споро, что я никак не могу взглянуть ей в лицо.

Ладно, Ана, помогать, говорит она.

Я чищу платано и нарезаю наискось дюймовыми полосками.

Она разогревает на плите сковороду, сжимает полные губы, поднимает подбородок, как бы веля мне продолжать. Мужчины проголодались, ее сын спит. Ирена не ведет любезных бесед. Вот и хорошо. Она старше меня, около тридцати. Тело округлое, как жемчужина. Пышные бедра настоящей матери.

У себя на кухне она, как осьминог, успевает тут и там, режет, крошит, моет. Кухня маленькая и неаккуратно убранная, на полках громоздятся стопки тарелок, кастрюль, баночки детского питания, бутылочки. Я принимаюсь мыть посуду. Мою аккуратно, мыла беру в самый раз, слежу, чтобы вода не брызгала из раковины. Но Иренина тревожность передается мне, и я тоже нервничаю, будто делаю что-то не то. Я роняю тарелку. Она падает на пол и у самых моих ног разлетается осколками.

Ирена громко и сердито втягивает воздух.

Я быстро нагибаюсь и подбираю осколки.

Простите.

Пол давно не мели и не мыли, поэтому я беру метлу из крошеч-

ного, не шире моей ладони стенного шкафчика, и подметаю всю кухню.

Где у вас швабра? — спрашиваю я, стараясь быть полезной. Ирене помощь явно не помешает.

Иди! Уходи! Ее голос звенит. Глаза наполняются слезами. Закол-ка расстегнулась, и волосы в беспорядке.

Теперь ребенок проснуться, бранится она и уходит, оставив меня на кухне. На плите включены все конфорки. Я быстро жарю платано и мешаю рис. Кажется, все готово. Я выключаю плиту.

Заглядываю в гостиную. Мужчины пьют виски. Гектор зовет Ирену по-английски.

Вы говорите по-английски? — спрашиваю я Гектора.

Мужчины дружно хохочут.

А что смешного?

Говорит, но ему нелегко это далось, поясняет Сесар, он женился на gringa.

Братья переглядываются, словно этот их секрет чересчур велик, чтоб им поделиться.

Для нас Ирена чужачка, не знающая родного языка. Ее отец приехал из Пуэрто-Рико и сражался во Вторую мировую. Она на сто процентов американа, мне такой никогда не бывать. Как ей повезло, что она так хорошо знает английский. Как странно, что с виду она из наших, а на самом деле — из тех, друтих.

Иди сюда, говорит Хуан, похлопывая по дивану рядом с собой.

Я сажусь рядом с ним, он гладит меня по голове, прижимая волосы.

Из Аны получится отличная мать, говорит он. Она умеет обо мне позаботиться.

Везунчик ты, говорит Гектор, и по глазам видно, что он уже пьян.

Сесар поднимает бокал с пивом, подмигивает мне и говорит: выпьем за Хуана.

Я буду отцом! — говорит Хуан.

Гектор вскакивает на ноги.

Ирена, неси стаканы. Такой повод, нужно отпраздновать.

Пусть будет мальчик! — говорит тост Хуан.

С мозгами, добавляет Гектор, разливая всем ром и колу, потому что Ирена как раз принесла поднос.

Гектор говорит, что им надо попытаться еще раз, как будто их тринадцатимесячный сын не в счет, и Ирена бросает на мужа ко-сой взгляд. Первого ребенка они потеряли спустя несколько дней после родов, а второй сын родился умственно отсталым.

И пусть дети унаследуют материнскую красоту, говорит Сесар. Ирена улыбается, потом хмурится, потому что Сесар подходит, чокается со мной стаканами и плюхается в кресло рядом со мной. Его бедро касается моего, не отодвигается, словно в знак поддержки.

Все смотрят, словно ждут, чтобы я улыбнулась.

Я протягиваю руку и включаю радио. Счет три-четыре, «Гиганты» проиграли.

Сукин сын! — говорит Хуан, тянется ко мне, обнимает за плечи и опять грубо гладит по голове. Я выскальзываю из его объятий, извиняюсь и выхожу. Мне нужен свежий воздух, и я иду к дверям.

Я сажусь на пластиковый стул. Поплотнее запахиваю пальто. Холод проникает до костей. Как тут все не похоже на Лос-Гуайаканес. Одинаковые лужайки при каждом доме. Никакой скотины. Только голуби и белки. Нет запахов цветов и фруктов. Небо в пятнышках пушистых облаков. Посмотреть на солнце — оно такое же жгучее, как дома. Почему здесь такие мелкие облака? Кто нарезал их на кусочки? Или это от холодного воздуха? Может быть, мама, папа, Ленни, Бетти, Хуанита и Йонни тоже стоят сейчас на улице и смотрят в это небо, на это солнце?

НЕ УСПЕВ ПОЗДОРОВАТЬСЯ С МАРИСЕЛОЙ, Я ПОНИМАЮ, ЧТО ОНА принесла дурные новости. На ней веселенькие трикотажные брюки ярко-розового цвета и свитер в тон, но ее выдает лицо.

Сядь, пожалуйста, сразу же говорит Марисела, берет мои ладони и кладет себе на колени. Я воображаю самое худшее: она умирает. Ее сестра умирает. Ее бросил муж.

У меня беда, говорит она.

Что случилось?

Вчера вечером муж вернулся из Дэ-Эр и увидел, что у меня на руке нет обручального кольца.

Я еще не знаю, о чем она сейчас попросит, но уже догадываюсь.

Ты голодна? — спрашиваю я. Я приготовила санкочо*.

В те дни, когда Марисела приносит деньги в счет долга, я всегда готовлю полный обед. Рассчитываю, выкручиваюсь. А чтобы продукты подольше не кончались, в одиночестве ем только консервированные макароны, лишь бы только сошлось.

Я иду на кухню; Марисела идет за мной.

Он думает, что я сняла кольцо, чтобы крутить с другим женщиной, говорит она, глядя, как я высыпаю в миску пакет фасоли. Нет, Анита, ты представляешь? Как будто с моей работой у меня есть на это время.

Я говорю ей, что Хуан тоже злится, даже если просто сказать, что какой-то мужчина был со мной вежлив.

Ах, Анита, сестренка, подружка. Я знала, что ты поймешь.

Я сажусь за стол, ставлю перед собой миску, для защиты, для уверенности, и перебираю фасоль, чтобы не попался камушек.

* С а н к о ч о — блюдо латиноамериканской кухни, густой суп.

Марисела накрывает миску рукой и говорит: послушай, Анита.

Она заставляет меня посмотреть ей в лицо. Я впервые замечаю у Мариселы в волосах седину, вижу две морщинки между бровей, как число 11. Она умоляюще подается ко мне.

Женщины не просят, напоминаю я Мариселе в попытке развеять мрачную атмосферу.

Тут уж не до шуток, детка. Мне очень нужно мое кольцо.

Ну вот, теперь и ты шутишь, Марисе...

Послушай, Анита! Я обещаю, что буду платить так же, как раньше. Хуану даже не нужно мое кольцо. Я дала ему слово. И тебе даю.

Хуан все равно не разрешит.

Ему знать необязательно.

Но, Марисела, я же не могу рыться в вещах Хуана. Я даже не знаю, где искать.

Как бы она меня ни жаловила, сделать то, что она хочет, — все равно что взять собаку на поводок из сосисок. Хуан не раз заставлял меня повторять код от нашего сейфа. Подробно рассказывал, что делать с бумагами, если он умрет. Кольцо Мариселы тоже в сейфе, в маленьком желтом конверте. Но как она вообще может просить меня о таком?

Ну пожалуйста, Ана! Я ведь всегда платила вовремя. Я не подведу. Честное слово.

Марисела, ты просишь о невозможном.

Разве я не была тебе доброй подружкой? Разве рассказала Хуану о деньгах, которые ты заработала на сувенирах? Разве не молчала о твоей беременности?

Теперь на кону моя голова.

Она хватается меня за запястье.

Детка, если вечером, когда муж вернется, у меня на пальце не будет кольца, мне конец, я буду мертва, как эти мальчики во Вьетнаме. Я сказала ему, что кольцо у ювелира. Муж ведь не хотел, чтобы моя сестра приезжала. Я сказала, что сэкономила все эти деньги на стрижках и маникюре, делала все сама.

Мне знаком страх, который смотрит из ее глаз. Наверное, Мариселу тоже порой поколачивает муж. Она об этом ничего не говорила — но ведь и я не говорила. Несколько недель назад она заметила, что у меня покраснела шея, и я сказала, что это раздражение. Но ведь мы подруги, почему же мы так и не сказали друг другу правды?

Прошу тебя, Ана. Если муж узнает об этом, он меня никогда не простит. У них с Хуаном и так все сложно.

Что — сложно?

Марисела бледнеет. Осекшись, она прикусывает нижнюю губу и опускает глаза.

Знаешь, Анита, есть вещи, которых тебе не понять. Лучше даже не думай об этом. Ты так невинна. Ах, Анита, если бы мне снова было пятнадцать и я могла начать все сначала!

Она утыкается лицом в мой рукав. О боже, она плачет. Я глажу ее по рукам и по спине, ощущая очертания ее тела, моя блузка мокра от ее слез.

Я достану тебе кольцо, без раздумий говорю я.

Я оставляю всхлипывающую Мариселу в гостиной с рулоном туалетной бумаги. Сейф размером с две обувные коробки спрятан в стенном шкафу, за вешалкой одежды. Код — дата смерти его матери. Я делаю глубокий вдох. Я уже почти жалею о своем решении. Но, даже сунув голову в шкаф, я все еще слышу всхлипывания в гостиной. Они становятся все громче. Не накручивай себя, сказала бы мама, потому что она никому не доверяет. Особенно тем, кто не родственник. Но я не хочу быть как мама. И потом, Хуан ничего не узнает, ведь Марисела так и будет каждую неделю приносить деньги.

Я возвращаюсь в гостиную и надеваю кольцо ей на палец.

Я по тебе скучала, говорит Марисела, любуясь кольцом. На ее руке оно оживает. Маленький бриллиантик словно становится крупнее и ярче. Она обнимает меня.

Спасибо! Спасибо!

Пообедаешь со мной?

Ах нет, сегодня не могу.

Две минуты, и готово, говорю я.

У меня сестра дома одна.

Накатывает грусть. Я ведь даже добавила в рис свежих помидоров и потерла морковку, чтобы было ярче.

Ты же знаешь, как это бывает, когда впервые приезжаешь. Все вокруг такое страшное и непонятное. Я приду через неделю, обещаю. И сестру приведу. Тебе она понравится. Она немногим тебя старше.

Марисела обнимает меня на прощание. Оглядывается, словно о чем-то позабыла. Я стараюсь об этом не думать. Через неделю у нас будет обед. Я надену новое платье, пальто, туфли и возьму сумочку, которую Хуан мне купил в «Эль Бейсмент». Может быть, мы с Мариселой даже прогуляемся по парку.

ВЧЕРА ХУАН ПРИШЕЛ С РАБОТЫ ПЬЯНЫМ. НЕ ПРОИЗНОСЯ НИ СЛОВА, он упал на постель. Жестом отослал меня прочь. Уснул прежде, чем я спросила, хочет ли он есть, прежде, чем стащила с него носки. Когда он пьян, то во сне иногда накатывается на меня, и под его весом я задыхаюсь. Он хоть знает, сколько он весит? Как после целого дня на ипподроме пропитывается вонью кожа и волосы? Как сжимается мой желудок, когда от него несет этой смесью пота и перегара?

Утром я его не бужу, потому что у него в кои-то веки выходной. Кроме того, я рада, что от усталости он забыл спросить, приходила ли Марисела.

Я не сиюю сложа руки и расставляю стаканы в шкафу, и тут он зовет меня из спальни. Я уже научилась по голосу различать, что меня ждет.

Ана!

Мысли несутся вихрем. Пропавшее кольцо Мариселы. Деньги, которые я коплю, чтобы послать маме. Плохой день на работе. Что-то случилось в Доминиканской Республике. Поссорился с Каридад или с кем-то из братьев.

Ана! Его голос становится громче.

Плохой день на работе. Голос звучит так, словно в горле застрял ком волос.

Я подтягиваю колени к подбородку, ступни на подушках. Я обнимаю колени и качаюсь туда-сюда, словно в кресле-качалке. Я жду. Иногда Хуан позовет-позовет, а потом опять засыпает.

Ана!

Я встаю у двери спальни, приоткрываю ее на щелочку и вижу, что Хуан сидит на краю кровати. Комнату заливают солнце.

Иди сюда. Он хлопает по кровати рядом с собой.

Я и так здесь. Я стою в дверном проеме, как положено при землетрясении. Я держусь за косяк, пальцами босых ног ощущая под собой деревянный пол.

Он манит меня к себе, откидывает одеяло, словно пора ложиться спать. Я подхожу чуть ближе, и он во мгновение ока хватается за руку и заставляет сесть с ним рядом. В кулаке у него брошюра из тех, что дали в больнице.

Это еще что такое, черт возьми?

Не знаю.

Я смотрю на дверь, выворачиваю шею, чтобы он только не видел мое лицо; рукой прикрываю живот, готовясь к худшему.

Где ты взяла это дерьмо?

Он швыряет брошюру мне в лицо. В памяти встает список телефонных номеров и карта острова Манхэттен, на которой красными точками и стрелками помечены места, куда женщины вроде меня могут обратиться за помощью.

Та леди в больнице. Это она мне дала.

Брошюра лежала у меня в сумочке. Он что, рылся в моих вещах?

Что ты им наговорила?

Фотография женщины с разбитой губой смотрит на нас, на меня.

Ничего, Хуан, клянусь. Они всем это выдают, спокойно говорю я.

Хуан снова делает глубокий вдох.

А еще они мне дали кучу всего о том, как надо питаться, и о ребенке. Ты это все тоже нашел? — говорю я, и тон мой становится обвиняющим.

Он просматривает еще одну брошюру. На обложке нарисован головастик в утробе. Спинка выгнута, голова как поникший цветок. Хуан расставляет колени, задевает мою ногу. Одна его нога толщиной с обе мои. Он поворачивается ко мне и берет за подбородок, заставляя смотреть глаза в глаза.

Скажи, что любишь меня, говорит он.

Ты же знаешь, что да.

Скажи, что ты со мной счастлива.

Я счастлива. Я счастлива.

Со мной. Скажи, что ты счастлива со мной.

Я молча киваю.

Хуан берет мою ладонь, разводит руки, поднимает рубашку, чтобы видеть мой живот. Мне страшно — вдруг ударит?

Ты носишь частицу меня. Знаешь, что это значит?

Я сдерживаю внутри столько слез и слов, что у меня болит горло.

Мы с тобой соединены навеки.

Его большая грубая рука потирает мой живот, словно я лотерейный шар. Он толкает меня на кровать. Кладет голову мне на живот, прижимается ухом. Его голова трется между моих грудей, и он хватается их. Хватает меня за волосы, тянет за ухо, горячее утреннее дыхание на лице. Он быстро и сильно бьет меня по лицу. Кожа будто липнет к его ладони.

Не вздумай никому говорить о том, что у нас и как. Ты что, не знаешь, как я тебя люблю? Хочешь, чтобы они пришли и забрали нашего малыша? Забрали тебя от меня? Думаешь, они не могут? Это Америка. Поняла меня?

Для верности я еще раз смотрю на линии своей руки. Дома одна старуха предсказала мне долгую жизнь. Он в изнеможении падает на колени, под глазами у него темные круги. Ему бы побриться.

Ах, малышка, не плачь. Не сегодня, ладно?

Он обхватывает меня обеими руками. Я прижимаю подбородок к груди, задерживаю дыхание, чтобы не чувствовать его кислый запах. Надо поменять простыни. И стирка ждет, и платано надо сварить на обед.

Что бы я без тебя делал, Ана?

Ушел бы к Каридад и сделал ее счастливой, хочется ответить мне. Да прямо сейчас уходи.

Моя Ана, без тебя я ничто.

Он тянет меня на кровать, прижимает спиной к себе. И снова засыпает.

Я слушаю свое дыхание. Думаю о ребенке, который растет в темноте, купается в жаре, такая жара стоит в Лос-Гуайаканес. Настанет день, и мы с дочерью побежим по воде, по камням и будем подбирать большие розовые ракушки и слышать крики торговцев, которые продают с тележек свежую рыбу, и ссору женщин, которые сцепились за песо в моем кармане, и каждая твердит, что ее рыба самая свежая, и все кричат, что у них самый лучший соус. Отпечатки моих босых ног серовато-белы от морской соли. Тугие кудряшки моей дочери, большие фамильные глаза семьи Кансьон просят меня сказать, как называются пальмы, бутенвиллеи, семена жакаранды, облака, колибри, дикие кошки, острова вдалеке. И я впервые в жизни знаю ответы на все вопросы.

МАРИСЕЛЫ НЕ БЫЛО ВСЕГО НЕДЕЛЮ, А КАЖЕТСЯ — МЕСЯЦ.

Я готовлю побольше, ведь с ней придет сестра. Небольшой жареный цыпленок всю ночь мариновался в мамином особом соусе: лимон, розмарин, петрушка и чеснок. Я включаю радио и слушаю Джонни Вентуру, Сесар сказал, что он будет выступать в «Хэппи-Хиллс» на Сто пятьдесят седьмой улице. Даже Хуан хочет сходить послушать.

Будем танцевать, пока ноги не отвалятся, обещает Сесар.

Я почти каждый день кружусь вместе со своим животом, а радио играет.

Почему задерживается Марисела? Деревья за окном стоят зеленые, посаженные вокруг них тюльпаны в полном цвету. Женщины щеголяют в новеньких весенних пальто ярких цветов и в таких же шляпках. Еврейки идут по двое — по трое, толкая перед собой коляски, дети постарше держатся за край материнского плаща. У меня тоже будет коляска, и я буду возить ее по шумным улицам.

Голос Вентуры и быстрый ритм меренге наполняют нашу квартиру. Я подпеваю и кручу бедрами точь-в-точь как он, и аудитория взрывается аплодисментами. Интересно, Марисела и ее сестра такие же разные, как мы с Тересой? Я пою, держа метлу как микрофон, и смеюсь сама над собой, покуда в тысячный раз подметаю гостиную. От запаха курятины в животе урчит. Я открываю духовку и поливаю мясо вытопившимся жиром, лишь бы только не смотреть на часы над холодильником. Выглядываю в окно, любуюсь цветущими вишнями, которые окружают небольшие островки посреди проезжей части и тянутся на север и на юг. Тэрритаун находится севернее. Эмпайр-стейт-билдинг — южнее. Река — на западе и на востоке. В западном и восточном районах спокойно, потому

что там живут евреи. На востоке и на юге бывать опасно, там живут черные — они жгут машины и мусорные баки и шатаются по улицам без дела. Самоубийцы, вот как их называет Хуан.

Он никогда не вспоминает о чернокожей женщине в красной шляпке. Эта женщина до сих пор приносит свежие цветы ко входу «Одюбона», где погиб Малькольм Икс. С ней приходят дети. За что его так любили, этого Икса? Может, он был известный певец, как Джонни Вентура? Трудно не любить человека, если он умеет красиво петь. Даже когда я злюсь на Хуана, стоит ему запеть, и мой гнев начинает таять.

Я прижимаюсь лбом к стеклу и высматриваю знакомую походку Мариселы, вглядываясь в каждую проходящую по Бродвею женщину. Когда я понимаю, что Марисела уже наверняка не придет — сейчас она, наверное, едет на следующую работу, — я обедаю сама. После обеда я зажигаю за Мариселу белую свечу и прошу Бога защитить ее. Из своей керамической куколки я достаю двадцать пять долларов, ведь Марисела должна еще семьдесят пять и надо покрывать долг. Хуан спросит про деньги. Спросит, все ли в порядке. Я скажу — да.

В Доминикане остается всего пять долларов.

Марисела обязательно вернет деньги, вот буквально на днях, как обещала. Надо было взять у нее номер телефона. Подруги всегда знают номера друг друга.

Я не хочу, чтобы Хуан, вернувшись, увидел, как много я приготовила. Я собираю на тарелку щедрую порцию и несу ее старой леди, которая живет этажом ниже, по утрам гуляет с маленькой белой собачкой и здоровается со мной всякий раз, встретившись взглядом в подъезде.

Я встаю у ее двери, но стучать боюсь. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но тут дверь вдруг открывается, как будто леди ждала меня. Она берет у меня тарелку и говорит: спасибо, а потом жестом приглашает войти. Между ног у нее просовывается собачий нос. Я сжимаю губы — держать собаку в квартире, что за глупости.

Спасибо, говорю я.

Она показывает на себя и говорит: Роза. Меня зовут Роза.

Миня зовут Ана, говорю я.

Входи, дорогая.

Это я понимаю, потому что она все манит меня за собой в квартиру. Когда она закрывает за мной дверь, я чувствую запах сухих цветов и ментола. Диван у нее ярко-зеленый, стены увешаны картинами из ярких кругов и линий. Не знаю, где мне встать, как встать. Она медленно идет к кухне, квадратной, чистой. Сразу видно, что хозяйка никогда не готовит.

Хочешь чаю? — спрашивает она.

Я улыбаюсь в ответ. Что там за закрытыми дверями? Шкаф? Спальня? С высокого кресла свисает лоскутное одеяло. Полы и полки покрыты пылью, белые стены посерели. Стены пора бы перекрасить. Я иду за хозяйкой на кухню. Окна у нее во двор и смотрят прямо в соседские окна, поэтому хозяйке приходится включать свет даже днем, иначе в квартире темно.

Она ставит принесенную мной тарелку в холодильник, даже не посмотрев, что внутри. Мне хочется сказать: я только что приговорила. Съешьте сейчас. Жалко потом снова разогревать. Может быть, кто-то еще носит ей еду? При этой мысли я чувствую необъяснимую ревность.

Она ставит на плиту низенькую пузатую кастрюльку. И говорит-говорит-говорит! Я киваю, улыбаюсь, снова киваю. Она ставит на поднос две чашки. Она достает из жестяной коробки простецкие толстые печенья. Кастрюлька с водой издает свист, и я подпрыгиваю. Она смеется. Дрожащими руками она берет кастрюльку и аккуратно льет воду в чашки, где уже лежат пакетики с травами. Мне страшно, вдруг она уронит кастрюльку. И почему она кипятит воду в такой странной посуде? Может быть, у нее для всего отдельные кастрюли? Она снова что-то говорит и ставит поднос поближе ко мне. В моей чашке плавает пакетик. А не палочка корицы с гвоздикой. Я смотрю, как она ложкой вылавливает пакетик. Повторяю за

ней. Она кладет в чай кубик рафинада. Повторяю за ней. Размешивает. Еще размешивает. Потом отпивает. Я отпиваю тоже. Простое на вид печенье такое вкусное. Маслянистое, сладкое, крошится во рту. Я примечаю, как выглядит жестяная банка, голубая с большими белыми буквами. Когда чай допит, пожилая леди хлопает себя по бедрам и идет к двери. Я понимаю, что пора уходить. Погостила, и будет. Все тихо-мирно, ни объятий, ничего.

Спасибо, говорю я и с улыбкой киваю. Она машет мне на прощание, одновременно выгоняя, словно радуясь, что визит подошел к концу. Я торопливо бегу наверх, придерживая живот, чтобы не прыгал. От беготни по крутой лестнице сводит бедра. Сердце бьется сильно и часто. Я запираю за собой дверь. На окне все еще мерцает свеча, над Бродвеем, где глотает и выплевывает людей «Одюбон». Я вместе с ней смотрю, как люди выходят из метро, садятся в автобусы и сходят с автобусов, входят в здания и выходят. Вернет ли Роза тарелку? Весь день я гадаю, съела ли она то, что я принесла. Воображаю, как она сидит на кухне и смотрит в кирпичную стену и в чужие окна. Неужели она съест то, что я приготовила, холодным, прямо из холодильника? И ест ли она вообще курятину?

СО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ С МАРИСЕЛОЙ ПРОХОДИТ ДВЕ недели. У меня все болит, в груди давит так, что мне становится страшно, вдруг сердце остановится, вдруг мой ребенок умрет от тоски. Хуан говорит, что Мариселе осталось внести всего один платеж. Мама будет недовольна. Я доверилась другому человеку. Я лишилась своих секретных накоплений, которые были нужны мне самой. Теперь я не смогу послать денег семье. Столько трудилась, а теперь осталась ни с чем. У меня нет ни цента. Чтобы внести последний платеж, я беру деньги из Хуановой тайной заначки, тугого свертка банкнот, который недавно обнаружила в бутылке от лекарства. Надо обязательно вернуть, иначе Хуан меня убьет.

Я просыпаюсь с зарождающейся головной болью, промерзшая до костей. Внутри такая пустота, что мне страшно. В газетах только плохие новости. В Доминиканской Республике война. Соединенные Штаты ввели войска, чтобы противостоять повстанцам. В Санто-Доминго перекрывают улицы и закрывают магазины. А моя земля, мой ресторан? — говорит Хуан, раздражаясь еще больше обычного. Вот ублюдки!

Он забывает, куда сунул ключи и кошелек. Снова и снова роется в карманах, верный признак того, что он погружен в собственные мысли. Я его понимаю. Марисела забрала все, что у меня было. Ах, какую путаницу мы создаем собственными руками. И суть ее известна только нам самим. Из окна спальни я смотрю на церковь и вижу людей в выходных нарядах. Марисела ходит в церковь. Может быть, я найду ее там.

Хуан дремлет, полуголый, источая тошнотворный запах ресторан-

ной кухни и рома. Вечером в субботу он загулял и теперь мучается похмельем. Я чуть приоткрываю окно, чтобы в комнату попадал свежий воздух. Хуан смотрит, как я укладываю волосы и надеваю сережки.

Куда это ты намылилась? — спрашивает он.

В церковь, отвечаю я. Мы же не язычники какие-нибудь. Мы веруем в Господа.

Дома до церкви приходилось добираться целую вечность, и мы ходили туда только по праздникам. Но здесь-то, в Нью-Йорке, церковь есть прямо на нашей улице. Хватит, больше я ждать не стану.

Голос дрожит, я жду ответных слов Хуана, но он лишь заворачивается в простыни и устраивается поудобнее, глядит полусонными глазами.

Я надеваю расширяющееся книзу платье и золотые сережки с янтарными слезками, его подарок. Подкрашиваю губы розовой помадой, подарком Мариселы, в надежде, что эта магия заставит ее явиться. Надеваю туфли.

Хуан смотрит на меня, но не грозно, а почти нежно. На висках у него прибавилось седины, верно, из-за тех бед, что обрушились на Санто-Доминго.

Погоди, погоди, я тебя провожу. Он тяжело садится.

Не нужно. Я сама дойду.

Ладно, женщина. Только смотри не задерживайся.

Он поворачивается спиной, словно не хочет видеть, как я уйду. В последнее время у него только и разговоров что о клочке земли, на котором стоит ресторан. Столько взяток, а документов на землю все нет и нет. «Пан-Ам» отменила все рейсы. Хуану кажется, что его обложили со всех сторон. Я его понимаю.

Выйдя на улицу, я вдыхаю весенний воздух. Четыре месяца назад повсюду были сугробы, и вот уже на деревьях пробиваются свежие почки. Люди сбросили зимнюю одежду. По пути в церковь меня берут за руку — это Роза. Мне хочется поблагода-

рить ее за тарелку, которую она вернула неделю назад — положила в пластиковый пакет и повесила на ручку двери, чистую, вымытую до блеска, — но я не могу подобрать английские слова. Хочется спросить ее — как вам цыпленок? Вкусно? Есть ли у нее родные? Надеюсь, она не скормила угощение собаке. Сколько я ее вижу, бедная старушка всегда ходит в одиночестве. У нас дома даже самую сумасшедшую бабу обязательно будут кормить и навещать.

Льющийся сквозь витражные окна свет окрашивает мою кожу алым, голубым и желтым. Эта церковь раз в пять больше нашей, в Сан-Педро-де-Макорис. Мы с Розой садимся в первых рядах, подле алтаря. Я тут же жалею об этом, потому что отсюда мне не видно входящих. Как же я найду Мариселу? Священник говорит по-английски о Боге. Я вдыхаю запах ладана и наслаждаюсь царящим вокруг покоем, слушаю звуки органа и пение хора. Скамьи покачиваются и поскрипывают — люди встают, садятся, опускаются на колени. Я делаю то же самое. Сидящие передо мной дети тянут друг друга за волосы. Один показывает мне язык, и тогда его мать оборачивается и извиняется за него.

Я улыбаюсь. Однажды, шепчу я моему животу, ты объяснишь мне, что говорят люди вокруг.

Я молюсь за мать, отца, братьев и сестер. Молюсь за Хуаниту и Бетти. Молюсь за ребенка во мне.

Боже, если ты меня слышишь, приведи ко мне Мариселу.

Месса заканчивается, священник торжественно шествует по проходу, за ним хвостом тянутся мальчики-алтарники, хористы и, наконец, паства. Сначала выходят первые ряды. Я вглядываюсь в сидящих, высматривая Мариселу. Но Мариселы нет. Наверное, с ней что-то случилось. Может быть, ее похитили. Сколько было дома женщин, которые однажды пропадали навсегда? Столько, что и не сочтешь. Может быть, Мариселу заперли. Разве женщине дано выбирать, за кого ей выходить замуж, разве дано распоряжаться собственной жизнью? Бог мне свидетель, моя дочь будет

выбирать сама. Пусть она родится упрямой и свободной, как Тереса, молюсь я.

Выйдя из церкви, я останавливаюсь на крыльце. Хорошо одетых людей вокруг становится все больше. Священник пожимает руки выходящим. Я становлюсь в очередь. Когда приходит мой черед, он берет меня за руку; ладонь у него пухлая и мягкая, ничуть не похожая на руки рабочего, глаза серые, улыбка добрая. Когда он говорит, солнце золотит его редкие каштановые волосы словно нимб. Я ничего не понимаю, поэтому просто обнимаю его, обхватываю обеими руками, сгребая в кулак тяжелую ткань длинного облачения. Я вдыхаю запах церкви, священник позволяет его обнять, гладит меня по голове, потом осторожно отстраняет.

Благословите меня, говорю я по-испански.

Господь благословит тебя.

И он поворачивается к следующему человеку.

Стоя посреди толпы, я борюсь со слезами. Я соскучилась по отцу. Я соскучилась по маме. Благословите меня, шепчу я про себя. Я каждое утро подходила к папе с мамой за благословением, и они меня благословляли.

Господь да благословит тебя, Ана, и пусть он дарует тебе мудрость.

Ноги отказываются шевелиться. Шагайте, твержу я им, шагайте. Меня берут за руку; Роза жестами показывает, что проводит меня домой. И ноги вдруг возвращаются ко мне.

Роза ведет меня за руку до самого здания, до второго этажа, и собака за дверью начинает лаять еще прежде, чем мы выйдем из лифта. Еще четыре пролета, и я дома.

Когда я вхожу, Хуан ждет в гостиной, уже одетый, курит сигарету.

Ну-ну. И что сказал Господь?

Я могу думать только о Мариселе.

Предавший не заслуживает прощения, без выражения говорю я.

Он смотрит удивленно, почти довольный этим Божьим посланием. Он думает, что Бог — это для неудачников, бедняков и отчаявшихся. А сам он, Хуан, не из таких.

ТЕПЕРЬ ХУАН И ЕГО БРАТЬЯ БЕЗ КОНЦА СЛУШАЮТ РАДИО И РОЮТСЯ

в газетах, пытаясь понять, как все эти политические дела скажутся на них лично. Они вложили больше денег, чем у них было, здесь перезаняли, там расплатились, как азартные игроки. Чтобы победить бесконечную бюрократию, они годами заводили друзей в судах, в правительстве, в банках, и теперь они в панике. В Доминиканской Республике только так дела и делаются: по знакомству. Они хотят быть готовы, если страна ляжет на левый курс, но если изберет правый, они хотят быть готовы и к этому.

Двадцать четвертого апреля 1965 года Хосе Франсиско Пенья Гомес, единственный за всю современную историю чернокожий человек, способный претендовать на президентское кресло, берет под контроль правительство и Радио Санто-Доминго. Объявление об этом было приурочено к двум часам пополудни, расчетливый ход, потому что в это время люди как раз просыпаются от дневного сна и включают радио. Пенья Гомес объявил о свержении временного правительства Дональда Рида Кабраля, марионетки Соединенных Штатов, и люди радостно высыпали на улицы.

Комендантский час отменяется, сказал им Пенья Гомес, вас не будут принуждать к его соблюдению. И деревенские жители по всей стране вслед за городскими вышли на улицы и перекрестки, чтобы праздновать. Даже Хуан, который никогда не доверял чернокожим, и тот с одобрением отзывался о Пенье Гомесе.

Чтобы захватить радио, нужно иметь стальные *sojones*^{*}, говорит Хуан.

Хуан, Сесар и Гектор сидят вокруг обеденного стола и просчи-

^{*} Яйца (*исп.*).

тывают риски, а я подаю им обед. Мне не хочется тревожиться о маме, папе и всех остальных, кто остался дома, но как тут не тревожиться под разговоры братьев Руис.

Сестра кузины брата жены Рамона — горничная в Паласе, она предоставляет Рамону самые достоверные сведения о том, что творится на местах. Это она стелет генералам кровати и моет их униформы. Где же это видано, чтобы горничная да не добыла что-нибудь бесценное из хозяйского мусора? Рамон упоминает документы, датированные еще 1963 годом и подтверждающие: Штаты и в самом деле вмешивались в политику Доминиканской Республики. Сейчас они хранятся под матрасом на случай, если бедняге-хозяину нужно будет с кем-то договориться.

Вошли в Доминиканскую Республику, говорит Рамон, прямо как во Вьетнам. *Punto y basta**.

Пусть Дональд Рид Кабраль и не был народным избранником, но армия ему предана. Он, может, и не диктатор, не Трухильо, но, не задумываясь, поставит всю страну на колени, и риса подсыплет — в лучшем случае. Так что Рамон ставит на Кабралья.

Без американских штыков ни один доминиканский президент долго не протянет.

Хуан Бош однажды уже победил, победит и еще раз, говорит Сесар.

К нему Кеннеди прислушивался, говорит Хуан. Ну и где сейчас Кеннеди? На том свете. Сны хороши во сне. А проснешься — и не до мечтаний. Кому ж охота ходить голодным?

* И все тут (*исп.*).

ХУАН ОПУСКАЕТСЯ НА КОЛЧЕНОГИЙ СТУЛ В ГОСТИНОЙ.

Ражарита, нам надо потолковать, говорит он.

От его тона у меня по затылку бежит холодок. Раз он стал называть меня птичкой, значит, у него плохие новости. Не хочу слышать о плохом. Сегодня я впервые за три месяца проснулась без чувства тошноты. Мое тело наконец-то примирилось с беременностью, волосы густые, кожа чистая, гладкая и матовая, как вареное яйцо.

Давай я сделаю тебе кофе, говорю я, вскакивая со стула. Что там с бутылкой, виски еще остался? Надо бы и виски принести.

Нет, Ана, сядь. Его ладонь смыкается у меня на запястье.

Марисела! Он где-то ее повстречал. Я смотрю на свеженакрашенные розовым лаком ногти на ногах и жду, когда эта бомба наконец перестанет тикать.

Хуан, кофе — это всего пара минут.

За это время я успею добежать до входной двери. А сумочка? Доминикана останется на подоконнике, но в ней почти ничего, самая мелочь. А туфли остались в шкафу в спальне. Убегать придется босиком.

Ражарита, говорит он, мне очень не хочется бросать тебя одну.

Ты хочешь меня бросить? — спрашиваю я со смесью радости и страха.

Просто надо съездить в Санто-Доминго. Расслабься. Меня не будет несколько недель, может, месяц, вряд ли больше. Сама знаешь, как там все сейчас, так что дела могут затянуться.

Я стараюсь не показать свою радость и делаю глубокий вдох под его немигающим взглядом.

Не волнуйся. Я пытался устроить все так, чтобы никуда не ехать. Но придется, иначе все, для чего мы тут вкалывали, пойдет прахом.

«Пан-Ам» снова открыл прямые рейсы до Пуэрто-Рико. Я уже давно записался в лист ожидания в Нью-Йорке, так что я в очереди первый.

Ничего не понимаю, чистосердечно признаюсь я.

Воодушевившись от такой возможности прояснить свою роль в судьбах мира, Хуан читает мне долгую лекцию. На этот раз я слушаю с огромным удовольствием: знаю, что скоро останусь одна и буду делать что хочу, ни на кого не оглядываясь и никого не дожидаясь.

Значит, так: американцы оккупировали Санто-Доминго и ввели войска, чтобы не получить новую Кубу, потому что, если бы не это, у Хуана отобрали бы его землю и отдали другим людям. Это он, Хуан, — он, а не Рамон! — решил купить кусок земли и открыть ресторан рядом с «Ла-Рейной» — мотелем, где политики и богачи втайне обделывают свои делишки. До того как братья Руис положили первую бетонную плиту, этот клочок земли терялся в зарослях фруктовых деревьев и сорняков. А теперь там ресторан, меню, правда, небогатое, зато бар всем на зависть. Но когда-нибудь, говорит Хуан, все официантки там будут ходить в форме, а он, Хуан, вдобавок поставит музыкальный автомат.

Сесар обещал за тобой присмотреть, говорит Хуан — он встал и теперь ходит по комнате кругами.

Надо — значит, надо, говорю я и вздыхаю, как плохая актриса. Внутри же я буквально визжу от радости. Да! Сесар! Я пойду учить английский, и буду подолгу гулять, и Сесар сводит меня на танцы. И Мариселу я теперь обязательно найду. С ней что-то случилось, иначе она не нарушила бы своего слова.

Хуан кружит вокруг кофейного столика, вновь и вновь пускается в рассуждения о доминиканской политике, о том, что у него есть влиятельные друзья, которые, пожалуй, и теперь помогут защитить его имущество. Обязательно нужен документ на право собственности, иначе с землей можно распрощаться. У мамы с папой такого документа тоже нет. Мамина семья поселилась на

этой земле давным-давно, но разве теперь об этом кто-нибудь упомнит?

А что там с кофе, ты говорила? – спрашивает Хуан.

Я бегу на кухню, в новую жизнь. Мысленно я уже не здесь – заглядываю к соседке этажом ниже, помогаю ей перейти улицу, бегаю для нее по делам. Или иду в «Вулворт», всего в нескольких кварталах отсюда, разглядываю каждый товар на полке, во всех подробностях, и запах панкейков и сиропа кружит мне голову. Adios, Хуан, я ухожу в кинотеатр с Сесаром, а потом пробую хот-доги, продавец которых целыми днями стоит у меня под окном.

Крепкий и сладкий, совсем как ты любишь, говорю я, поднося Хуану кофе.

Прогулка по миру окончена, и я сижу и слушаю, как Хуан все говорит и говорит о деньгах, документах и снова деньгах и о том, сколько мы можем потерять.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В АЭРОПОРТ ХУАН ПОКАЗЫВАЕТ МНЕ, КАК открывается и закрывается дверь и как запирать окна.

Ключи носи в кулаке, поняла? С незнакомыми не разговаривай, дверь никому не открывай, если надо будет, я сам позвоню и предупрежу заранее. Поняла меня? Будь умницей, и поосторожней тут.

Мой блуждающий взгляд падает на его чемоданы. Всю эту ночь и все утро я старательно укладывала в них подарки, поношенную одежду для своих родных, письма для всех и каждого, передачи, которые друзья Хуана просили отвезти их семьям. Я так возбуждена, что с трудом слушаю.

Бей сразу в глаза. Хуан поднимает кулак с торчащими между пальцев ключами и делает вид, что бьет меня в глаз.

Да-да, не волнуйся, не дрогнув, отвечаю я — и улыбаюсь, как улыбалась, когда братья делали вид, будто хотят меня ударить.

Может быть, сейчас Хуан впервые по-настоящему боится за меня. Недавно в метро двенадцатилетняя девочка ударила ножом пожилую женщину. Еще был мальчик четырнадцати лет, он ударил взрослого мужчину ножом в грудь, а весь спор вышел из-за десяти центов. Чуть не каждый день мы слышим об изнасилованиях, грабежах, сорванных с плеча сумочках. Но Хуан не просто боится. Он чувствует, что любое неверное движение, и его заберет полиция. Можно подумать, будто Трухильо жив и его шпионы наводнили Нью-Йорк. Сколько людей пропало, расплатилось за один косой взгляд на Эль Хефе. А тайная полиция в Америке, чем она занимается? Что делает американский президент Джонсон, если народ его не слушается?

Хуан встает на колени и целует меня в живот. Натужное веселье

в его голосе пугает меня, но я старательно источаю беззаботность. В этом костюме он почти красавчик, вылитый Рики Рикардо.

Ах, Хуан, ну ты прямо как навсегда уезжаешь. У меня все будет хорошо.

К собственному удивлению, я обнимаю его, получается сцена для сериала «Ана любит Хуана».

Нет. Нет. Волноваться — мое дело, Ана.

В голове закадровый смех.

Слушай, Люси, ну хватит. Для тебя роли в шоу нет.

Назови мне хоть одну причину.

У тебя совершенно нет таланта.

Назови мне какую-нибудь другую вескую причину.

Хуан целует меня в макушку.

Снизу сигналит из машины Гектор, Хуан берется за плотно набитые чемоданы.

Едва он выходит за дверь, как я бросаюсь к окну и жду. Вскоре я вижу, как Хуан и Гектор стоят у автомобиля и курят одну сигарету на двоих. Потом Гектор открывает багажник и кладет туда чемоданы. Братья садятся в машину. Машина подъезжает к перекрестку. Останавливается на светофоре, который загорается красным. А потом — наконец-то, наконец-то! — на светофоре загорается зеленый свет.

ЧАСТЬ IV



СТОИТ ХУАНУ УЕХАТЬ, КАК ХОЛОДИЛЬНИК НАЧИНАЕТ ГУДЕТЬ громче, а квартиру пронизывает воем сирен с улицы. Скоро стемнеет. На витрины магазинов опустятся решетки; зажгутся уличные фонари. Я включаю радио и телевизор. И свет во всех комнатах. Я готовлю ужин.

Сесар должен прийти сразу после работы. Сюда прийти, а не где он там частенько ночует со своими девицами. Сесар работает на платяной фабрике в центре города, в районе Тридцатых улиц, рассказывает, что рулоны тканей у них загораживают окна, а подъезжающие грузовики перекрывают дорогу и не дают проехать другим машинам. Хозяева фабрики евреи, они платят вовремя и наличными и не болтают всякую чушь, как мы, доминиканцы. После работы он частенько заглядывает в бар и подцепляет там женщину, которая его кормит.

Ну я тебе покажу, думаю я, помешивая рис. Так накормлю, что ты будешь каждый день бежать домой сломя голову.

Я поглаживаю живот: уж малышка-то знает, как я хорошо готовлю. Тише, тише, детка, тайна моя, моя сопрайеза, мое все.

Перед отъездом Хуан набил холодильник и шкафы продуктами, поэтому мне есть из чего выбирать. Он заставил меня закупиться консервированными макаронами «Шеф Бойярди», потому что они никогда не испортятся, но от их запаха мне становится плохо, а от мягкости и податливости еще хуже. Я достаю из морозилки два пласта макрели, жестянку с кокосовым молоком и сушеный кокос в коричневой шкурке. Хуан жаловался, что кокос стоит дорого, но мне до смерти хотелось, а ведь даже последний дурак знает, что беременной женщине нельзя отказывать.

Я кладу белый пласт рыбы на доску и мелко режу. Чем темнее

на улице, тем чаще я выглядываю в окно, где там Сесар, не идет ли по Бродвею ко мне. Я чищу зеленый платано, режу его толстыми брусками, обжариваю и кладу на бумажную салфетку. Все, как Сесар любит. Накрываю стол в гостиной. Принимаю душ.

Да где же этот Сесар? Мне хочется есть, но я жду его, чтобы поесть вместе. Куда он запропал? Последней за одним столом со мной сидела Марисела. При мысли о ней мне становится больно. Ну, по крайней мере, Хуан так ничего и не сказал о пропавших деньгах.

Ох уж мне этот Сесар, такой же, как все мужчины. Я встаю у плиты, помешиваю рис, потом оставляю чуть подольше, чтобы снизу получилась плотная корочка. И прислушиваюсь к звукам из соседней комнаты, где идет телесериал *Corona de Lágrimas*.

Я тебя люблю... Я тебя ненавижу... Иди ко мне.

Трубят фанфары, заглушая диалог.

«Корона из слез» — название телесериала заставляет меня вспомнить о кудрявых волосах Сесара, которые венчают его голову словно короной. Я волнуюсь за него: ходит после работы через Гарлем, да еще в одиночку. Хуан с ним уже ругался по этому поводу. В Гарлеме беспокойно, однажды он нарвется. Это в Гарлеме Сесар подцепил дурацкую идею: отрастить волосы и забирать в короткий толстый хвост. Но Сесар говорит, что в Гарлеме он как дома, там женщины, завидев его, не прижимают к себе сумочку и не норовят перейти на другую сторону улицы. Хочешь в бар — заходи, никто тебя не останавливает в дверях. Да и белых девчонки в Гарлеме тоже хватает, приходят в тамошние бары потанцевать, выпить, закинуться, перепихнуться, а потом с опустевшим кошельком завалиться в такси. Да, ему нравятся эти девчонки, безрассудные, не желающие задержаться у него в памяти. Они не думают о будущем. Скажи что-нибудь по-испански, спрашивают они. Пожалуйста, ну пожалуйста-пожалуйста.

Вот дуралей. Ест какую-нибудь дрянь на улице, когда я тут ему целый пир приготовила, из кожи вон лезла, чтоб позаботиться.

Я закрываю глаза — жар от плиты, мешающиеся друг с другом

звуки, запах соуса, горячего кукурузного масла, рыбы, и вдруг Йонни встает у меня за спиной и тычет пальцами в ребра. Ана! — зовет мама. Ленни тянет меня за юбку и упрасивает поиграть в какую-то новую игру, которую он сам выдумал. Хуанита, Бетти и Тереса шушукаются о мальчиках и хихикают. В такие разговоры они меня никогда не принимали. Ана еще маленькая, ей рано об этом знать. Посмотри на нее, с животом, ну прямо взрослая, готовит для деверя, а тот и не подумал явиться.

Ана-на-на, говорит мама, ей вторят радио и телевизор, и все повторяют мое имя.

Я вонзаю вилку в рыбу и ем прямо со сковороды.

Когда Сесар наконец входит в дом, еда уже давно остыла. Я ждала его три часа назад! Он странно смотрит на меня. От него пахнет сырой шерстью и застарелым потом.

Его задержала не работа и не девчонки в баре. Он был в аэропорту. Он в последний момент поехал с Гектором проводить Хуана.

Что у тебя тут творится? Он выключает верхний свет и телевизор, делает тише радио.

Э-э... я готовила.

Странно, что еще соседи не жаловались, говорит он.

Просто, когда я одна, тут так тихо.

Я глубоко вздыхаю от облегчения. По крайней мере, он дома.

Что так долго? — спрашиваю я и с шумом начинаю возиться у плиты. Сесар садится за стол, вздыхает и вытирает лицо скатертью.

Да Хуан там устроил.

Что устроил?

Доехали мы, значит, до терминала, я за ним чемоданы на контроль дотащил, чуть руки не оборвал, а он заявил, что я украл у него деньги. Я ему так и сказал: у тебя в башке шестеренок меньше, чем в дешевых часах. А он за свое, верни, мол, деньги, где деньги, разорался при всех.

Я вижу, что Сесар успел выпить, и не один стаканчик. Руки чешутся выбрать у него из волос торчащие тут и там обрывки ниток и пригладить широкие брови.

Но вместо этого я говорю: ты бы поел. Я сделала рыбу с кокосом. Сейчас поджарю платано.

Ана, говорит он, глядя на меня немитающим взглядом, это ты взяла деньги у Хуана?

У меня отвисает челюсть. Ты что, решил обвинить меня, как будто я *vividora** какая-то?

Я этого не говорил, Ана, это ты сказала.

Лицо у него становится красное и злое, на нем читается обида за Хуана.

Он смотрит на мой живот и кривит рот. Обходит меня вокруг как коп, заложив руки за спину. Я усердно накрываю на стол.

Это наверняка Антонио, спокойно говорю я. Он был у нас в спальне один, примерял костюмы. Или вообще кто угодно, у нас тут куча народу перебивалась, у всех ведь дела с Хуаном.

Сесар наставляет на меня указательный палец и говорит: ты бы обвинениями не разбрасывалась, Хуан ведь этому Антонио в два счета руки оборвет.

Правда? — говорю я и смотрю на него взглядом Люси Рикардо. Мой муж?

Вопрос повисает в воздухе. Сесар вновь садится за стол и с удовольствием ест рыбу. Потом смеется. Что ты испугалась? У тебя что, проблемы?

Послушай, Сесар, зачем мне таскать у Хуана деньги? Он и так покупает мне все, что нужно.

Да уж, тебе бы не деньги у него таскать, а свою готовку продавать. Рыба — пальчики оближешь.

Вот и ешь, а ко мне не лезь.

Я иду в кухню, чтобы он не видел моего лица.

* Жулик (исп.).

Нет, я серьезно, если будешь продавать еду нашим работягам — озолотишься. Они за домашнюю кухню убить готовы.

Посмотрим. Может быть, когда-нибудь.

Разве ты не из-за этого вышла за Хуана? Не затем сюда приехала? Только не делай вид, что тебе не нужны деньги.

Его слова больно жалят. Снова и снова. Я выдергиваю у него тарелку.

Эй, я же не доел.

А зачем ты мне гадости говоришь?

Он отбирает у меня тарелку и доедает оставшееся.

Потом встает и, отбивая ритм сальсы, поет вместе с радио: *Esa mujer fue mala...*

Валится на диван, накрывает голову подушкой, босые ноги свисают с края. На шее болтается черный кожаный шнурок со значком мира.

Думаешь, обидел меня и спать спокойно лег? — говорю я, очищая тарелки. Мог бы хоть посуду помыть.

Ха! — говорит из-под подушки Сесар. Притворяйся дохлой мухой сколько угодно, Ана, я-то не Хуан, я тебя насквозь вижу.

Мама говорит, что каждая тварь умеет защитить себя. Коза бьет копытом и бодается, рыба прячется под корягу, а муха — муха притворяется дохлой.

ХУАН ЗВОНИТ КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ОБЫЧНО С УТРА.

У меня все в порядке, Хуан.

Ты по мне соскучилась?

Ну конечно.

Отсюда, издалека, эти слова срываются с губ так же легко и просто, как «привет», «пока», «пожалуйста» или «спасибо» по-испански и по-английски.

Ты уже был у мамы?

Я, знаешь, не отдыхать сюда приехал.

Вскоре мама заметит, что я перестала вкладывать деньги в письма. Все, что у меня было, ушло на оплату долга Мариселы.

Еду в сапро* на той неделе, говорит Хуан, не дождавшись моего ответа.

Обязательно отдай маме все, что я для нее передала.

Я стараюсь, чтобы это звучало как распоряжение, но даже по телефону у меня такой несолидный голос.

Список бесконечен. Коробка блинной смеси для Ленни. Кукурузные хлопья для Йонни. Белье для обоих мальчишек. Жестяные банки «Шеф Бойярди». Дезодоранты, зубная паста, бруски американского пахучего мыла для родителей. И письма, в которых я пишу маме с папой, что у меня все хорошо. Что все идет по плану. Что даже и с ребенком я все равно буду учиться и получу профессию. Я пишу им, что коплю деньги, чтобы перевезти их всех в Нью-Йорк. Сначала маму и Йонни, потому что они могут работать. Потом Ленни, он еще маленький, поэтому он будет учиться и выучит английский. И ах, как же я счастлива. Мама во всем была права,

* Сельская местность (исп.).

и все получилось лучше некуда. Погода тут отличная. Ни капли дождя, ни снежинки! Я наказываю Йонни не лезть в политику, держаться подальше от неприятностей и готовиться к переезду в Нью-Йорк. Не разрешай маме набивать дом всяким барахлом, пишу я Тересе, ты же ее знаешь. И хотя Тереса никогда не признает, что у Эль Гуардии дурной характер, я все равно велю ей прочесть брошюру, которую я вложила в конверт, ту самую, которую дал мне врач, ту, в которой говорится, как защитить себя. Тычь пальцем в обидчика. Покажи зубы. Кричи «нет» сто раз подряд. В Америке людей учат драться по-козьему. Брошюру с картами я приберегла, Тересе достанется вторая. Одна из женщин на фотографиях похожа на Тересу: кудрявые темные волосы, широкие брови, полные губы. И правду ли говорит Хуан, что люди убивают друг друга без причины? Что американцы разжигают раздор в Доминикане — совсем как во Вьетнаме? Правда ли, что это борьба за то, чтоб особенно превратились в школы, а пляжи стали доступны для каждого? Кстати, о пляжах, как там Габриэль? Передавай ему привет. И Хуаните с Бетти, им я посылаю пробники духов.

Я уже и забыла о трубке у уха, но тут Хуан спрашивает: что Сесар? Заботится о тебе?

С ним все в порядке, говорю я и радуюсь, что, судя по всему, меня Хуан ни в чем не подозревает.

ЛЮБИШЬ НЮХАТЬ ЦВЕТОЧКИ — ВОТ ТЕБЕ И РАСПЛАТА. ТАК ГОВОРIT мама, когда видит, что Ленни ужалила пчела и он прыгает на одной ноге, вопя от боли.

Пчела жалит сердцем, знаешь, Ленни? Ты-то, по крайней мере, жив и можешь рассказать, что случилось, смеется мама. Ленни плачет.

Неправда, говорит Тереса. Просто, когда пчела хочет улететь, у нее жопка рвется, и онадохнет.

А она знает, что умрет? — спрашиваю я.

Ах, Ана, неужели ты так и не поняла? Чтобы улей жил, пчелы должны идти на жертвы. Они жалят, чтобы защитить своих братьев и сестер. Они сделают что угодно, чтобы спасти свою королеву. Улью нужна королева. Они кормят ее молочком, чтоб она росла большая и толстая и откладывала яйца.

Мама сидит в качалке и поглаживает живот; мы сидим на траве у ее ног.

СЕСАР ИЗ ТЕХ МУХ, ЧТО ЛЕЯТ НА МЕД, А НЕ НА УКСУС. ТАК ЧТО

он делает вид, что у нас все в порядке. Его густые нестриженные кудри тонут в клубах дыма, с губы свисает сигаретка. Когда он потягивается, поднимая руки над головой, натягивая кожу на костях над ремнем, я едва сдерживаюсь, чтобы не сунуть ладонь ему под мышку, сохранить его гвоздичный запах. После ужина взгляд его глаз с поволокой задерживается на мне. Чем больше вырастает мой живот, тем короче становятся юбки. Я швыряю в него посудным полотенцем и подаю кофе.

А пойдём в кино, говорит он.

На той стороне улицы?

Нет. У меня есть один знакомый, Борикуа, он работает охранником в «Радио-Сити». Это кинотеатр для богатых.

Так ты не сердисься?

А должен? Надевай платье и сделай что-нибудь с лицом.

Сесар надевает рубашку в расплывчатых желтых и голубых потеках.

Этот рисунок придумала моя подружка.

Вечно у тебя подружки.

А как же. Она берет ткань без ничего, сворачивает, красит сначала в одной краске, потом в другой. Научилась, когда ездила в Индию. Как тебе? Круто, а?

В этой рубашке он похож на парней, которые маршируют по улицам и протестуют против войны. Президент Джонсон всю весну бомбил Вьетнам, там убили американцев, и его, видно, задело за живое. Теперь на смерть идут тысячи и тысячи. Хоть бы только в Доминикане не сглупили и не убили никого из американцев.

Сесар расчесывает волосы, и его голова превращается в шар.

Я надеваю расшитое ожерелье-чокер, а сама поглядываю на его кожу, смуглую и гладкую. Он выглядит странно, но притягательно. Что бы сказала о его пестром наряде Марисела? Футуристично, сказала бы она. Ни на что не похоже! Как она удивилась бы, узнав, что Сесар работает в модной индустрии и ходит на свидания с gringas, которые придумывают новые платья для магазинов. Которые, по его словам, вместо обеда едят сахар из пакетика и без конца курят и пьют кофе.

Я чувствую себя унылой, толстой и скучной.

Сесар, погоди! Я торопливо подвожу глаза черной подводкой и добавляю еще один слой румян. Убираю от лица волосы и завязываю их ярко-розовым шарфом. Принимаю позу, подражая Твигги. Ну как?

Diablo. Если бы Хуан тебя увидел, он бы нас львам скормил.

Он сказал — нас. Я слышала это своими ушами. При Хуане никаких «нас» не может быть.

Сесар берет меня под руку, и я не отстраняюсь, не противлюсь. Даже на платформе в метро, пока мы ждем поезда и смотрим, как голуби перелетают с одной платформы на другую, и от рева поездов я зажимаю ухо свободной рукой. Даже уже в поезде метро, где в свете флуоресцентных ламп мои руки кажутся желтыми, я все равно крепко держусь за него.

СВЕТЯЩИЕСЯ БУКВЫ НАД ВХОДОМ В «РАДИО-СИТИ-МЬЮЗИК-ХОЛЛ»

складываются в слова «Звуки музыки». Воздух напоен запахом жареного арахиса, который продает лоточник. У входа ждут зрители, по улице шагают протестующие и кричат: «Нам! Нам! Нам!» и «Дом-Реп! Дом-Реп!»

Неужели здесь всегда так?

Сесар меня не слышит, он поднимает над головой кулак и кричит с ними: Дом-Реп! Дом-Реп! Охваченный возбуждением, он тянет меня от театра к толпе. Я теряю его руку и ахаю, потому что таксист жмет на гудок, требуя, чтобы ему дали проехать. Толпа протестующих выливается на проезжую часть, и полицейские растопыривают руки, соединяются в единую стену, чтобы не пропустить их.

На какое-то мгновение я теряю Сесара из виду.

Сесар! Сесар!

Он тянет меня назад, на тротуар, сквозь очередь ожидающих у входа в театр, за угол, и вот мы уже у черного хода.

Только для персонала, говорит он, едва дыша, и прикладывает палец к губам. Стучит в дверь и ждет.

Я уже совсем ничего не понимаю. Мне хочется сказать: давай пойдем домой.

Открывается дверь.

Борикуа! Сесар хватает парня за ладонь и обнимает свободной рукой. У парня крупные бусы, яркие сандалии, длинная коса. Оба они словно с другой планеты.

Мир тебе, брат мой, говорит Сесару парень. И приятного просмотра.

Одной рукой придерживая живот, второй я цепляюсь за Сесара,

мы идем по темному холлу. Мы потихоньку заглядываем в холл у главного входа, там под потолком парит огромная сияющая люстра. Это сколько же часов ее от пыли протирать надо. Потом огромный зал с высокими арками и мерцающими золотом занавесками. Мы садимся в первом ряду, где кресла обиты темно-красным бархатом в цвет ковра. Все-то здесь в цвет! Даже среди зрителей нет-нет да мелькают темные пиджаки и черно-белые платья, а при них сумки и ботинки в тон.

А если нас поймают без билета? — спрашиваю я, и мне становится стыдно за странную рубашку и пышную прическу Сесара.

Да что ты дергаешься. Сейчас уже кино начнется, говорит он и оглядывается, словно в поисках знакомых.

В «Радио-Сити-мьюзик-холле» холодно. Дома у нас тоже есть киношка в Сан-Педро-де-Макорис, но там испечься заживо можно. Кино по большей части черно-белое. И ничего там не сверкает и не переливается, если не считать фантиков от конфет — конфетами владелец кинотеатра угощает детей, которых знает всю жизнь. Здесь, в «Радио-Сити-мьюзик-холле», я не встречаю ни одной улыбки. Все молчат. Не громоздится мне на колени Ленни с серыми от грязи локтями. Не рассказывает дурацкие анекдоты Йонни. Не накручивает на палец кончики моих волос Тереса. Никто не швыряется попкорном в экран.

Камера скользит по переливающейся траве, по горам в снежных шапках, по синему-синему бескрайнему небу. Сколько цвета! Какой большой экран! Мои глаза слишком привыкли к черно-белому экранчику нашего телевизора, размером меньше коробки кукурузных хлопьев. Но сейчас меня зовут Мария, я живу в большом доме, и вся эта земля — моя. Мария поет, и у меня на глазах слезы. Неужели это наконец любовь? Неужели я наконец-то свободна?

Мы выходим из кинотеатра. Протестующие ушли, город тих и покинут. Сесар хватается меня за руку.

Давай пройдемся до следующей станции метро, говорит он и зажигает сигарету.

В центре города улицы освещены лучше, чем в Вашингтон-Хайтс. Сесар умело ведет нас от одного квартала у другому, избегает знаков XXX и стоящих на углах мужчин в птичьих нарядах.

Понравился фильм?

Да, и с тобой в кино ходить тоже понравилось.

Я тут же жалею о сказанном. Но что еще может сказать Мария?

Мы идем в тишине. Я стараюсь запоминать здания и номера домов: Пятьдесят третья и Пятьдесят пятая, Шестая авеню, Бродвей, но другой. Каждые несколько кварталов город меняет облик, каждый район хранит свои секреты. Это город, большой, запутанный город. Как тут легко потеряться. Всю дорогу до дома я держусь за руку Сесара.

Он падает на диван в гостиной. Накрывается пальто и салютует мне: до завтра, енотик мой прелестный.

А я только в ванной перед зеркалом замечаю, что у меня потекла тушь.

Я ворочаюсь в постели, сон не идет. Хуана нет, но я все равно лежу на своей половине. Поглаживая живот, я думаю о Мариселе, о Хуане, о моих родных. О Сесаре, который спит в соседней комнате. А если бы такое случилось с Марией, как бы она поступила?

ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ХУАНА Я НАЧИНАЮ ХОДИТЬ НА БЕСПЛАТНЫЕ

курсы английского языка в доме при церкви. Я натягиваю тяжелую шерстяную юбку, которая закрывает колени, — жарко, не по погоде, но в нее я еще влезаю. Я запираю за собой дверь, иду к лифту, потом возвращаюсь к двери и проверяю, точно ли я ее заперла. Курсы всего в двух кварталах от нас, но я чувствую себя так уязвимо, ведь меня там никто не ждет. А если иммиграционная полиция схватит меня и увезет, как сестру Гизеллы из «Эль Бейсмент» — она пошла в полицию пожаловаться, что у нее украли сумочку, а там как-то прознали, что у нее нет документов. Ну и все.

Мне запоздало приходит в голову, что надо было оставить Сесару записку, но тут приходит лифт, а я не хочу опаздывать на утренний урок.

Я иду по улице, зажав ключи в кулаке. Если на меня нападут, я буду бить в глаз. Я знаю, как поздороваться с учителем — по-английски. Ало. Эллоо. Я уже не ребенок, которого школит строгая мать. Я сама скоро стану матерью. Мне нечего бояться. Люди ходят по улицам каждый день, и ничего, живы. Просто не надо лезть не в свое дело, а если что не так, идти другой дорогой.

Вокруг головы у меня цветастый шарф, найденный под раковиной и насквозь пропахший духами Каридад. Вот прямо насквозь.

У входа подмывает Боб, консьерж. Он показывает на небо и делает такой жест, словно открывает зонтик. Ну нет, пусть небо сколько угодно грозит дождем, назад я не поверну. Воздух становится тяжелым и влажным, сильный ветер толкает меня на другую сторону улицы, прочь от церкви. Может быть, это знак, что надо вернуться? Встречные люди улыбаются и кивают мне в знак приветствия, так горожане ведут себя только с детьми и стариками.

Я сжимаю ключи в кулаке.

Сегодня тротуар под ногами какой-то особенно твердый. Сколько цемента! Дома цемент означает прогресс. А в Нью-Йорке главное богатство — деревья и трава.

В доме при церкви пахнет ладаном и свежим хлебом. Кроме меня, никого пока нет. Панели темного дерева покрыты резьбой: Дева Мария, горящие свечи, Иисус. Складные металлические стулья вокруг большого стола. На столе — стопка журналов, ножницы и клей. Большая черная доска новехонька, не разъедена солью, не несет на себе следов прошлых уроков.

Простите, я могу вам чем-нибудь помочь?

Я резко оборачиваюсь и отшатываюсь, потому что надо мной возвышается женщина во всем черном, от головы до пят. У меня сжимается в животе.

Инглис? — я указываю на знак.

У монахини светится кожа, взгляд озаряется.

Добро пожаловать! Да, здесь мы учим английский. Вы пришли рановато, но садитесь, пожалуйста.

Тулет? — спрашиваю я. Малышка едва достигла размера некрупного банана, но изрядно давит мне на мочевой пузырь. Хочешь не хочешь, а забегаешь!

Монахиня указывает в сторону длинного узкого коридора. Вдоль стен коридора протянулись книжные шкафы из темного блестящего дерева. На полках — стопки Библий и другие книги. В конце коридора свет падает сквозь витражное окно на кухонный стол, на груды прозрачных упаковок с облатками внутри. Тело Христово! Я беру упаковку и утыкаюсь в нее носом. Услышав в коридоре шаги монахини, я торопливо сую упаковку в сумочку. Стремительно открываю дверь, проскальзываю внутрь и запираюсь на замок.

Когда я выхожу, она ждет меня у двери туалета. Завитки волос похожи на вареные спагетти. Она не покрашена, но все равно хорошенькая. Приходится идти за ней следом в главную комнату, а я-то

собиралась вернуть облатки на место. Вдруг священник их уже благословил? Говорят же, что монахини слышат глас Господень, а вдруг Иисус шепнет ей на ухо, что я сунула одну пачку в сумочку?

За столом уже сидят шестеро. Я вглядываюсь в незнакомые лица, ищу сестру Мариселы. По описанию не подходит ни одно. Монахиня раздает всем по листу чистой белой бумаги. Прикрепляет лист на доску и пишет: меня зовут Марта Лусия.

Она показывает на себя и спрашивает: как вас зовут?

Я пишу: меня зовут Ана.

Женщина с буйными рыжими кудрями и усиками над губой поднимает свой лист и показывает сестре Лусии.

Очень хорошо, говорит сестра Лусия.

Когда ее спрашивают о чем-то по-испански, она отвечает только по-английски. Я совсем запуталась, поэтому просто смотрю на других учениц и делаю то же, что и они. Еще одна женщина постарше вообще говорит на языке, которого я не понимаю. Испанский знает только сестра Лусия. Как все сложно.

Проходя мимо, она задевает мою сумочку, и та падает со спинки стула.

Ничего-ничего, Ана.

Сестра Лусия поднимает сумочку и уносит.

Мисс...

Я уже готова упасть на колени и каяться. Но все слишком заняты тем, что пытаются понять быструю речь сестры Лусии — она говорит ужасно быстро, — и моего ужаса не замечают.

Пожалуйста, бормочу я монахине, Иисусу, ноги приросли к полу, из глаз вот-вот польются слезы.

У меня на глазах она вешает сумочку на крючок, рядом с куртками и другими вещами. Я смотрю, как она дергает входную дверь, показывая, что та заперта и что мои вещи в безопасности. Смотрю, как она возвращается за стол.

Благодарю тебя, Господи, говорю я, а сестра Лусия кладет пере-

до мной чистый лист бумаги и фломастер. Свой лист она крепит на доску и пишет: моя родина Чили.

А где ваша родина? — спрашивает она учениц, берет со стола журнал, вырезает фотографию домика и приклеивает на свой лист. Остальных она просит сделать то же самое, и мы расхватываем журналы, будто боясь, что кому-то не достанется.

Я вырезаю лошадь, потому что люблю лошадей. Кобылы, в отличие от Мариселы, заботятся о своих беременных подругах. В Доминиканской Республике почти нет яблок, поэтому я вырезаю яблоки. Мне доводилось куснуть яблоко только на Рождество, и не больше раза, и то однажды Йонни стащил яблоко и спрятал под кроватью, а там его погрызла мышь. В тот год мы остались без яблока.

Иногда в квартире не работает отопление, поэтому я вырезаю рисунок очага. А еще гадалка однажды сказала, что я проживу долгую жизнь и у меня будет двое детей, поэтому я вырезаю фотографии двух детишек, мальчика и девочки, они светловолосые, с большими голубыми глазами, в похожих костюмчиках, красивые и богатые.

Сестра Лусия приклеивает мою бумагу на доску рядом со своей и другими.

Моя родина Греция.

Моя родина Китай.

Моя родина Россия.

Она повторяет все написанное, потом просит нас повторить вместе с ней: родина.

Лодина...

Роина...

Руина...

Ро-ди-на! Ро-ди-на!

Добравшись до моего листка, сестра Лусия читает: моя родина, а потом пишет поверх моего República Dominicana слова «Доминиканская Республика».

До-ми-ни-кан-ска-я Рес-пуб-ли-ка, говорит она.

Я повторяю.

Прекрасно, Ана, замечательно! Сестра Лусия хлопает в ладоши.

Меня зовут Марта Лусия. Моя родина Чили. А твоя, Ана?

Она показывает на меня.

Меня зовут Ана. Я лодина Доминиканская Республика.

Нет, Ана, надо так: «Меня зовут Ана. Моя родина Доминиканская Республика».

Я повторяю.

Очень, очень хорошо, Ана. Теперь ты умеешь говорить по-английски.

После занятий сестра Лусия крепко обнимает меня. Отдавая мне сумочку, она нечаянно роняет ее на пол.

Нет! Я молниеносно нагибаюсь и выхватываю у нее сумочку.

Она тяжелей, чем кажется, говорит сестра Лусия.

Я таращусь, как глупая коза, и говорю: спасибо, сестра Лусия.

Я шагаю так быстро, как только могу, не то сейчас обернусь и превращусь в соляной столп. В сумочке губная помада, зеркальце и кошелек, но она такая тяжелая. Ноги кажутся каменными, но я буквально лечу по улице.

Мисс, мисс! — кричит мужчина у меня за спиной.

Я разворачиваюсь, сжимая в кулаке ключи.

Чернокожий юноша размахивает шарфом Каридад. На нем акkuratный костюм, мне такие нравятся, людей в таких костюмах я не раз видела возле «Одубона» вечером в воскресенье. Я прижимаю к себе сумочку и вспоминаю все наставления Хуана. Я шагаю во весь дух, ребенок тыкается в ребра, и некому спасти меня от беды. Я спотыкаюсь. Мужчина бросается ко мне, хватая меня за руку, но когда я поднимаю взгляд, то вижу лишь цветочный узор на ткани.

Мисс, с вами все в порядке?

Хуан! — кричу я, закрываю рукой лицо, сжимаюсь в клубок, закрывая живот и сумку.

Мужчина подходит ближе.

Миня завут Ана, снова и снова повторяю я. Я лодина Доминикана Република.

Он хмыкает. Мне нравятся его белые зубы. Страх испаряется, я чувствую себя душой. Он протягивает мне руку, я берусь за нее и встаю.

Спасибо.

Не за что, мисс, говорит мужчина и уходит, качая головой.

Я повязываю шарф на шею, повторяя про себя снова и снова: незашто, незашто. Перехожу улицу и вхожу в дом. Консьерж Боб придерживает мне дверь, и я говорю «спасибо», а он отвечает «не за что». Я сажусь в лифт и повторяю: незашто, — и за мной наконец-то закрывается дверь квартиры.

Я сижу на диване. В квартире темнеет, словно над городом повисла огромная черная туча. Я достаю пакетик с облатками, которые так и не удалось вернуть. Кладу Иисуса в рот, и он тает у меня на языке. Я съедаю облатки одну за другой. Может быть, теперь Иисус будет защищать меня изнутри, может быть, больше он не отвернется от меня, как в тот день, когда я просила его вернуть Мариселу. Я ем, пока не чувствую, что больше не лезет. Я ложусь на диван и неглубоко дышу, чтобы не вытошнить Иисуса.

Благослови мое дитя, Иисусе.

СЕСТРА ЛУСИЯ ГОВОРIT, ЧТО ЕСЛИ Я ХОЧУ ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК,

то должна каждый день говорить по-английски. Каждое утро, когда Сесар уходит на работу, я вместе с ним спускаюсь на первый этаж и беру почитать газету, которую приносят в подъезд. Это не кража. Кроме того, я не ленюсь убрать фантики от жевательной резинки, сигаретные окурки и прочий мусор, оставленный соседями и их гостями.

Отбираешь хлеб у консьержа, говорит Сесар.

Боб приходит с четырех до десяти вечера, шесть дней в неделю, говорю я в лифте, подбирая с пола картонный стаканчик от кофе, а мусор все равно есть. Это ведь и наш дом тоже. Кто знает, может быть, если я буду о нем заботиться, когда-нибудь он тоже обо мне позаботится.

Еще я беру книги, которые жильцы оставляют на столике у почтовых ящиков, даже если эти книги написаны по-английски. Когда-нибудь я их обязательно прочту: «Убить пересмешника», «Дневник Анны Франк», «Полет над гнездом кукушки».

Я рассматриваю исписанные карандашом стены лифта: Виктор и Эмили и сердечко вокруг имен. Оттереть или оставить? Мне не трудно помочь седому Бобу у которого глаза будто пленкой подернуты. Он всем открывает и закрывает дверь, стережет дом, и с ним мне спокойнее.

Вернувшись в квартиру, я наливаю себе новую чашку кофе и берусь за газету.

Ну почему английский язык такой сложный? — спрашиваю я у Доминиканы, которая смотрит на меня с подоконника. Я кладу рядом с газетой словарь и принимаюсь за уроки. Образование — путь к независимости. Если я получу образование, то буду что-то

собой представлять. Я просматриваю газету, выискивая знакомые слова. «Доминиканская Республика» появляется тут и там, рассыпью, как конфетти. Такая она маленькая, наша страна, и столько новостей.

Умирает Хосе Хавьер Кастильо. Убит выстрелом в голову. Во время игры. Откуда он родом? Не сказано. Умер, и точка.

Дождь припускает с новой силой, словно злится на тех, кто посмел выйти на улицу. На Бродвее пестреют разноцветные зонтики.

Убит солдатами Оскар Алида Перес, семнадцать лет. КПО в отравлении.

Отравление? Я лезу в словарь. КПО. Казнен по обвинению. Выясняя, что такое «обвинение».

Выезд на Кубу запрещен.

Полковник Франсиско Кааманьо говорит: американцы, уходите домой. Бои продолжаются.

Сорок три человека погибли при землетрясении в Сан-Сальвадоре.

Это слишком. Неужели совсем нет хороших новостей?

Я поднимаю трубку телефона — работает ли? Ни единого звонка. Ни маминого голоса. Ни дыхания в трубке. Мне бы радоваться, что Каридад больше не звонит. Может быть, Хуан сам названивает ей из Доминиканской Республики?

Я включаю радио на полную громкость. Сесар сменил станцию, и из динамиков гремит рок. I can't get no satisfaction! Сестра Лусия говорит, что слушать песни на английском языке полезно, это помогает учебе. Я прыгаю на диване, танцую, трясую головой и бедрами, ору: Ай кон гьет ноу сэтифесен! Я играю на воображаемой гитаре, луплю по барабанам, встряхиваю гитару, перепрыгиваю с кофейного столика на диван и потрясаю кулаками в воздухе.

Бам! Бам! Бам! Когда песня заканчивается и начинается реклама, я выключаю радио и слышу, что снизу стучат. Я прикладываю ухо к полу. Это сосед, что живет прямо под нами, стучит метлой.

Простите, мистер О'Брайен! Не волнуйтесь, окей? Английский

урок конец! — говорю я сквозь щель в полу человеку, у которого не хватает пальца и который ходит в военной форме. Когда буду готовить обед, сделаю побольше и отнесу ему. В этом городе столько одиноких людей. К нему наверняка никто не ходит.

Я поднимаю телефонную трубку и набираю номер Каридад, который давно переписала к себе в записную книжку. Звонок, еще звонок. Наконец ответ: алло. Алло. Она слушает. Я дышу.

Дорогая Каридад!

Время в Санто-Доминго тянется так медленно. Я без конца курю, чтобы вынести ожидание. Устал до смерти. Всюду сыро. Влажность, мать ее растак. На ручку нажимаю еле-еле, чтобы не прорвать бумагу. Мы по очереди дежури́м у входных дверей нашего дома. Рамон заставляет меня караулить с ружьем в руках. Из-за всего этого я стал дерганный. Особенно из-за собаки. Рамон сказал, что без собаки нельзя. Она лает без умолку, и еще она терпеть меня не может, ну правда. Вчера ночью все спали, темнота — черт ногу сломит, я сидел при свече, и тут услышал, как кто-то пищит, вроде котенок. Оказался не котенок, а мальчишка, зацепился за проволоку, которую Рамон провёл вокруг нашего участка. Мальчишка пытался перелезть через забор. Проволока, битые бутылки — ничем их не проймешь, лезут и лезут, хотят забраться в дом. Бедный парень. Голодный. Один-одинешенек. Если бы я не пришел, собака его бы загрызла, так что я застрелил собаку. Проклятый пес. Только бы ему лаять. А мальчишка поседел.

Я совсем забыл твой запах. Пришли мне что-нибудь со своим запахом, а? Скоро я вернусь. Не будет же эта война длиться долго. Помнишь, как я приходил к тебе в постель, и все было так просто. Столько всего, о чем я сожалею. Нам надо было быть храбрее — и мне, и тебе.

Я тебя люблю. Хуанчо

ПОКА СЕСАР НА РАБОТЕ, Я ПОДОЛГУ ГУЛЯЮ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ.

Я хожу в «Вулворт» и внимательно изучаю бутылочки с лосьонами и средствами для волос. Записываю названия и состав, чтобы потом перевести. Мне хочется сесть у стойки кафе, рядом с другими людьми. Олады, хот-доги и сладкий сироп источают соблазнительный запах, но человек за стойкой глядит на меня как на нежеланную гостью. Сколько в этом городе чужих мест. Я не хочу беды, поэтому ухожу.

Я иду вдоль парка у реки и смотрю на играющих детей. Я рассматриваю рестораны на Бродвее, смотрю, как официантки ловко разносят целые подносы невиданных яств, легко, как танцовщицы, скользя сквозь полный зал.

Я останавливаюсь напротив здания красного кирпича, оно такое большое, что занимает целый квартал. У женщины с фиолетовыми волосами на плече попугай. Женщина бросает на тротуар фантик от конфеты. Я поднимаю и бросаю в урну, мне не трудно. Тут я замечаю женщину в больших солнечных очках и бигуди, поверх бигуди — шарф. Она входит в здание на противоположной стороне улицы. Эта решительная походка... Марисела?

Марисела! — кричу я. Светофор горит красным, машины несутся одна за другой. Марисела! Я узнаю эти розовые брюки. Она входит в здание. Я бегу следом. Но в подъезде ее уже нет. Я смотрю на меняющиеся цифры над лифтом: 2, 3, 4, 5. На цифре пять лифт останавливается. В подъезде воняет мочой. Стены заляпаны свежей штукатуркой — идет ремонт. Светильник без лампочки. Наверное, Марисела пришла к кому-то в гости. Не может быть, чтобы это был ее дом. Ее святилище. Марисела, которую я знаю, не может жить — здесь.

Лучше мне пойти домой. Никто не знает, куда я пошла. В этом доме мне тревожно. А если это не Марисела? Но я уже не могу остановиться. Я столько ждала, столько надеялась увидеть ее вновь. Мне хочется ее ударить, расцеловать, обнять. Спросить.

Я вхожу в лифт и нажимаю кнопку с номером «пять». Со мной вместе едет таракан размером с палец и запах дохлой крысы. Вдоль длинного и узкого коридора на пятом этаже идут бесчисленные двери, каждая со своей буквой. Каждая дверь звучит по-своему — музыка, голоса, собачий лай. Лампочки под потолком мигают, как на дискотеке, мешают смотреть. В поисках подсказки, стремясь услышать ее голос, я прижимаюсь ухом ко всем дверям по очереди. Но что я скажу ей, даже если найду? Мышцы каменеют, губы сжимаются. Я велю своим ногам бежать. Бегите! Вниз по лестнице, в подъезд и оттуда — домой. Но я не могу пошевелиться. Я жду.

Открывается дверь, и выходит девушка с мусорным пакетом. Она на несколько лет старше меня, гетры до самых коленок, она смотрит на меня в упор. Голову плотно облегает вязаная сетка, под которую убраны волосы. Должно быть, я ее напугала, потому что она кричит через плечо: Марисела!

Я впиваюсь глазами в тапочки у нее на ногах, в волнистый край платья.

Ты ее сестра? — спрашиваю я. Она очень похожа на Мариселу, только младше.

Мы что, знакомы?

Кто там у тебя? — кричит Марисела.

Я каменею и стою, будто язык проглотила, — только смотрю.

Ты сумасшедшая, да? — спрашивает девушка.

В дверях появляется Марисела, без косметики, потная и взъерошенная. Она отталкивает сестру в сторону и привидением встает передо мной.

Ана? Тебе здесь делать нечего.

Я бросаю взгляд в ее квартиру, там громоздятся коробки и большие черные мешки для мусора. Беспорядок, как у Хуана,

когда я только-только приехала. Но чтобы такое — у Мариселы? Я ожидала от нее большего.

Да кто это? — слышу я голос ее сестры.

Никто. Никто.

Сердце грохочет. В горле ком. Я обретаю ноги и бегу по коридору, придерживая живот, молясь на бегу, чтобы лифт еще не уехал. Дверь тяжелая, ее заело. Я тяну изо всех сил. Я топаю по полу лифта, руками обхватываю себя за плечи, потому что меня одолевает гадливость.

Я никто. Никто!

Боль в груди едва переносима. Я дышу коротко и неглубоко. Вся моя сила куда-то подевалась. Каждый шаг к дому дается с усилием. В этом городе все — притворство. Никому нельзя верить. Хуан мне говорил. И мама всегда говорила. Все шикарные наряды Мариселы — притворство, какая же я дура, раз не поняла этого сразу. Какая же лгунья. Воровка!

Я перехожу улицу и иду к Бродвею, к зданию, где теплая рука Боба открывает мне дверь, где лампочки светят ровным светом, а пол в подъезде сияет чистотой.

ВЕЧЕРОМ, КОГДА В КВАРТИРУ ВХОДИТ СЕСАР, Я ЛЕЖУ В ПОСТЕЛИ, подтянув ноги к груди, и только последний луч солнца тянется по одеялу тонкой полоской.

Сесар бросается ко мне.

Что с тобой?

Я проплакала почти весь день. Глаза покраснели и опухли, волосы спутались и сбились в колтуны, потому что я ворочалась туда-сюда.

Обед на плите, говорю я из-под подушки, накрывающей лицо. Не хочу, чтобы он видел меня такой, зареванной и в пятнах. Сколько слез я пролила, пока готовила суп из фасоли, — наверняка пере-солила.

Сесар сбрасывает ботинки и ложится рядом со мной. Обнимает меня сзади и приглаживает волосы, убирая их с лица. А мне все равно.

Расскажи мне все, говорит он тонким голосом, словно понимает, что сейчас мне нужнее всего сестра, Тереса.

Мне приятно его тепло. Мне хочется схватить его за руку, протянуть к себе и уснуть, уткнувшись в него, как засыпали мы с сестрой вечерами, когда мама задавала нам обоим трепку и отправляла в постель. Но вместо этого я поворачиваюсь к нему, беру за руку и смотрю прямо в глаза.

Я здесь совсем одна, говорю я. У меня нет подруг. Мне не с кем поделиться.

У тебя есть я. Я ведь здесь, чтобы заботиться о тебе, так?

Ты за Хуана. Если нужно будет выбирать, ты выберешь его. Что, не так?

Сесар обдумывает мои слова.

Ты назвал меня *vividora*. Ты правда так думаешь?

Да признайся же, это ты украла деньги Хуана.

Это из-за Мариселы, говорю я и снова рыдаю.

Не надо. Не надо. Не плачь.

А теперь ты скажешь Хуану, что я воровка. Ты ведь с самого начала был на его стороне.

Неправда, Ана.

Только не ври мне, все вокруг врут, хоть ты не ври. Я знаю про Каридад. Я знаю, что Хуан женился на мне только затем, чтобы Рамон и вы все смогли что-то построить на нашей земле.

Кто тебе сказал про Каридад?

Видишь, видишь? Ты и сам, наверное, с ней дружишь, и вы сидите и смеетесь надо мной, какая, мол, дуручка. Вы все такие расчетливые. Только и думаете что о делах и деньгах.

Но Рамон просто хочет помочь твоему отцу. Ты-то тут при чем?

А дурачок-то здесь ты.

Я хватаю подушку и луплю ею Сесара.

Стой, не надо, я же ничего не сделал.

Сесар спрыгивает с кровати. Я швыряю в него подушку, другую. Он уклоняется. Я озираюсь в поисках, чем бы еще швырнуть.

Слушай, ну хоть из-за Каридад не дергайся. Я в том смысле, что Хуан никогда не будет любить ее так же, как тебя. Она вообще из Пуэрто-Рико.

Да что ты говоришь! Между прочим, у всех твоих братьев жены оттуда!

Я хватаю радио и прицеливаюсь.

Ты что, разобьешь! — говорит он, округляя глаза, и делает дурацкую гримасу.

Я тебя ненавижу.

Марисела вернет деньги, клянусь. Я знаю, где она работает.

Вернет она, как же!

Он снова садится на постель. Протягивает мне бумажную салфетку из коробки, которую я держу на тумбочке.

А давай ты умоешься и посидишь со мной, пока я ем, говорит он. Ну пожалуйста.

Я просто хочу домой, говорю я от всего сердца.

Я всегда буду на твоей стороне, говорит он, клянусь.

Он, конечно, врет, просто мужчины не любят, когда женщины плачут. И все-таки его слова приносят мне утешение.

ГОЛОС ХУАНА ЗАДЫХАЕТСЯ В ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКЕ. С САМОГО своего приезда в Доминиканскую Республику, говорит Хуан, он мотался как сумасшедший, лишь бы все успеть. Хуану нужны документы о собственности на землю, но он успел обамериканиться, ему уже не найти выходы на тех, кто за умеренную мзду закроет глаза на незаконность происходящего. Даже его брат Рамон, оставшийся в Доминиканской Республике, чтобы держать руку на пульсе, и тот не в силах сбить непомерную цену, которую запросили за эти бумаги, — за такие деньги вся затея просто теряет смысл.

По ночам Хуан запирается на все замки, потому что, говорит он, только дурак полезет туда, где полно оружия. Оружие раздают прямо на улицах, люди сражаются с вооруженными войсками Рида Кабраля. За Кабралем стоят Соединенные Штаты, и на честные выборы надежды нет. Никому нельзя верить. Даже родным, говорит Хуан.

Хуан и его братья много лет посылали домой деньги. Эти деньги были предназначены для того, чтобы купить землю, выстроить ресторан, а над рестораном — целый дом с квартирами по числу братьев. Однажды они вернутся и будут жить в собственном доме, а может, передадут квартиру кому-нибудь из своих детей. Деньги утекают как вода из сломанного крана, и средствами на банковском счете братьев Руис поставили управлять Рамона. Без этого братья то и дело запускали бы руку в сбережения — тут десять долларов, там двадцать, — чтобы одолеть то одну, то другую загвоздку. Рамон самый пунктуальный из всех, все у него записано, и каждый гвоздь, каждая банка краски, каждый рулон туалетной бумаги на учете. Хуан, Гектор и Сесар который год работают на двух и даже трех работах и отправляют долю от своих заработков домой, где

Рамон покупает цемент, возводит стены, вставляет окна. Однако, когда Хуан приехал в Доминиканскую Республику и повстречался с Рамоном, который должен был стоять на страже семейного богатства, он понял, что дело нечисто. Хуан, Сесар и Гектор перезваниваются, не в силах поверить услышанному, и из их разговоров я узнаю, что Рамон совершил непростительное.

Приехав, поначалу Хуан решает, что все идет по плану. Ресторан обзавелся хорошей туалетной комнатой, тремя стенами и прочной крышей, на которой позже встанут еще два этажа на четыре квартиры по две спальни каждая. Хуан говорил с архитектором и с Рамоном, видел наброски для дальнейших работ над проектом. Архитектор сказал, что Рим не в один день строился и что этажи можно будет достраивать потом, по одному.

Затем наконец открываются банки, которые во время волнений были закрыты из соображений безопасности, и Хуан в тот же день говорит Рамону: хочу сходить в банк проверить наш счет.

Там сейчас черт-те что творится, говорит Рамон, все кинутся забирать деньги. Люди боятся. Но нам бояться нечего. Доминиканская Республика нужна Штатам. Они не позволят ей рухнуть.

Хуан стоит на своем: скажи мне все, что нужно, и я сам посмотрю документы. А если с тобой что-нибудь случится, а, Рамон? Пусть уж там все будет и на мое имя тоже.

Тебя все равно не пустят без меня.

Ну так поехали вместе.

Не могу, Долорес надавала мне поручений. Сама она даже в супермаркет боится выйти, написала целый список покупок.

Ну так высади меня у банка. Я отстою очередь, ты переделаешь дела, а потом подъедешь.

Ты что, не веришь мне? Ты меня оскорбляешь, Хуанито. Смотри, не зарывайся.

Рамон встает и нависает над Хуаном. В этой позе он очень похож на отца, смотрит — как пощечину дает.

Хуан тоже встает, и, хоть глаза его оказываются на уровне плеч

Рамона, телом Хуан вдвое шире брата. В доме они одни, и в четырех стенах они просидели слишком долго.

При чем тут недоверие, брат? Я просто хочу увидеть все собственными глазами.

Я вас хоть раз обманывал? Я же только о вас и думаю. Жизнь — дерьмо, ну хоть вы выпарабкаетесь. Кто, как не я, посоветовал тебе жениться на Ане? Без меня ты бы так и шлялся по глупым бабам, от которых одни беды. Без меня...

Не начинай, говорит Хуан, прижимая кулаки к бокам. Я хочу поехать в банк.

Потом он хватает с кофейного столика стакан и швыряет его в стену. Стакан разлетается, и в лучах утреннего солнца на плитке пола блестит стеклянное крошево.

В отличие от Хуана Рамон не теряет невозмутимости. Он выходит из дому и, никого не предупредив, уезжает далеко, на другой край острова. Даже его жена Долорес, в которую он влюбился, едва увидев, как она почесывает ступню на улице Калле-Вичиозо, и та не знает, куда он уехал.

Тут-то Хуан и узнает, что денег в банке нет. Рамон вложил их в какое-то другое дело и все потерял. Не на что больше строить первые квартиры над рестораном. Нечем платить за папину землю.

Я слушаю, сожалея, что нельзя переключить программу.

Бедный муж. Поначалу у него пропадают деньги, и он считает вором своего младшего брата, хотя на самом деле деньги взяла жена после того, как их украла ее так называемая подруга. А теперь предал и старший брат, которому муж верил. И потому, когда жена спрашивает, был ли муж у ее родни, а муж тяжело вздыхает и говорит: ну не надо, Ана, я и так делаю все, что могу, — я его понимаю.

МАМА ГОВОРIT, ЧТО ВРАГА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО И ЗНАТЬ, ЧЕГО он стоит. Раньше Соединенные Штаты поддерживали Трухильо, а теперь — Рида Кабрала. Ставленники еще ершатся, но Штаты знают, что их можно купить.

Марисела тоже знала, чего я стою. Когда мне нужна была верная подруга, она называла меня сестрой. Когда мне нужен был образец для подражания, она блистала нарядами и улыбками, говорила мне сделать то и это. Советы у нее не переводились. А когда я больше всего боялась Хуана, она скормила мне мою собственную жалостливую историю.

И вот когда Сесар возвращается после работы, я решаю, что теперь сама буду устанавливать себе цену.

Ты как-то говорил, что я могла бы продавать еду твоим друзьям. Ты это серьезно?

И тебе добрый вечер.

Он садится за стол и ждет, чтобы я подала ему ужин. В отместку за такое несерьезное ко мне отношение я усаживаюсь на салфетку, на которую обычно ставят тарелки, лицом к Сесару, ноги по обе стороны от его бедер. Обеими руками хватаю его за ворот и заставляю взглянуть мне в глаза.

Да что с тобой, Ана? Он едва сдерживает смех.

Что такое жизнь, Сесар? Зачем я здесь? Почему мы страдаем?

Но Сесар не Йонни, тот мог говорить часами напролет, уводя нас в дебри бесчисленных вопросов.

Можно я сначала поем, а?

Ты не Хуан, чтоб кормить меня завтраками, говорю я. Я хочу зарабатывать. Буду содержать сама себя, перевезу сюда родных. Так ты мне поможешь или как?

Сесар запускает пальцы в нагрудный карман и достает жетон на метро.

Чтобы проехать на метро, тебе понадобится вот такой жетон. Для начала готовь на тридцать человек. Лучше пусть не хватит, чем останется лишнее.

Я держу в руках золотой жетон с вырезанной на нем буквой Y. Он размером с четвертак, с ним я могу поехать куда угодно — на пляж, к статуе Свободы, в любое место в городе.

А теперь можно мне поесть спокойно?

После ужина он подробно объясняет мне, как добраться до фабричного района и найти его фабрику. Я записываю его указания в блокнот, полный новых слов на английском языке.

И запомни, води себя так, как будто точно знаешь, куда тебе нужно, и тогда никто не привяжется. Подбородок повыше, и не смотри в глаза.

Он кладет на стол карту.

Нью-Йорк — это остров. По обе стороны от него река. Улицы похожи на решетку, те, что «стрит», идут снизу вверх, а «авеню» — с востока на запад. Ты же деревенская девчонка, так что, если заблудишься, погляди на солнце.

В ДЕНЬ, КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ЕДУ В ЦЕНТР ГОРОДА ПРОДАВАТЬ

пастелито, тротуары сияют в лучах солнца. На груди и на лбу у меня блестят капли пота. Я несу большую сумку с пастелито, начиненными мясным фаршем с изюмом и завернутыми в фольгу. Сесар сказал, что их можно продавать по десять центов штука. Я сделала пятьдесят пастелито. Я быстро подсчитываю свой доход за вычетом расходов на поездки и продукты: за два месяца выйдет больше ста долларов.

В такой теплый день пастелито не успеют остыть. Сесар посоветовал мне быть у входа на фабрику ровно в полдень, чтобы перехватить идущих на обед рабочих прежде, чем они найдут другую возможность перекусить за отведенные им полчаса.

Я быстро иду к метро. Бросаю жетон в турникет и заранее намечаю эскалатор. Выхожу на платформу в сторону центра. Еду до станции на пересечении Двадцать восьмой и Седьмой. Прохожу четыре квартала до Тридцать второй, и вот она, фабрика Сесара, высокое узкое зданье близ двух пошире. Печка, так зовет свою фабрику Сесар, потому что запах ткани и пота там просто валит с ног.

Я стою у фабрики. Мимо бегут люди с тележками цветных платьев в пластиковых пакетах. Кричат из грузовиков мужчины, грузят в кузова и спускают наземь ящики, которые, того и гляди, угодят в «Эль Бейсмент». Гудят автомобили. Я не знаю, где встать, поэтому отхожу в сторонку.

Я еще не заметила Сесара, а он уже хватает меня за руку. За спиной у него кучка мужчин с обрывками ниток в волосах и бородах, все глубоко вдыхают свежий воздух, словно только что вышли из пещеры.

А это, ребята, моя сестрица.

Горячая штучка, говорит один.

Ты говори да не заговаривайся, хмурится Сесар.

Вдруг я оказываюсь в самом центре толпы.

В очередь, парни.

Я отдаю по два пастелито за раз, а Сесар принимает деньги и распоряжается.

Пара двадцать пять центов, деньги готовьте заранее!

Я не спорю с назначенной им ценой, хотя сама отдала бы и по десять центов штука. Но пастелито расходятся так быстро, что я даже не успеваю взглянуть покупателям в лицо. Минута, другая — и моя сумка пуста.

Простите, парни, в другой раз, говорит Сесар, забирая себе последние два пастелито.

Он ведет меня к скамеечке у стены здания и показывает: это — FIT, университет моды.

Эф-ай-ти, говорю я. Я тоже хочу учиться в университете.

Зачем тебе? Ты теперь богатая женщина.

Да? И где тогда мои деньги?

Сесар роется по карманам и перекладывает монеты мне в сумочку.

Целых шесть долларов, говорю я, быстро пересчитав монеты.

И что ты будешь делать с этим богатством? Он кусает пастелито и облизывает губы.

Пошлю денег сестре, чтобы она открыла студию красоты.

А завтра что приготовишь?

Мне за это ничего не будет?

Он, похоже, забыл, что, пока мы не получим документы, жить надо осторожно. Моя туристическая виза истекла давным-давно. Когда родится ребенок, я подам на постоянное проживание, и Хуан тоже. Потом я вызову маму под свое поручительство. А Хуан возьмет под поручительство Сесара. А я — Ленни и Йонни.

Это Америка. Ты продаешь — люди покупают. Оглянуться не успеешь, а у тебя уже целая сеть, как «Макдоналдс».

Ты витаешь в облаках, Сесар. Все не так просто. Посмотри, как сложно оказалось дома с рестораном. Сплошные убытки.

Да просто мои братья не знают меры. А ты не спеши, готовь себе потихоньку обеды. Потом заведешь тележку. Потом — магазин. Потом — целую сеть магазинов. Так понемногу и поднимешься.

Мимо нас бегут на обед люди в костюмах, с дипломатами. Я втягиваю щеки, пытаюсь походить на тех тощих моделек, которые ходят в огромных шляпах и высоко задирают носы. Они боги-ни. Странно, наверное, видеть сначала макушку, а уж потом глаза или даже улыбку. И как же здорово идти по улице с дипломатом, полным важных бумаг, и знать английский в совершенстве.

Меня зовут Ана... Я люблю смотрю телевизор... Я люблю учусь Эф-ай-ти... Я люблю сижу под солнце с Сесар.

Ты сегодня поздно? — спрашиваю я, звучит собственнически, ну и ладно.

А что? Уже соскучилась?

Мне ужин готовить?

Знал бы он, как я считаю минуты до его прихода, чтобы сесть вместе за стол, есть и говорить о том, что было днем, что нового я узнала у сестры Лусии, что случилось в очередной серии *Sogona de Lágrimas*.

Надо идти. Время поджигает. В следующий раз клади больше изюма. Предлагаю назвать твои пастелито «мини-аны» — они сразу и сладкие, и соленые. Смотришь и думаешь, что там под золотистой корочкой, кусаешь — ого! сюрприз! Вкуснотища, да и только.

Я смущенно хихикаю.

Чао-какао, говорит он.

Что?

Это по-американски.

МЫ С СЕСАРОМ РЕШАЕМ НЕ ГОВОРИТЬ ХУАНУ О НАШЕМ МАЛЕНЬКОМ бизнесе.

Конечно, когда звонит Хуан, мы смеемся и едва не выдаем себя. Я хлопаю Сесара по рукам кухонным полотенцем, чтоб молчал. Поворачиваюсь к нему спиной и кручу в пальцах витой телефонный шнур, стараясь, чтобы голос звучал серьезно и скучно.

Что вы там веселитесь? — спрашивает Хуан. Он не дурак.

Да так, говорю я. Какую-то ерунду по телевизору показали. Телефон доносит ответ с задержкой, и наша беседа сопровождается эхом.

Как у тебя дела? Как там вообще?

Черт его разберет. Все идет ужасно медленно, говорит он. По ночам эти психи с ружьями носятся. Учреждения сегодня открыты, завтра опять закрыты. Шум адский: вертолеты, громкоговорители, все орут о политике и торгуют всяким дерьмом. Эти типы собственную мать продадут, чтобы только попасть в правительство, а что из этого дальше выйдет — одни американцы знают. А я кручусь, чтобы не потерять хотя бы то малое, что у нас есть.

Документы. Документы. Документы. Хуану нужно выправить столько документов.

Скажи, что любишь меня, говорит он перед тем, как повесить трубку.

Я люблю тебя, говорю я и подмигиваю Сесару.

Мы ужинаем. Сесар буквально мычит за едой.

Ешь молча.

Сама виновата, что так здоровски готовишь, говорит он.

Вытерев рот, Сесар встает из-за стола и устраивается на диване,

широко раздвинув ноги. Наклоняется вперед, чтобы лучше видеть меня. Я сажу скрестив ноги, босые ступни под бедрами.

Иди сядь рядом, говорит он.

Ой, у меня столько дел.

Я вскакиваю, поворачиваюсь к нему спиной и начинаю убирать со стола.

Положи и иди сюда.

Я лихорадочно выискиваю какое-нибудь ужасно срочное дело, которое даст мне мгновение передышки. Что бы там между нами ни происходило, оно идет быстро.

Сядь на стул.

Сесар указывает на стул, стоящий напротив его дивана.

Мне хочется ему верить. Я одергиваю подол юбки и сажусь, крепко сжав ноги.

«Только не разочаруй меня, Сесар», — взглядом прошу я.

Он подтягивает стул к себе, так, что наши колени почти соприкасаются. Берет мою босую ступню и говорит: расслабься, сестренка.

Ну да, говорю я с облегчением. Мы же семья.

Его ладони обнимают мою ступню, большие пальцы мнут и растирают подошву ноги.

Щекотно, говорю я, ничего не понимая, мне и любопытно, и страшно.

Он мягко потягивает меня за пальцы, массирует икру вокруг колена. Руки у него твердые и уверенные. Кончики пальцев скользят по моей ноге вверх-вниз. Кожа идет мурашками, словно в комнате подул холодный ветер. Я задерживаю дыхание. Ребенок давит в самый низ живота. Влага между ног. Как хорошо, когда тебя вот так касаются.

Беременным ведь нравится, когда им растирают ноги?

Он кладет мою ногу себе на бедро и откидывается назад. Достает из-за уха сигарету, раскуривает и смотрит в потолок.

Ты не похож на своих братьев, говорю я, разглядывая треуголь-

ник кожи, который открывается над поясом его низко сидящих джинсов всякий раз, как Сесар поднимает руку, чтобы сделать за-тяжку.

В смысле?

Ну, к примеру, тебе плевать, что думают другие.

Это хорошо?

Он садится прямо, тянется ко мне, словно собираясь поцеловать. Набирает полный рот дыма и выдыхает его мне в лицо. Я кашляю.

Придурок, говорю я, разгоняя дым ладонью.

Хочешь, сходим на фильм с Брюсом Ли?

Прямо сейчас?

Я уберу на кухне, а потом пойдем в «Сан-Хуан», посмотрим кру-тую киношку с карате.

Я вскакиваю с места, с радостью ощущаю под ногами до-ски пола, такие теплые и надежные. Бегу к окну. У кинотеатра «Сан-Хуан» уже собираются посетители, слышен визг и смех. Женщина опускает голову на плечо бойфренду. Подростки це-луются долгим поцелуем. Матери держат за руки детей. Сколько счастья в этой очереди за билетами. Подумать только, ведь всего несколько месяцев назад в зале «Одубон», сразу над «Сан-Хуа-ном», умер человек. Здание было — один большой алтарь. Но так уж устроен мир, все на свете забывается.

Сесар встает у меня за спиной и смотрит на «Одубон», дышит мне в шею. В груди что-то поднимается, колени обмякают. Он бе-рет меня за руку, произвольно и мимолетно касаясь пальцами груди. Сесар, мой брат, мой самый близкий друг. Я гоню прочь бие-ние крови между ног и вставший в горле ком.

КАК ЭТО, ЧТО ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ? СПРАШИВАЮ Я У ЙОНИИ ПОСЛЕ того, как застаю его на коленях. Хуанита стоит, прижимаясь спиной к бетонной стене. Его губы между ее ног. Глаза у нее закрыты, подбородок смотрит в небо, руки направляют его голову. Они ушли поплавать, одни, подальше от остальных, оставшихся лениво лежать на берегу, а потом спрятались от нас за купой пальм.

Мы на пляже в Лос-Гуайаканес. Мы слопали целую кастрюлю спагетти. Сегодня нас много, потому что мама отпустила даже Хуаниту, которую обычно старается держать подальше от Йонни.

Йонни вручает мне персик.

Откуси, говорит он.

Кожица лопается под зубами, и во рту взрывается душистая сочная мякоть.

А теперь прижмись губами внутри.

И он показывает на истекающую соком внутренность персика.

Ну, давай, прижмись губами и слегка поводи туда-сюда.

Ты рехнулся, что ли?

Ты же сама спросила, что я чувствую.

На губах сладость; сочная мякоть то ускользает, то просится в рот. Я лижу ее, касаюсь языком косточки. Отнимаю персик от лица.

Теперь понимаешь, за что я люблю персики, говорит он, подмигивая в своей обычной манере.

Солоноватые такие персики, в капельках пота.

Перестань ты это, с Хуанитой, говорю я, не то мама вам задаст.

Не волнуйся, сестренка, у меня свои планы.

Да ну?

А ты думала, я собираюсь всю жизнь просидеть на месте, дожи-

даясь, чтобы кто-нибудь спас меня из этой дыры? Я же не такой красавчик, как ты, говорит он.

А я и не жду.

Да я не об этом, просто уже очень-очень скоро я уйду и не оглянусь. Попытаю удачи в Нью-Йорке или еще где-нибудь. Заработаю кучу денег. Буду пить в Нью-Йорке воду прямо из-под крана. Представляешь?

ТОРГОВЛЯ ОБЕДАМИ ИДЕТ ТАК ХОРОШО, ЧТО СЕСАР ПОТЕРЯЛ СОН.

Все думает о том, что надо расширяться.

Солнце еще и не думает вставать. Просыпайся. Просыпайся! — зовет он меня в темноте.

Что такое?

Он включает лампу. Свет режет мне глаза. Кружится голова, уходит сон: Йонни выбегает на дорогу и бежит прочь от нашего дома, вот только дорога больше похожа на бурную реку с валунами, и он скачет с камня на камень, неся что-то в руках. Вернись! — кричит ему вслед мама.

У Сесара на шее красный шарф, через плечо переброшена длинная белая юбка. Я трогаю пальцами полупрозрачную хлопковую ткань, разматываю портновскую ленту, которой Сесар обмотал шею, выкатываюсь из постели и иду вслед за ним в гостиную. В гостиной до сих пор горит свет, на самом видном месте стоит швейная машинка, а на кофейном столике раскинулся флаг Доминиканы, который Хуан обычно держит сложенным в шкафу вместе с костюмами.

Это что, карнавал?

Мы разбогатеем, говорит он. Таким я его еще никогда не видела. Успокойся. Ты меня пугаешь.

Билет на Всемирную выставку стоит два доллара. Значит, четыре на двоих. На ярмарку каждый день приходит полмиллиона человек, и я готов спорить на что угодно: они в жизни не пробовали пастелито.

Я стягиваю волосы в узел на макушке. Я плескаю водой в лицо, чтобы смыть образ Йонни в потоке. Куда он шел? Я старательно слушаю Сесара, но меня упорно преследует взгляд Йонни — его, но

какой-то чужой. Там, дома, мальчишки бегут на улицы. Хоть бы Йонни хватило благоразумия.

Все еще в полусне я тащусь на кухню и наполняю кофейник водой — сколько же воды было в том потоке. Засыпаю в кофейник кофе.

В прошлом году, говорит Сесар, в рядах, где продавали еду, была тоска зеленая. Все потом жаловались.

Думаешь, белые станут есть пастелито?

Сесар сбрасывает пижаму и примеряет пару белых хлопковых брюк с белой же рубашкой. Из-под ворота рубашки торчит красный шарф. Сесар жмет кнопку магнитофона, включает перико рипиао, самую старую разновидность меренге, и начинает двигаться, как танцор былых времен. Руки он держит за спиной, ноги ударяют в пол.

Ой, мистер О'Брайен рассердится. Рано же еще.

Сесар сдергивает с высокой полки соломенную шляпу с воткнутым в нее флажком и водружает себе на голову.

А в доминиканском павильоне вообще продавали только ром.

У Доминиканской Республики есть свой павильон?

Я шарю по шкафам в поисках новой коробки овсянки. Нюхаю коричневые палочки, высыпаю на бумажное полотенце несколько бутонов гвоздики. Ножом открываю жестянку сгущенного молока.

Смотри сюда. Он встряхивает в руках платье, держит, будто на вешалке. У платья белые оборки по вырезу, эластичная лента в поясе и широкая длинная юбка.

Какая красота! Я выхватываю у него платье, прыгаю к зеркалу в прихожей и прикладываю платье к себе.

Поприветствуйте мисс Доминиканская Республика, говорю я своему отражению. Машу рукой и улыбаюсь. Сесар протягивает мне ладонь, выводит на клочок свободного пространства между кофейным столиком и диваном и, чуть согнув колени и ссутулив плечи, танцует самым старомодным образом, и я следую за ним, взмахивая юбкой и встряхивая плечами.

Свистит кофейник.

Кофе! Я бегу спасать его прежде, чем убежит, — но уже поздно.

Нет, посмотри, что ты наделал! — кричу я Сесару. Придется теперь Мисс Доминикане отмывать плитку.

Плевать на плитку. На Всемирной выставке мисс Доминикана продаст полмиллиона пастелито!

Он хватает искусственную розу из вазы на полке и зажимает в зубах.

МЫ ВСТАЕМ В ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА И ПРИНИМАЕМСЯ ЖАРИТЬ

пастелито для ярмарки. У Сесара есть десять долларов, этого хватит на триста пастелито. Если продать их все, получится семьдесят пять долларов. На одном и том же масле приходится жарить по меньшей мере пять порций, куда больше, чем мне позволяет совесть, но заработок требует жертв. Я перекладываю слои пастелито бумажными полотенцами. Сколько они протянут, пока не размякнут? Кто их купит?

Послушай, Сесар, а двадцать пять центов — это не слишком дорого?

Ана-Банана, мой босс сказал, что на выставке за простую сосиску просят двадцать пять центов. За сосиску из собачатины. А мы еще и нарядимся. Сделаем вид, что мы тоже с выставки.

А у нас проблем не будет?

Это с твоим-то *panza** да моей улыбкой?

Я видела рекламу Всемирной выставки по телевизору. Человек в космическом скафандре над головами у публики. Африканцы в масках бьют в барабаны и танцуют. Прокатись в мир динозавров; выставка роскошных автомобилей со всего мира. Планета будущего, весь мир от Испании до Индии, от Италии до Гонконга — сегодня в Куинсе!

А если нас поймают полиция? — говорю я. У меня нет документов.

Не волнуйся, Ана-Доминикана. Я знаю, что делаю.

Мы садимся на поезд в центр, потом пересаживаемся на седьмой

* Живот (исп.).

номер, он такой красивый. Вагоны выкрашены в цвет морской волны и серый, как сталь, и от этого поезд походит на сойку. В каждом вагоне по полисмену. Полиция на каждой станции. Люди в поезде разглядывают нас так пристально, что у меня дрожат коленки. Такие туфли носят медсестры, Хуан нашел их в каком-то мусорном баке, но я хорошенько их вычистила, и теперь они как новенькие. Подол юбки, слава богу, достает до самого пола. Надеюсь, что роза, которую Сесар воткнул мне в волосы, отвлекает внимание от моих уродливых ног. Ступни и щиколотки у меня распухают так, что слону впору, и только в эти туфли я еще хоть как-то могу влезть. А я сначала жарила, потом оттирала жир со стен, так что стоять пришлось много.

Настоящая доминиканская принцесса, говорит он.

С ним так весело играть в карнавал. Он и сам одет как пришелец из прошлого, из времен наших родителей, решивший заглянуть в будущее.

На входе на выставку протестующие суют нам листовки, кучу листовок.

НЕТ ВОЙНЕ!

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА — ДЛЯ МИРА, А НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ.

ДОЛОЙ ЗАКОНЫ ДЖИМА КРОУ.

Сколько здесь людей! Но мы пришли в национальных нарядах, хоть контролер и косится с сомнением на наши тяжелые, укрытые полотенцами корзины. Очередь слишком велика, задерживать нас никто не станет, поэтому Сесар говорит: Доминиканская Республика, и эти слова, как ключ, открывают перед нами дверь.

На входе нашим изумленным взглядам предстает огромный земной шар. Он выше здания, в котором мы живем, он так велик, что его видно со всех концов парка. Где на этом глобусе Доминиканская Республика? Фонтаны выбрасывают пенные струи. Плещут на ветру флаги всех стран, что представлены на выставке.

Пошли, тянет меня за рубашку Сесар. Возле павильона с едой будет лучше продаваться.

Он повязывает доминиканский флаг на шею как плащ и ставит мне на голову ту корзину, что поменьше. Корзину побольше он несет сам.

Проезжает повозка, запряженная лошадьми. Дети тычут в нас пальцами. Туристы фотографируют нас.

Сесар велит мне улыбаться.

Я тебе не кукла, раздраженно шепчу в ответ я.

Пастелито! Пастелито! — выпевает Сесар, как распевает дома крестьяне, торгующие фруктами и овощами с тележек. Он сияет улыбкой, смотрит по сторонам, как будто едет на главной платформе во главе какого-нибудь парада.

Пастелито! Двадцать пять центов!

Люди проходят мимо. Никто не клюнул на наживку.

Я уже чувствую себя усталой. В последний раз я носила на голове бадью с колодезной водой. Но она была меньше размером, а я не была почти шесть месяцев как беременна. Я больше не чувствую себя актрисой в роли деревенской девчонки, я не Ана-простушка, которая идет в будущее вместе с Америкой, — будущее уже здесь, оно подрастает у меня в животе.

Я опускаю тяжелую корзину на землю, разминаю шею и ищу взглядом траву, чтобы можно было сесть и вытянуть ноги.

Мы же только-только пришли, Ана, давай сюда.

Сесар шумно втягивает воздух и берет мою корзину.

Просто маши и улыбайся. Надо идти. До павильона с едой уже недалеко, а там куча голодного народа, которому неохота стоять в очереди, — все к нам пойдут.

Я иду мимо японских гейш, китайских барабанщиков, индийских факиров, испанских гитаристов и еще сотен и сотен людей.

Я повыше поднимаю подбородок и машу всем вокруг, натянув на лицо ту самую улыбку, которую усвоила с Хуаном, с Мариселой,

на занятиях английским, с соседями, с консьержем, в письмах домой.

Пастелито, двадцать пять центов, кричит Сесар.

Мы останавливаемся передохнуть и стоим как две цирковые обезьянки.

Сюда! — говорит кто-то по испански.

Еще несколько футов, и мы подходим к мужчине с семьей.

Откуда вы? Он говорит со смешным акцентом.

Доминиканская Республика, сэр. Сесар приподнимает полотенце, которым укрыта корзина.

Давайте пять штук на доллар.

Я вижу клочок травы. Наконец-то можно сесть. И еще мне нужно в туалет.

Откуда вы? — спрашивает Сесар мужчину.

Из Испании. У меня был дом в Доминиканской Республике. Каждое лето туда ездили, но эта проклятая война...

Сесар передает ему пять пастелито и берет доллар. Быстро укрывает корзину полотенцем от мух. Дети прыгают и тянутся к угощению, но отец вдруг смотрит, словно сквозь слезы.

Павильон Испании — жемчужина этой выставки, знаете?

Конечно, говорит Сесар.

Мы бежали из Испании из-за Франко. Но все равно приходим сюда, в этот павильон, чтобы не так тосковать.

Сесар, можно мне на минутку присесть? — спрашиваю я.

Прошу прощения, говорит он мужчине, касается края шляпы и поворачивается ко мне.

Ана, надо идти. Один я не справлюсь.

Сесар недоволен. Он потратил четырнадцать долларов, и нам еще только предстоит окупить затраты. Я должна ему помочь. Но солнце безжалостно жарит, и в воздухе ни ветерка.

Пастелито, вяло говорю я. Но несколько покупателей все-таки находится.

Мисс, мисс! Можно с вами сфотографироваться?

Ко мне идет белая женщина старше меня. Трогает розу в моих волосах.

Мальчик! — зовет она Сесара и жестом просит стать рядом со мной и повернуться спиной к камере, чтобы лучше был виден флаг.

Вместо этого Сесар ставит перед собой корзину и откидывает полотенце, показывая женщине пастелито. Неудобно смотреть, как услужлив делается Сесар перед этой женщиной.

Двадцать пять центов, мисс.

Поняв, что фотографироваться он не хочет, женщина поворачивается к мужу и говорит: какие мошенники! Только денег им подавай. Она говорит достаточно громко, и я узнаю этот тон, так Хуан рассуждает о черных, пуэрториканцах, евреях, американцах, обо всех, кто не доминиканец.

Пожалуйста, Сесар, пусть леди сделает фото.

Он встает рядом, и мы становимся похожи на фигурки на свадебном торте. Вокруг собирается толпа.

Леди вручает мне доллар и велит улыбнуться на камеру.

Я улыбаюсь и стараюсь стоять неподвижно, не обращая внимания на толпу туристов с фотоаппаратами. Зачем им наши фотографии? Что они с ними будут делать? Если Хуан увидит...

Вспышки слепят меня.

Я вновь ставлю корзину на голову. Судя по опущенным плечам Сесара, мы оба чувствуем какую-то утрату.

Пастелито! — громко распеваю я, потому что Сесар вдруг умолкает. Улыбаясь шире прежнего, я вручаю покупателям пастелито, в карман, который вшил в юбку Сесар, падают деньги, и тогда я улыбаюсь еще шире.

Продав товара на семнадцать долларов, я спрашиваю Сесара, нельзя ли нам посидеть немного на лужайке у Международного павильона, на нетронутой мягкой траве. Почему никто больше не сидит на этом прекрасном лугу под деревьями, в благословенной тени? Моим ногам нужен отдых. Еще нужно переложить пастелито, поесть самим и отправить Сесара за водой. Может быть, даже

удастся сходить в туалет. Терпеть становится больно. Щиколотки, должно быть, уже стали толще коленей. И это еще только шесть месяцев — что же будет на девятом?

Сесар снимает завязанный вокруг шеи флаг и кладет на траву.

Садись сюда, говорит он. Как ты?

В его взгляде я вижу собственный мутный взгляд, темные круги под глазами, запекшиеся губы и лоб весь в капельках пота.

Нормально. Хочу пить. Я выдавливаю еще одну улыбку.

Он бежит к тележке сосисочника и покупает кока-колу.

Не знаю, где у них тут вода, говорит он. Отвинчивает крышку с бутылки и прикладывает горлышко к моим губам. От холодной сладости у меня разом прибывает сил.

Туалет. Мне нужно, говорю я, оторвавшись от бутылки.

Может, тебя пропустят без очереди. Подожди тут.

Он убегает. Я смотрю, как он ныряет в толпу и снова выскакивает в поисках какой-нибудь доброй души, которая согласится оказать мне услугу. Я схожу с флага, сбрасываю туфли и иду босиком по траве. Приседаю, чтобы дать отдых спине, чтобы вес ребенка пришелся на бедра. Как же я устала. Закрываюсь юбкой, закрываю глаза, словно так можно стать невидимой, подставляю лицо Богу в солнечных лучах и писаю, не снимая трусиков, в траву, словно собака, метящая территорию. Накатывает облегчение; напряжение многих часов наконец-то уходит. Я свободна. Я прошу Бога защитить меня и благодарю его за свою широкую юбку. И за бесчисленных людей, которые входят в павильон и выходят, не обращая на меня никакого внимания. За то, что я невидимка.

Едва открыв глаза, я с изумлением вижу, как надо мной летит человек с реактивным ранцем за спиной. Прямо как в телевизоре.

Неужели скоро мы все научимся летать?

Я высматриваю ярко-белую рубашку и брюки Сесара. Вдали стучат барабаны. Играет аккордеон. Еще один барабан звенит металлом. Я слушаю, как наперебой шипят взлетающие струи фон-

танов, сигналият, сдавая назад, мототележки, визжат дети. Я встаю. Тяжесть хлопковой ткани укрывает ноги. Я подтягиваю к себе обе корзины. Прикрывшись ими как щитом, я снимаю трусы, сую их в целлофановый пакет и сворачиваю комочком, чтобы потом выбросить. Иду к бортику ближайшего фонтана и мою руки.

Пастелито, выпеаю я проходящим мимо и пожинаю плоды собственной находчивости. Прошло два с половиной часа. Обеденное время осталось позади. Сумеем ли мы продать все, что наготовили?

Мисс! В спину мне тычется толстая деревянная палка.

Я вздрагиваю. Полисмен. С пистолетом на поясе.

Меня зовут...

Ана! — вскрикивает Сесар в нескольких футах у него за спиной.

Сесар! — кричу я, он подбегает и хватает меня за плечи.

Так, детишки, ну-ка прочь с лужайки, говорит коп. По траве не ходить.

Мы с Сесаром хватаем корзинки и спешим прочь по бетонной дорожке.

Полисмен поворачивается к нам спиной и отчитывает другую парочку, устроившуюся неподалеку.

Мы бродим по всему парку, время от времени присаживаясь отдохнуть на скамейку.

Совсем размякли. Теперь только даром раздавать, говорю я. Внутренняя поверхность бедер стерта до мяса. От жары путаются мысли. Давай поедem домой, там можно в душ.

Нельзя сдаваться. Сесар сбрасывает со скамьи бумажный стаканчик и протирает ее, чтобы я могла сесть. У моих ног он ставит корзины.

Я больше не могу, говорю я и боюсь, вдруг я его разочарую. Умру, если сделаю еще хоть шаг.

Мы заработали тридцать шесть долларов пятьдесят центов, минус четырнадцать долларов потраченных.

Мы молодцы, да? — говорю я и вдруг начинаю плакать.

Сесар садится на корточки между моих ног, становится на колени, обнимает ладонями мои щеки.

Ну что ты? Что случилось? Рукавом рубашки он вытирает мне слезы.

Я, я просто... Я так устала.

Его брюки и край моей юбки зелены от травы и серы от грязи. Мне хочется сказать: давай поедem домой. Бог с ней, с оставшейся сотней пастелито в корзине. Пусть остаются голодным, бездомным, которые спят на скамейках после закрытия парка.

Эй, посмотри, говорит он. Солнце садится прямо за глобус.

Сесар выскакивает на середину узкой дорожки. Наклоняется и становится так, словно несет земной шар на спине. В конце концов я смеюсь.

Потом он хватает корзину и кричит: пастелито бесплатно! Бесплатно! Касаясь пальцами шляпы, он танцует под одному ему слышную музыку меренге, напоказ, для всех — для меня. К белым дамам он обращается «красотка», к мужчинам постарше — «босс». Когда корзинка наконец пустеет, он подбрасывает ее и надевает поверх шляпы. Дети хлопают в ладоши, и я хлопаю с ними.

Хватит! — смеюсь я, щеки и все внутри болит от смеха, а он падает на скамейку рядом со мной, обхватывает меня и обмякает как тряпичная кукла.

А теперь побудем туристами, говорит он.

Постой, куда это мы?

В Ватикан.

Опустевшие корзинки остаются стоять за скамейкой, а он подхватывает меня на руки. Я крепко держу его за шею. На висках у него капли пота.

Надорвешься же! — говорю я, придерживая живот, хотя в его руках я кажусь себе такой легкой.

Мы глазеем на исполинского робота-динозавра и на колесо обозрения.

Интересно, а мы когда-нибудь научимся летать, говорю я, и говорить как бы по телефону, но так, чтобы видеть друг друга?

А в отпуск будем летать на Луну, Ана-Маньяна. Идем такие по Луне, представляешь?

Только не в этих нарядах, говорю я.

У павильона Ватикана он наконец ставит меня на ноги. Движущаяся дорожка катится со скоростью две мили в час. Мы стоим на самом краю, мимо медленно проплывает большая белая статуя Девы Марии с телом Иисуса, уже после распятия. В голубом свете и она, и он кажутся привидениями. По крайней мере мы отбили затраты, говорит Сесар, и даже заработали немного сверху.

Я, кажется, теперь даже до метро не дойду, говорю я.

Поедем на такси. Я Кинг-Конг!

Сесар вновь подхватывает меня на руки, словно Мария Иисуса — вот только я жива, я на самой вершине мира, и будущее уже здесь, и я уже одной ногой в этом будущем.

ЧАСТЬ V



Я БОЛЬШЕ НЕ ПРОШУ У СЕСТРЫ МАРТЫ ЛУСИИ ПОЗВОЛЕНИЯ сходить в туалет. Она приветствует меня, спрятав руки в рукавах черного платья, наклоняет голову и лишь улыбается так, словно моя беременность — грех. Мне хочется объяснить, что я замужем, но она не позволяет говорить по-испански. Пожалуйста, говорите по-английски.

Ученики учатся здороваться:

Доброе утро. Как поживаете?

Спасибо, хорошо. А вы?

Еще я выучиваю «который час?» и «где находится автобусная остановка?».

Мы учим цифры и названия монет: пенни, никель, дайм, четвертак. Учим стороны: право, лево, впереди, сзади. Вверх, вниз, стой, иди. Слова, которые могут спасти: опасно для жизни, не входить, выход, помогите, скорая помощь.

Прошу прощения. Все в порядке. Больно. Части тела: локоть, плечи, ноги, руки. Цвета: красный, синий, зеленый, желтый. Церковь, больница, продуктовый магазин, названия овощей и фруктов, которые я не покупаю и не ем: брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, киви. Сколько новых слов мы узнаем каждую неделю. Два с половиной часа занятия пролетают как один миг.

В хорошую погоду сестра Лусия частенько ведет занятия на улице. Чтобы знать язык, надо знать культуру, говорит она, а для того, чтобы знать культуру, необходимо с ней соприкасаться.

Готовы? Она хлопает в ладоши, и следом за ней мы идем в парк на пересечении Сто шестьдесят шестой и Эджкомб-авеню, где играют дети, где качели, горки, скамейки и много-много раскидистых деревьев.

Так, отлично.

Я жду указаний от сестры Лусии. Кто готов испытать качели?

Я, говорю я.

Ты уверена? И она ищет другого добровольца.

Но я хватаю цепочку качелей и устраиваюсь на узкой деревянной доске. Пальцы ног едва касаются земли. Я беременная, но не инвалид же.

Хорошо, говорит сестра Лусия. И уже ученикам: Ана сидит на качелях. Когда я ее раскачаю, скажите: Ана качается на качелях.

Ана сидит на качелях, хором говорят ученики.

Сестра Лусия раскачивает качели. Я взлетаю в воздух. Я крепко держусь за металлические цепочки и так хохочу, что боюсь опуститься. Ученики хохочут со мной вместе.

Ана качается на качелях! — говорят они.

Смех — это радость, говорит сестра Лусия. Ана смеется. Мы все смеемся.

Когда смех утихает, говорит нам, что, даже если от игр на детской площадке они чувствуют себя глупо, даже если им неловко, главный урок таков: даже если боишься ошибиться, все равно нужно говорить. Человек учится на ошибках.

Мне хочется без конца качаться на качелях, собирать листья, смотреть на птиц, слушать их названия: дятел, голубая сойка, кардинал.

Я показываю на птицу, которую знала еще в Лос-Гуайаканес, и спрашиваю сестру Лусию: как называется?

Колибри.

Ко-либ-ри, повторяю я про себя снова и снова.

Тут вдруг сестра Лусия хлопает в ладоши — сигнал, что на сегодня урок окончен. Она раздает нам листки с новыми словами, которые мы выучили. Я иду за ней, машу на прощание. Может быть, сестра Лусия уходит помолиться? Интересно, а что она делает, когда никто не видит, — снимает облачение, курит сигары? Так делали монахини в Лос-Гуайаканес. Я не смею сказать ей, что, когда

приедет Хуан, мне, наверное, нельзя больше будет приходиться к ней учиться. Когда Хуан звонил в прошлый раз, то сказал, что вернется через неделю-другую. Когда и если найдет подходящий рейс.

Бои почти закончились, говорит он.

А наши начнутся заново. И она опять будет дышать в трубку. Я больше не смогу учить английский. Не буду продавать еду друзьям Сесара.

После занятий мы с еще несколькими ученицами стоим вместе, и я угощаю их пастелито. Мы знаем всего несколько слов по-английски и мало что можем друг другу сказать, но нам нравится быть вместе. Кто-нибудь всегда приносит угощение. Всякие странные штуки: пухлые, как губка, булочки с вареньем внутри или сладкий слоистый десерт с медом.

По дороге домой я угощаю пастелито стариков, которые днем находят прибежище под раскидистыми кленами и кормят птиц в сквере у церкви. Ночью в этих скверах опасно.

Не вздумай соваться в Эджкомб, Амстердам и Сент-Николас, предупреждал меня Хуан — однажды его ограбили по пути от парковки в Эджкомбе. Стоя под фонарями на Бродвее, я представляю себе, как он переходит Авенида Индепенденсия, и тут его сбивает машина. И как самолет, в котором летит Хуан, падает в море. А потом — как воздушный шар уносит его ввысь и тает в небе.

ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА МАМА СЕРДИТСЯ, НАЧИНАЕТСЯ УРАГАН. ВСЕ думают, что дело тут в капризном доминиканском климате, но мы-то знаем: когда до мамы доходит, что пальцем беды не раздавишь, она принимается вопить, да так сердито, что от ее крика небо падает.

Изнуренные боями и бессонными ночами повстанцы радуются долгожданному отдыху. Ураган несет с собой передышку — до войны ли тут, когда ветер рвет крыши с домов? Пусть ведут безнадежный бой со стихией те, кто все эти месяцы держался в стороне и смотрел, как на глазах у них гибнут подростки. Бурные потоки сбивают людей с ног, пальмы из последних сил цепляются корнями за землю. В городе хаос.

Те, кто наслышан о маме и о ее сверхъестественной способности, перешептываются в барах и салонах красоты, спрашивая друг друга, что же это так ее взбесило, что она устроила такую свистопляску.

Три дня непрекращающегося ливня, а всему виной один сонный вечер. После сытного обеда и ленивой сиесты Йонни вслух говорит о том, что мама давно уже подзревала.

Я до смерти люблю Хуаниту.

А как же Нью-Йорк? — громыхает мама. Ты же хотел туда поехать?

Без нее я никуда не поеду!

Сначала Тереса со своим голозадом, теперь ты?

Мама разумная женщина, ей следовало бы спохватиться раньше. Но мало ли двоюродных братьев и сестер в детстве делят одну комнату и кровать — вот и у Хуаниты с Йонни та же история. Поиграют, потрутся друг о друга, да и перерастут. Только в Лос-

Гуайаканес не так-то много других занятий, даже с соседями не часто поболтаешь.

Мама устроила Хуаниту постоянной служанкой в дом на дальнем конце столицы. На один рот меньше за столом. На одну тревогу меньше на плечах. Пройдет время, Йонни обо всем забудет и найдет другую юбку, чтобы за ней волочиться. Мама знает точно. У парня ведь ни машины, ни мотоцикла, да чего там — приличной пары обуви и той нет.

Но упрямец Йонни не сдается. Он быстро заводит знакомства с солдатами-янки, которые патрулируют территорию на своих грузовиках. Столица в огне, повсюду смятение и хаос, и так называемые миротворцы рыщут повсюду в поисках коммунистической заразы. Они-то знают: на москита, который жужжит у лица, всегда есть еще один, который затаился и непременно укусит. Но об укусе вы узнаете только потом, когда зачесется, когда бить кусачую тварь будет уже поздно.

Йонни называет янки друзьями. Подкупает их травкой, мамахуаной, знакомит с местными женщинами, которым нужны виза или деньги. Взамен янки обещают ему визу в Нью-Йорк. В иные дни Йонни пробирается домой после начала комендантского часа и приползает усталый и обессиленный.

При виде вооруженного человека в форме мама разом теряет всю свою воинственность — Тересин Эль Гуардия не в счет, — но все эти делишки, которые Йонни проворачивает на пару с янки, наполняют ее дурным предчувствием. Может, он шпионит для них? Может, она сделала только хуже, когда отослала Хуаниту? Может быть — может быть! — если отправить Йонни в Ла Капиталь по какому-нибудь делу, янки найдут себе другого простачка на побегушках?

А Хуан все никак не доедет, не довезет подарки и письма из Нью-Йорка.

Значит, так, говорит однажды утром мама Йонни. Поезжай в столицу.

Она бросает ему ключи от мотоцикла и сует в карман рубашки пару сложенных банкнот.

Заберешь то, что привез Хуан. Хочешь — можешь повидать Хуаниту.

Что, правда?

В Ла Капиталь поутихло. Худшее позади.

Йонни берет записку с адресом Хуаниты и целует бумагу.

Ну да, ну да, говорит мама. Кто я такая, чтобы вставать на пути у любви?

Я НАКОНЕЦ-ТО ДЫШУ В УНИСОН С ГОРОДОМ. Я СЛЫШУ ЗВУКИ музыки. Пожарная сирена, полицейская, сигналиит автобус на остановке, сдает задом мусоровоз, и еще, и еще. Поначалу все это казалось так громко, почти невыносимо, всякий раз пугало, но теперь эти звуки стали так же приятны, как голос радио, или телевизора, или дома, в котором много людей. Вот почему в Нью-Йорке так много людей живут сами по себе — в шуме города они не одиноки.

Сесар может проспать все на свете. По воскресеньям он не работает, отдыхает и находится полностью в моем распоряжении, но ждать, пока он проснется, приходится долго. Сегодня мы собирались идти на пляж. Мне очень хочется прыгнуть на него, как это делал Ленни, желая завладеть моим вниманием. Прыгнуть, побороться с ним в кровати, победить его, прижать руки коленями и держать, пока он не сдастся.

Я стараюсь не смотреть на веснушки у Сесара на носу, от солнца они становятся ярче. Всякий раз, когда он смотрит на меня так, словно готов выполнить любой мой каприз, мне становится больно. Нет ничего невозможного, говорит он, даже когда в его глазах читается напряжение. Как он не похож на других. Стоит кому-нибудь споткнуться, и он хохочет как дьявол, но песня или добрый жест способны в ту же минуту растрогать его до слез. Я изо всех сил стараюсь не поддаваться исходящему от него запаху душистых пряностей и сигарет, которыми пропахла теперь вся квартира.

Закипает кофе, небо из алюминиево-серого становится теплым багровым, а потом ярко-голубым, Сесар вскакивает с постели и спрашивает: какой сегодня день?

Воскресенье. Мы собирались на пляж, помнишь? Мне хочется

сходить прежде, чем я совсем распухну, иначе меня будут принимать за кита.

Теперь мне приходится носить рубашку Хуана на пуговицах, а под ней — его же футболку, которая сейчас обхватывает мой живот. Юбка уже не застегивается до конца.

Сесар хлопает себя по щекам, чтобы проснуться, потирает свежую поросль на подбородке.

Я уже уложила в пляжную сумку два банных полотенца, маленький кулер с водой, яблоки и бананы.

А сэндвичи класть?

Нет, говорит он, у меня для тебя будет сюрприз.

Мы спускаемся в метро и едем на Кони-Айленд. Дорога до Бруклина занимает больше часа. К счастью, все проходит гладко. Послушать новости, так ездить в метро просто опасно для жизни. Чаще всего на людей нападают подростки, мои ровесники. Им отчаянно хочется быть услышанными. Мы едем так долго, что я засыпаю на плече у Сесара. На станции «Стиллвелл» Сесар поднимает нашу сетчатую пляжную сумку и ведет меня по дощатому настилу мимо стендов с играми, жонглеров, кучек людей, одетых петухами и павлинами. Мимо билетной кассы, мимо «Колеса чудес» и «Циклона».

Ух ты! Я подсчитываю аттракционы. Двадцать или даже больше.

Закрой рот, муха залетит.

Далеко еще?

Не переживай.

Он тащит меня сквозь толпу. Наши потные руки то и дело соприкасаются, сталкиваются. На мостках множество людей, они катаются на роликах, танцуют, целуются. Я читаю слова на магазинных вывесках: «Хубба-Хубба», «У Натана», «У Каролины». Где-то неподалеку заводит свою песенку фургон с мороженым.

Давай сядем тут? Или там, говорю я, пока Сесар неторопливо взвешивает имеющиеся варианты.

Какая ты лентяйка, говорит он.

Я беременная женщина.

Вот оно что, а я-то думал, ты за завтраком арбуз проглотила.

После того раза на Всемирной выставке я очень недоверчиво отношусь к разговорам о том, что-де до нужного места всего несколько кварталов и вообще рукой подать. Эти его несколько кварталов могут обернуться часом пешего пути. Настил бесконечен, а пляж совершенно одинаковый на всем своем протяжении. Бесконечный золотой песок, и ни единой пальмы. Берега Кони-Айленда усеяны яркими зонтиками и пятнами чаек. Совсем не похоже на Лос-Гуайаканес, где пальмы-коротышки укрывают людей от солнца, а продавцы жареной рыбы и бататов заигрывают с покупательницами.

Давай здесь сядем, упрашиваю я Сесара.

Наконец Сесар сворачивает к ступенькам и спускается на берег. С настила кажется, что на пляже яблоку негде упасть. Однако стоит подойти ближе — пробраться между загорающими, между громогласными волосатыми мужчинами, которые усеивают песок окурками, между покосившимися зонтиками — и я вижу, что места нам здесь хватит, и еще как, причем у самой кромки воды. Мы садимся, зарываемся ягодицами в песок и вытягиваем ноги, и пальцы легко касаются набежавшей волны. Ветерок перебирает мои волосы. Я люблюсь длинными крепкими мышцами бедер Сесара и хихикаю при виде его цыплячьих икр, цветом куда светлее лица и рук. Наши руки соприкасаются. Я наклоняюсь к нему, как тогда к Габриэлю, потом отодвигаюсь и сворачиваюсь, как плотно сжатый кулак.

Ты часто сюда приходишь? — спрашиваю я.

Где взять время?

А в Нью-Йорке неплохие пляжи, говорю я. Мне до сих пор странно, что они вообще здесь есть.

Этот пляж и в подметки не годится тем, что у нас дома.

Ну здесь-то выбирать не приходится. Да и тут неплохо. Тихо.

Доминиканцы всегда так шумят. А здесь, смотри, все заняты своим, отдыхают. Вот Хуан говорит только о работе и о том, как добыть еще денег. А эти люди пришли не работать и не зарабатывать. Об этой части Нью-Йорка никто никогда не говорит.

А ты о чем сейчас говоришь?

Просто приятно видеть, как люди хотя бы ненадолго расслабились. А тебе — нет?

Сесар пропускает вопрос мимо ушей; он слишком занят, разглядывает женщин вокруг. Внезапно я чувствую себя чересчур одетой. Я откидываюсь назад. Задираю рубашку, обнажая живот. Пушок торчит наружу. Волны накатывают и откатываются обратно. Я зарываюсь ногами в горячий песок и вздыхаю.

Здесь, наверное, такие красивые закаты.

Жалко, что мы не дождемся, отвечает Сесар, тоже со вздохом. Сядет солнце — выйдут пушки.

Неужели все так плохо?

Хочешь поплавать?

Он уже стоит, снимает рубашку, обнажая широкую спину и узкую талию. На шее и на руках отчетливо видна граница загара.

У меня нет купальника, забыл?

В отличие от Габриэля он не настаивает. Грудь у меня успела вырасти вдвое. Нынче Габриэлю было бы на что посмотреть.

Гляди! Сесар раздевается до узких темных плавок и вбегает в воду, ноги у него мускулистые, как у коня. Он ныряет в высокую волну, исчезает из виду, появляется снова, длинные тугие кудри облепили лицо.

Холодно-то как! — вопит он, подбегает ко мне и отряхивается прямо надо мной.

Хватит! Ты как мокрый пес!

Он заполошно лает, зарывается руками в песок и забрасывает песком мои руки и ноги.

Ну сколько можно!

Сесар останавливается, большими глотками пьет воду, коорую

мы принесли в сумке, разворачивает полотенце и ложится на спину, подсунув руки под шею. Под мышкой видны кустики волос. От него пахнет соленой водой. Мне хочется лизнуть его.

Я разворачиваю свое полотенце, чтобы песок не набился в волосы, ложусь на спину, закрываю глаза, поглубже зарываюсь ногами в песок и раскидываю руки в стороны, ладонями к небу. Меня омывает солнечным светом. Капельки пота щекочут шею и между грудями. Я слушаю крики чаек и плеск волн, гвалт, доносящийся из парка развлечений, далекие крики людей на русских горках. Я жду, чтобы волны коснулись моих ног, а ветер прошелся по коже, остужая, помогая вынести эту жару. Веки тяжелеют, руки и ноги словно отлиты из свинца, дыхание становится ровным. Мне уже все равно, где я. Я дома, и я счастлива.

Часом позже я открываю глаза и вижу Сесара, который смотрит на меня. Его темные кудри торчат во все стороны. Глаза светятся удовольствием.

Сюрприз! — говорит он. В руках у него картонный поднос, а на подносе аккуратно разложены два хот-дога и два ведерка жареной картошки с логотипом «У Натана».

Угощение от Натана — лучшее на Кони-Айленде.

Из окна я каждый день смотрю, как больничный люд выстраивается в очередь к продавцу хот-догов. Зимой из тележки продавца поднимаются клубы пара и оседают у меня на языке.

Из булочки торчит кончик сосиски. Тугая шкурка смачно лопается под нажимом зубов. Солоноватая, сочная мякоть, и хлеб, и кетчуп. Хрустящие ломтики жареной картошки торчат веером, как аккордеон.

Как вкусно! — говорю я.

Он не сводит с меня глаз, и на лице у него написано удовольствие. Сесар рад моей радостью. Подумать только, а ведь поручая ему за мной присматривать, Хуан думал, что это будет не то наказанием, не то тяжелой повинностью.

Вскоре над нами начинают виться чайки. На полотенца вдруг

накатывает волна, и они промокают насквозь. Мы вскакиваем, спасая последние ломтики картошки.

Нам пора, говорит Сесар чайкам и мне. Он выжимает мокрые полотенца и бросает их в сумку. Мы бежим в парк аттракционов. Люди на русских горках визжат так, будто их там сразу и убивают, и воскрешают.

Давай на «Циклон», — говорю я.

Может, лучше на колесо обозрения? Подумай о ребенке.

Ничего с ним не случится... ну, Сесар, ну пожалуйста.

Он смотрит озабоченно, но я делаю гримаску как у Люси из кино, надуваю губы и распахиваю глаза.

Ладно, ладно. Идем!

Я не понаслышке знакома с ураганами, которые срывали крышу над кухней и спальнями и вырывали с корнем деревья. Но от «Циклона» мне становится по-настоящему страшно. Сцепленные между собой деревянные не вызывают ни малейшего доверия. Вагончики несутся вверх и вниз так быстро, что ноги у меня становятся ватными. Мои братья душу бы продали за такое развлечение. Сколько же они не видели и, быть может, и не увидят; как мне повезло попасть в такое место.

Сесар покупает билеты. Я делаю зарубку в памяти: вернуть деньги. Мы пробиваем билеты и становимся в очередь. Выбираем вагончик. Он ползет вверх, я крепко держусь за поручень, но все же цепляюсь за руку Сесара.

Когда вагончик впервые ухает вниз, это застает меня врасплох. А что, неплохо. Старенький деревянный вагончик дрожит, как доски пола у нас в гостиной. Он замирает и снова летит вперед, недолгое падение, и мы с вагончиком становимся такими невесомыми, что между ног у меня пробуждается странное чувство. Ветер бьет мне в лицо. Вагончик медленно взбирается на последний участок маршрута, и я вижу берег, усеянный людьми, словно галькой, и с этими людьми — мы с братьями. Мы вместе, мы бежим за грузовиками, которые везут тростник мимо наше-

го дома. Братья визжат и кричат. А вот и Йонни — убежал вперед, бежит и бежит, временами оборачиваясь, чтобы посмотреть, далеко ли мы отстали. Тут вагончик падает, и Сесар хватается меня за плечи. Сердце бьется где-то в горле. Мы дружно визжим до самого мига, когда вагончик резко останавливается, так, что мозги улетають в череп. Ана! — слышу я в ушах голос Йонни. Ана! И тут на нас падает тишина. Мы держимся за руки, пальцы переплетены. Улыбка не сходит с лица Сесара, словно приклеенная.

Как ты? — спрашивает он.

Мои глаза наливаются влагой.

С ЙОННИ НЕЛАДНО — ВОТ ПЕРВОЕ, ЧТО Я СЛЫШУ ОТ МАМЫ.

Угодил в заварушку в Санто-Доминго.

Что он делал в Ла Капиталь?

Не знаю.

Зачем ты его туда отпустила?

Впервые за очень долгое время я слышу, как мама плачет.

Я в смятении.

Хочу открыть дверь и оказаться в Лос-Гуайаканес с родными.

Я нужна им.

Больно. Больно. Больно.

Я опустошена.

Несколькими часами позже звонит муж.

Мне очень жаль, *rajarita*. В голове не укладывается. У меня тоже братья. И я тоже за них боюсь. Сесар там, с тобой?

Он на работе, говорит жена.

Я говорил твоей матери, чтобы она не отпускала Йонни в город. Но она стояла на своем. Тогда я сказал: в центр пусть не суется ни за какие посулы, пусть идет напрямиком ко мне, я на окраине, тут потише. Знала бы ты, что тут творится, Ана. Иногда кажется, что все, кончилось. А потом начинается по новой. Последний сопляк на улице и тот с ружьем. Электричества нет целыми днями. Все по карточкам: свечи, продукты, сигареты. Даже бензин! И ни туда, ни сюда. Никто не знает, сколько еще это продлится. По ночам не уснуть. Прямо за дверью стреляют. Я же говорил ей, пусть Йонни сидит дома. А она мне, мол, не думай о плохом, и ничего не будет. И какого черта он оказался у дворца? Угодил в колонну протестую-

щих против американской армии, ну и все. А он просто мимо проходил. Мне сказали, что он поднял руки, и тут охранник, доминиканец, выстрелил ему в спину. Пуля попала прямо в грудь.

Жене больно. Сестре больно. Но муж все говорит и говорит.

Ох, *rajarita*, не плачь. Я жду не дождусь, когда же это дерьмо кончится, и я вернусь домой к тебе.

На словах «к тебе» голос мужа становится ниже. Он буквально молит о тепле и любви. Но душа у жены пуста.

Я ПОТИХОНЬКУ УТАСКИВАЮ ИЗ ПОДЪЕЗДА ГАЗЕТУ. РАЗВОРАЧИВАЮ ее на столе и ищу любые упоминания Доминиканской Республики и Йонни. Наконец я вижу слово «доминиканец» и обвожу его карандашом.

6 июля 1965 года, в 8 часов утра Порфирио Рубироса, бывший доминиканский дипломат, всемирно известный спортсмен и плейбой, во время своего пребывания в Париже попал в автомобильную аварию. Его скоростной «Феррари 250 Жи-Ти» врезался в дерево. Пассажиров в автомобиле не было. Пятидесятишестилетний водитель умер в машине скорой помощи по пути в больницу, в непосредственной близости от двух его излюбленных мест Парижа: гоночного трека и поло-клуба. Он увлекался пилотированием, игрой в теннис и поисками затонувших сокровищ, а также пользовался славой главного ловецаса Карибского региона и в течение десяти лет успел пять раз стать мужем самых состоятельных и красивых женщин мира.

Ни слова о Йонни.

Ни слова о войне.

Для газеты война давно кончилась и в стране безопасно. Для кого безопасно? Для чего? Когда несколько месяцев назад президент Джонсон объявил, что американские войска высадились в Доминиканской Республике, об этом кричали на всех углах. А теперь всем наплевать. Американцы бросили нас на милость трухи-

листов. Потому что те давно пляшут под их дудку? Потому что они богачи. Потому что у них есть армия. А люди все равно умирают. Дома рушатся. Но миру есть дело только до Рубиросы.

Когда Сесар возвращается с работы, я одета во все черное, в черном шарфе на волосах. Я сижу в темноте, ни музыки, ни телевизора, смотрю в окно и думаю о том, что я могла сделать, чтобы спасти Йонни. Я выпила три порции рома. В голове стучит, мир подернут пеленой. Тело как колода, тяжелые руки и ноги.

Негмапа*, а где обед?

Он включает лампу.

Я кладу голову на стол. Дерево приятно холодит ухо.

Что случилось? Сесар подтаскивает стул и садится рядом.

Йонни убили.

Как? Кто? Он снова встает.

У меня в голове шумит от алкоголя. Если бы я могла, я села бы на колени к Сесару, сунула бы ступни ему между бедер, уткнулась носом в шею. Но вместо этого я встаю, прислоняюсь головой к его груди и слушаю стук сердца. От моих слез у него промокает рукав рубашки.

Ты сама хоть что-нибудь ела? — спрашивает он. Хочешь выпить? Я приготовлю ужин, говорит он.

Он укладывает меня на диван, подкладывает под колени подушку. Включает радио. В августе на стадионе Ши выступят «Битлз».

Пока он готовит, я проваливаюсь в неглубокий сон.

Сесар накрывает на стол. Половником разливает по тарелкам чечевичный суп. Кладет рядом с тарелками ломтики авокадо и хлеб.

Я не голодна, говорю я.

Подумай о ребенке.

Ему было всего шестнадцать. Всего шестнадцать!

* Сестра (исп.).

Кажется, суп не досолен.

Он был один такой во всем мире.

Не клади авокадо в холодильник, потемнеют.

И прекрати делать вид, будто ничего не случилось, слышишь, Сесар!

Я швыряю в него газетой.

Всем плевать на нас, на то, что творится у нас дома, на Йонни.

Пишут только о всяких глупостях, о Рубиресе об этом!

Потому что это газета для белых.

Сесар шарит на полках в поисках чистого листа бумаги, берет со стола карандаш.

Вот, напиши сама про Йонни.

Я плохо умею писать.

Ну так возьми за образец эту статью про Рубиросу.

Я рассматриваю лежащий на столе чистый лист. Я ставлю на него кончик ручки и провожу линию.

Говори так, словно Йонни может тебя услышать. И пиши, чтобы услышать самой. Давай.

6 июля 1965 года.

Санто-Доминго: Йонни Кансьон убит в перестрелке близ парка де Индепенденсия.

Давай дальше.

Йонни был работающим юношей и делал все возможное, чтобы помочь своим родным.

Подробнее, Ана. Расскажи, как именно он помогал.

По утрам, когда отец звал работать на ферме, Йонни всегда вызывался первым. Он никому не позволял обижать сестер. Он был находчивым парнем. Даже аме-

риканцы знали его как человека, который может достать все на свете. Он питал слабость к хорошеньким девушкам и пользовался славой главного ловеласа Лос-Гуайаканес. Он любил многих. Он бегал быстрее всех. Он мечтал, как однажды прилетит в Америку, будет ездить в поезде, побывает в Эмпайр-стейт-билдинг и будет играть в бейсбол с Мэнни Мота и Фелипе Алуэ. Он умер мгновенно и не страдал. На его похороны пришли многие тысячи людей. Гроб вишневого дерева был опущен в землю на Президентском кладбище Санто-Доминго, где Йонни упокоился среди других погибших с честью великих людей. Гроб был усыпан белыми розами, а гостям подавали маракуйю, излюбленное лакомство покойного. Буквально за несколько часов до его гибели президент лично принял решение выдать ему визу и десять тысяч долларов, чтобы он мог начать новую жизнь в Соединенных Штатах.

Ну у тебя и фантазия.

Потому что настоящая жизнь слишком грустная. Йонни не любил ходить в школу. Он никогда никого не слушал. Всегда что хотел, то и делал. Я уверена, что он сам подставился под пулю, просто не подумал головой. Но у него и вправду было большое сердце, и еще он был очень веселый. Вы бы с ним подружились.

Напиши теперь про меня.

Не хочу представлять, что ты умер. Сейчас — не хочу.

Ой, да ладно тебе. Напиши так, будто мне уже девяносто, и я помер, а ты прочла об этом в газете. Жизнь у меня, значит, была долгая, а что в ней было, в жизни, как ты думаешь?

Когда Сесару будет девяносто, мне будет восемьдесят пять. Мы с ним будем жить в Лос-Гуайаканес, по утрам пить горячий шоколад и есть тосты, смотреть на рассвет, качаться в креслах-качалках и обсуждать непослушных собак или лошадей. Мы будем

вспоминать всех, кого пережили. А Хуан к тому времени уже давно умер.

Я пишу.

1 июля 2033 года. Сесар Руис умер во сне, выпив перед этим *morir soñando*. Его предупреждали, что апельсиновый сок мешают с молоком и сахаром только молодые, но он не слушал. Сесар родился в небольшом доминиканском городке Тенарес, а в 1963 году вместе с тремя братьями приехал в Нью-Йорк. Вдохновившись великой Шанель, которая тоже начинала с самых низов, он прошел долгий путь от простого фабричного рабочего до модного кутюрье. Он облетел весь мир на личном реактивном самолете и открыл первую бакалейную лавку на Луне. В 2013 году, достигнув шестидесятилетия, он отошел от дел, пожертвовал все свое состояние детям бедняков Лос-Гуайаканес и остаток жизни прожил в доме семьи великой Аны Кансьон, которая позднее совместно с ним открыла множество школ и больниц для нуждающихся.

Сесар следит за ручкой, читая каждое слово.

Думаешь, у меня прямо такие вот великие задатки?

А почему нет? Почему это ты не можешь полететь на Луну? Или стать великим дизайнером? Почему мы должны жить только так и никак иначе? — говорю я, сама удивляясь себе и своему размаху. Йонни больше не может, значит, должны мы. Мы должны прожить жизнь как можно лучше, в память о нем.

А о себе ты что напишешь?

Ана проживет долгую жизнь. Вырастит успешную дочь. Она будет счастлива.

Я НЕ ЗНАЮ ПЕРЕДЫШКИ. ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ — УРОКИ английского. По понедельникам, средам и пятницам я езжу в центр города и продаю обеды рабочим с фабрики Сесара. Я составляю меню на неделю. Понедельник: пастелито, тридцать штук с курицей, тридцать с говядиной. В среду — пастелес*. По пятницам — сюрприз: иногда эмпанадас** с южкой, иногда кипес***.

Я готовлю и упаковываю еду так, чтобы мужчины могли есть стоя, как лошади, как американцы едят хот-доги и бургеры. Чтобы они покупали только у меня, я готовлю такую еду, которая напоминает им о доме.

По вечерам я мариную мясо и нарезаю овощи. На следующий день я делаю из еды сверточки в пакетиках для сэндвичей «Кат-райт» или в алюминиевой фольге. Аккуратно укладываю все в корзину, выстеленную клетчатой тканью, — Сесар принес с той же фабрики, где работают мои покупатели.

Я готовлю так, словно моя кухня может вновь вдохнуть жизнь в Йонни. Я готовлю для него, только для него — режу лук так мелко, чтобы Йонни не чувствовал его в начинке, выбираю бутоны гвоздики, чтобы он не жаловался на запах. Даже Сесар замечает, что я готовлю все вдохновеннее. Ты какую-то секретную добавку знаешь? — спрашивает он.

Я больше не прячу деньги в Доминикану, а каждый день кладу их в конверт, лежащий в ящике тумбочки. Они мне нужны, эти деньги, с ними я по-прежнему надеюсь перевезти семью к себе,

* П а с т е л е с — блюдо карибской кухни, смесь овощного пюре с фаршем, завернутая в листья банана.

** Э м п а н а д а с — блюдо карибской кухни, жареные пирожки.

*** К и п е с — блюдо доминиканской кухни, тефтели из мяса с булгуром.

в безопасность, чтобы Ленни мог ходить в школу и никто больше не боялся голода.

Когда-нибудь я куплю себе тележку как у продавца хот-догов. Потом — маленький магазин. Потом — сеть магазинов по всему городу.

Явившись к Печке, я обнаруживаю там Сесара, который поджидает меня в одиночестве. Он курит сигарету. Я пришла рановато. А он — еще раньше. Что-то тут не так. Перерыв у рабочих начинается ровно в двенадцать. Сегодня я принесла томленные куриные окорочка — ночь мариновала их в лимонном соке с чесноком и розмарином — и жареные арепитас* с юккой, приправленные анисом, каждая порция отдельно завернута в алюминиевую фольгу.

Поехали домой, говорит Сесар.

Он отбирает у меня корзину, берет меня за предплечье и тянет обратно к станции метро.

Ты что? Где все? — спрашиваю я.

Иммиграционный контроль закрыл фабрику. Ублюдки!

Как это?

Устроили облаву, но мы успели смыться. Висенте — помнишь Висенте, глаза как жуки и подбородок жопкой? — выпрыгнул из окна и сломал то ли руку, то ли ногу, я не понял, такой был бардак вокруг. Я к нему не успел, копы уволокли его раньше, пришлось делать ноги.

Но у тебя же есть все документы. Что они тебе сделают?

Ты что, новостей не смотришь? Что захотят, то и сделают.

В поисках новой сигареты Сесар хлопает себя по нагрудному карману и выплевывает ругательство.

А сегодня еще и зарплату ждали! Эти паразиты специально вызвали иммиграционную службу, чтобы не платить. Это уже не в первый раз такое.

* А р е п и т а с — блюдо карибской кухни, жареные или печеные пирожки из кукурузной муки.

Не может такого быть! Или может?

Он шагает сквозь спешащую на обед толпу, размахивает моей корзинкой, в которой лежат так любовно упакованные окорочка и арепитас.

Что мне теперь делать со всей этой едой?

Ана, ты о чем? Черт, я теперь безработный. И ведь все уже было на мази. А тут явилась иммиграция, и эта задница сдала нас им тепленькими.

А вместе с ними и мою мечту о тележках с едой и о сети магазинов доминиканской кухни.

Сесар пинает почтовый ящик на углу. Бьет кулаком воздух.

Черт!

Почему ты мне не позвонил? Я бы хоть не ездила.

Я работу потерял, а ты только о себе и думаешь!

Но мне пришлось так далеко ехать.

Ой, только не начинай.

Я делаю шаг назад. Никогда не видела Сесара таким злым.

Я выхватываю у него корзинку и ухожу вперед, к метро. Сесар хватает меня за руку и сжимает так сильно, что на коже остаются отметины.

Мне больно!

Поехали домой, говорит он.

Не нужна мне твоя помощь. Сама доеду.

Нет, Ана, я тебя провожу.

Он тянет на себя корзину. Я не отпускаю. Свертки сыплются на тротуар. На них наступают. Я дергаю корзину, спотыкаюсь и падаю на бок, подальше от Сесара. Мужчина с дипломатом спотыкается о меня, больно задев мою ногу, и орет: уйди с дороги, зараза!

Иди в жопу! — орет Сесар и бьет мужчину в челюсть.

Нет! Я пытаюсь встать на ноги.

За спиной у Сесара появляется полицейский, хватает его за воротник рубашки, заламывает Сесару руку и валит его на землю. Его ботинок на шее Сесара; я кричу.

Отпустите его! — хочется сказать мне. Ему же больно! Арестуйте лучше того поганого мошенника, который его сдал!

Но на уроках английского у сестры Лусии мы таких слов не проходили.

Расходитесь, расходитесь! — командует коп собирающейся вокруг толпе.

Я стою на четвереньках и бросаю в корзину фольговые пакетики, тянусь к Сесару. У него взгляд козы, которую ведут на убой.

Беги! — говорю я.

И я вижу, как из тела Сесара встает Йонни и бежит по дороге, которая превращается в стремительный поток, и нет ему конца. Йонни бежит, останавливается и показывает своим невидимым преследователям средний палец.

Сэр, у вас есть право хранить...

Толпа глазееет на Сесара как на какого-то преступника.

Ненавижу вас всех, ненавижу! Вы его не знаете!

Я скалюсь, показываю зубы толпе, которая, кажется, рада поглазеть, как полицейский повяжет черного. Незаконного иммигранта. Преступника, который наверняка кого-то убил или ограбил.

Ненавижу вас! — снова кричу я. Вы нашей жизни не знаете!

Они не знают, как трудно выживать в большом городе. Не знают, сколько раз Сесара обманывали с работой, хотя сам он душой кривить не привык.

Ана! — кричит Сесар. Иди домой и позвони Гектору.

Сесара тащат в полицейскую машину. Он едва сдерживает слезы. Он в смятении. Он в ужасе. Я тоже.

Позже в тот же день звонит Гектор и говорит, что Сесара отпустили.

Я забрал его из участка, так что не волнуйся.

Как будто тут можно не волноваться.

Спасибо, Гектор.

Он же мне брат, Ана.

Вечером я жду Сесара. Снова и снова потираю живот. Тикают,

тикают часы. Опускаются жалюзи на витринах магазинов. Зажигаются уличные фонари. У края тротуара вырастают груды мешков с мусором. Вздыхают автобусы. Воят сирены скорой помощи. Где-то беда. Я тру и тру живот. Где-то беда. А у меня не беда? Где Сесар? С чего это он вдруг исчез, как будто никому ничего не должен? Почему не может хотя бы позвонить, сказать, что у него все в порядке? Я считаю незаработанные деньги. Считаю пакетики в фольге, которые удалось спасти из-под ног, — теперь пакетики лежат в холодильнике. Выбросить их невыносимо. Это мой труд. Это добрая еда. Я беру часть и отношу соседке-еврейке, она живет дальше по коридору, у нее четверо детей, и она никогда не смотрит мне в глаза — но матери четверых детей домашняя еда всегда будет кстати. Отношу сверточек Розе, которая уже привыкла к моим неожиданным визитам и не брезгает опереться на мою руку, когда переходит улицу. Отношу поесть мистеру О'Брайену, управляющему, он вдовец, и консьержу Бобу. Остальная еда отправляется в холодильник. Я тру и тру живот. На сколько этого хватит? Сколько мне придется жить на курице и арепитас?

СЕСАР УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДОМА. ВЕРНЕТСЯ ли он? Когда я говорю Хуану, что Сесара арестовали, он говорит: да знаю я, знаю. Конечно, он знает больше моего. Но говорит только, что теперь мы тем более не можем позволить себе терять клиентов.

После отъезда Хуана за костюмами к нам больше не приходили, но тут звонит Антонио и спрашивает, нельзя ли привести нескольких друзей, которым нужны костюмы, и я говорю: можно.

Антонио приводит троих. Впервые за долгое время дом полон людей. Я включаю радио.

Какой у тебя месяц? — спрашивает Антонио.

Восьмой, отвечаю я, довольная, что это заметно.

Он не отводит глаз от моего лица. Протягивает руку, касаясь живота. От его прикосновения мне становится неловко. Это же Антонио, он любит жену. Я отталкиваю его прочь.

Кто хочет кофе?

Я, хором отвечают гости.

Они выпивают по чашечке кофе, и я спрашиваю: чем могу быть полезна?

Тот, что помоложе, хихикает. Вот похабник.

Я прикидываю его размер и говорю: 46R?

Я угадала. Патрисио, вот как его зовут. Примерно ровесник Сесара. Его брат — Хорхе Агире, седина в клинышке волос надо лбом. Алехандро — приятель Хуана, с которым они вместе работали в «Йонкерс Рейсвэй», тощий как тень от проволоки.

Слышал о твоём брате, говорит Антонио. Мне жаль.

Новости приходят быстро, даже издалека. Может, это Хуан попросил Антонио проверить, как у меня дела?

Я давно уже не открывала шкаф с костюмами. Я достаю костюмы. Пластик липнет к потной коже. Когда я говорю, что для примерки шерстяных костюмов сегодня слишком жарко, Патрисио проводит рукой мне пониже спины. Я оборачиваюсь, ведь это, наверное, случайно вышло, а он подмигивает. Я отхожу и велю ему сесть на диван. Антонио сидит на стуле у стола и улыбается.

Так когда там возвращается Хуан? — спрашивает Алехандро.

В любую минуту, говорю я и вручаю друзьям Антонио два костюма.

Можете примерить в ванной или в спальне.

Патрисио идет в ванную. Алехандро — в спальню. Антонио и Хорхе ожидают в гостиной вместе со мной.

А ты все хорошеешь, говорит Антонио.

Он стоит совсем рядом, нависает так, что я чувствую запах мяты в его дыхании.

Я ничего не говорю в ответ, только радуюсь, что Алехандро вышел.

Я возьму оба, говорит он и не моргнув глазом платит, хотя я накидываю два доллара сверх обычной цены. Антонио молчит. Все равно выходит гораздо дешевле, чем в любом магазине, даже в «Эль Бейсмент».

Хорхе уходит в спальню. Вскоре он выходит и спрашивает, сколько стоит один из костюмов. Соглашается заплатить.

Разве ты не предложишь подшить брюки? — удивляется Антонио.

Я сегодня занята.

Это было бы просто отлично, говорит Алехандро. Я хочу надеть их завтра.

И мои подшей, говорит Антонио, делая вид, что не замечает моего гневного взгляда.

Те, что на вас?

Он встает, чтобы было лучше видно. Видишь, длинноваты.

У меня нитки кончились. А вообще вы говорили, что ваша жена никому не позволяет иметь дело с вашими брюками.

Сегодня Антонио не похож на себя. Я-то всегда думала, что он из хороших, но сейчас он как волк, который привел с собой стаю.

Как ты там, Патрисио? — зовет Антонио.

Минутку! — кричит в ответ Патрисио.

Он слишком долго, говорю я Антонио. А ко мне должны прийти еще покупатели.

Я выключаю радио. Убираю костюмы в пластиковые пакеты. Встаю у входной двери.

Патрисио наконец-то выходит из ванной, но, когда я называю цену, просит скидку.

Никаких скидок, отвечает за меня Антонио и встает между мной и им. Даже деньги сам пересчитывает и передает мне.

Антонио велит Алехандро открыть дверь. Они уходят.

Сразу после их ухода звонок звонит снова.

Это опять Антонио. Остальные сгрудились у лифта и ждут.

Вы что-то забыли? — спрашиваю я.

Антонио входит в квартиру и закрывает за собой дверь. Он стоит на расстоянии вытянутой руки и смотрит на меня. Я не отвожу глаз и держу наготове толстую пластиковую вешалку — для защиты.

Он достает из кармана пиджака леденец на палочке и разворачивает обертку. Ярко-красный шарик. Подносит к моим губам.

Попробуй, говорит он. Я сжимаю губы, смотрю ему прямо в глаза и качаю головой: нет.

Я же знаю, ты любишь сладкое, попробуй. Он прижимает леденец мне к губам. Он сладкий, как красная газировка.

Вкусно, правда? — говорит он.

Я слышу доносящийся от лифта смехок. Сердце бьется как сумасшедшее, но я крепче упираюсь ногами в пол, отталкиваю леденец и открываю дверь.

Приятно было повидаться, говорит он. Мое почтение Хуану.

СКОТИНА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НЕ УЧИТСЯ, ЕЕ НАДО НАКАЗЫВАТЬ сразу же. Вот мама сразу взяла бы топорик для мяса да и оттапала бы этому Антонио его набриолиненные волосы вместе со скальпом.

Я пересчитываю деньги и решаю сказать Хуану, что продала не пять костюмов, а всего три. За товаром слежу я, он и не заметит. А если даже и заметит, что с того? Я мать его ребенка. Даже он не поднимет руки на беременную женщину, не настолько он бешеный. А если Антонио захочет внести ясность насчет сделки, я внесу ясность насчет леденцов и шоколада.

Звонит телефон. Я мчусь к нему.

Сесар! Где ты? Два дня прошло!

Я сжимаю трубку обеими руками, словно это поможет мне лучше слышать. У Сесара какой-то странный голос.

Я нашел работу у той леди в Бостоне. Поживу тут несколько дней.

Какую работу? У какой леди? Почему в Бостоне? Почему тебя все время нет дома? Ты мне нужен.

Не волнуйся, в общем.

И он вешает трубку прежде, чем я успеваю задать еще вопросы.

Я включаю свет во всех комнатах, радио и телевизор. Проверяю и перепроверяю замки на дверях. Пожарный выход — голуби сюда больше не прилетали. Вернутся ли они? Я все равно оставляю им тарелку с рисом, на всякий случай. Я меняю простыни и заправляю постель Сесара. Открываю жестянку «Шеф Бойярди», разогреваю макаронную кашницу и ем ложкой прямо из банки. Макароны пахнут скучно, предсказуемо и понятно, и это вдруг оказывается единственным, что я сейчас могу принять.

КАЛЕНДАРЬ: 25 ИЮЛЯ. СЕСАРА НЕТ УЖЕ ПЯТЬ ДНЕЙ. ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ.

Я опять разогреваю банку макаронной кашицы и ем ее теплой, сунув ступни между подушек дивана. Теплые разваристые макароны падают в горло и дальше, к малышу.

В двери поворачивается ключ, потом другой – Сесар?

Я тяну на себя дверь, цепочка натягивается.

В щели появляется рука Сесара. Сесар машет мне.

А-а-а-ана-а-а, с чувством выводит он.

Дверь откro-о-ой.

Он пьян. Ему надо в душ. Придется его накормить и уложить.

Если не я, то кто?

До отъезда Хуана Сесар менял женщин как перчатки. Но как только очередная подруга начинала предъявлять на него права – просила на аренду, на продукты, в таком роде, – он тут же бросал ее, как старую рубашку.

Пожалуйста, пусть только от него не пахнет чужими духами. Пусть это будет тот же Сесар, мой Сесар.

Я ставлю плошку с макаронами на кофейный столик. Стоит мне снять цепочку, как Сесар буквально валится на меня. Да, пьян. Да, пропах духами. Да, ему нужно в душ. Глаза у него красные как от бессонницы.

Сесар падает на диван. Смотрит на меня взглядом мальчишки-хулигана. Но ему плевать. Говорит, что один из ребят с фабрики нашел ему другую работу в портновской мастерской, где шьют мужские костюмы.

Мужские костюмы, значит? – говорю я, радуясь, что вот он, снова у меня в гостиной, и теперь все пойдет по-прежнему.

Сошью тебе такой смокинг, что даже твой живот влезет.

Он делает шаг назад, окидывает меня внимательным взглядом и говорит: черт, а ты здорово раздалась. Можно послушать?

Я сажусь. Он прижимается ухом к моему животу, обхватывает меня за бедра.

Когда ж ты уже вылезешь, креветочка, жду не дождусь. Он поднимает мне рубашку и целует живот. И вдруг оказывается на коленях, и обе ладони прижаты к животу.

Она тебя ножкой бьет, говорю я.

Я чувствую! — вопит он.

Я хихикаю. Он все гладит мой живот сильными мягкими ладонями, то и дело задевая грудь снизу. Все волоски у меня на теле встают дыбом. В его руках я как дар, и я таю от этого ощущения. Быстрый ток крови, предвкушение, предвкушение. Сейчас бы персик! Хоть бы его руки, его губы свернули не туда и рухнули в мою жаждущую бездну.

Вот такая умница, говорит он животу. Когда малышка бьет ножкой, он отвечает ей поцелуем, и губы его задерживаются все дольше и дольше. Я чувствую, как покалывает в груди.

Я скучал по тебе, детка, говорит он.

Малышка снова бьет ножкой, Сесар падает на пол и сворачивается как эмбрион.

Она меня отпинала! — говорит он. Я бросаю ему подушку с дивана.

Можно я посплю прямо тут? На полу так прохладно.

Очень скоро его тихое дыхание переходит в глубокий храп. Я сижу и смотрю на него. Чтобы унять боль, я сую между ног подушку и раскачиваюсь туда-сюда, и наконец между бедер у меня разверзается землетрясение.

Cabronita!* — хихикает где-то сестра.

* Сучка! (исп.)

ТЕБЕ БЫ ЖЕНЩИНУ ХОРОШУЮ, И ТЫ ДОБИЛСЯ БЫ ВСЕГО НА СВЕТЕ,
говоря я однажды вечером Сесару.

Я стою на кофейном столике, а он распарывает швы на моем платье. Я за манекен, полуодета: нижняя юбка да одна из нижних рубашек Хуана.

Не шевелись, а то вдруг уколою.

Во рту у Сесара булавки, с шеи свисает мерная лента, за ухом карандаш.

Нет, серьезно, тебе нужна хорошая женщина, чтоб ты перебежился. Она бы о тебе заботилась.

Ты и так обо мне заботишься, говорит он.

Будь мы птицами, я могла бы сойтись с Сесаром и могла бы сойтись с Хуаном, и любой, кто не тронул бы моих детей, носил мне еду, вил гнездо, был крепок и красив оперением, тоже мог бы быть моим. Никаких брачных контрактов, просто игра, в которой надо выжить и получить удовольствие.

Но люди не птицы. Наши дни сочтены. Хуана нет уже полных два месяца. Он уехал в конце мая, а сейчас уже почти август. Если он не вернется в самом скором времени, то потеряет место на бегах. Он должен вернуться и заплатить за квартиру, потому что за нее заплачено всего на два месяца вперед. Царящая в Доминикане коррупция злит его все сильнее.

От доминиканцев добра не жди, говорит Хуан.

Но мы же сами доминиканцы.

Нет, *pajarita*, ну правда, даже родным доверять нельзя. Любой готов продаться тому, кто больше даст. Это ад, просто ад. Я по тебе соскучился, говорит он. Как я хочу домой.

Каждое мгновение с Сесаром может быть нашей последней ми-

нutoй, последним днем, последней неделей. И я смакую каждую секунду.

Сесар расправляет на мне платье, вытаскивает булавки и вручную сшивает ткань.

Я говорю: я хочу, чтобы ты стал видным человеком, Сесар. Ты этого заслуживаешь. За тебя любая с пойдет с радостью.

Но ведь ты моя муза. Почему ты все хочешь меня спровадить? говорит он. Расставь руки, как Иисус, и держи так, не то истечешь кровью.

Он шьет вдоль проймы, под мышкой, нечаянно щекочет меня, и я смеюсь еще громче. Излишки ткани под грудью он собирает в складки и закалывает булавками.

Извини, по-другому не получается, говорит он. Бормочет что-то, одергивает ткань на бедрах, разглаживает сзади; его руки скользят в ложбинке внизу спины, касаются подъема ягодиц, которые с тех пор, как я приехала в США, выросли вдвое. Он одергивает ткань на бедрах, сводит края, его нос почти касается внутренней поверхности бедра, и от одного этого я чувствую, как что-то сжимается внутри.

Хочу. Хочу. Хочу. Только одна мысль.

У меня руки болят, говорю я, чтобы хоть что-то сказать.

А красота — это боль. Так все модели говорят.

Тогда уж лучше буду уродиной. Все равно никто меня не видит. Хуан даже не заметит.

Я тебя вижу. И ты себя видишь.

Он протягивает мне руку и помогает сойти с кофейного столика, чтобы посмотреть в зеркало. Он взял два моих платья и сшил из них новое. В этом своем мужском ателье он выучил много разных штук. Например, как давать припуск, чтобы не тянуло в швах. Мужчины, в отличие от женщин, неудобства терпеть не станут.

Смотри, теперь ты можешь двигать руками совершенно свободно. Я добавил ровно столько, чтобы не тянуло на спине. Наклоняться тоже можешь спокойно, швы не разойдутся.

Я слишком толстая, да?

Мой босс хочет обучить меня всем своим штукам. Говорит, что предпочитает доминиканцев, потому что мы самые работающие.

Может, ты ему просто понравился.

Нет, зато теперь передо мной новые возможности. Вот у евреев работать работай, а секреты свои они держат при себе. А итальянцы, они ребята открытые.

Просто удивительно, из ничего — и вдруг получается что-то.

Так ты делаешь то же самое, только с едой. Я вот смотрю на обрезки ткани и думаю: четыре куска — и будет рубашка, надо только сложить их правильно, как головоломку.

Да, точно! Когда в холодильнике почти ничего нет, я все равно что-нибудь да придумаю. И получается вкусно. Только я потом забываю, как я это сделала.

Надо записывать. Вот мои боссы все записывают. Кто опоздал — записывают имя. Кто сколько сделал, тоже записывают. Или когда ткань ведет себя как-то необычно. Вот в чем наша проблема: мы ничего не записываем.

А я записываю.

Я беру с полки блокнот и подаю Сесару.

Меня зовут Ана, вслух читает Сесар. Я люблю закаты. Мне пятнадцать лет.

Я записываю в этот блокнот все новые слова, и если что-то не поняла, тоже записываю. А потом смотрю в словаре. Ну вот почему, например, какао — чао?

Сесар сгибается пополам от хохота.

Американцы так говорят по-английски, что их не поймешь, говорю я.

Хуан просто в обморок упадет, когда увидит, сколько ты всего узнала.

Он не знает, что я хожу на занятия.

Да Хуан вечно твердит, что надо учиться. Он меня в школу годами гонял.

Просто иногда он так злится, а я даже не понимаю — отчего.

Сесар изображает Хуана: «Вот я в твоём возрасте...»

Я тихонько смеюсь. Сходство потрясающее.

Сесар встает, выпячивает грудь, сжимает губы, хмурит брови — и становится еще больше похож на Хуана.

Ана, скажи мне, что ты любишь меня, меня, меня!

И ждет ответа. Там, где у Хуана растут волосы, у Сесара гладкая кожа. У Хуана глаза большие и круглые, а у Сесара — как миндаль. У Хуана волосы тонкие и волнистые, у Сесара — густые заросли тугих кудрей. Хуан бледен, Сесар цветом похож на хрустящую корочку на сочном печеном курином окорочке, на густой горячий шоколад, на тост с маслом, на темный мед, на санкочо, который долго настаивался на медленном огне.

На все то, что мне так хочется ощутить на языке.

Я люблю тебя, говорю я, не кривя душой. Я люблю Сесара каждой косточкой своего тела, и своей, и ребенка. И если я сейчас что-нибудь не съем, то возьмусь за него.

Иди ко мне, поцелуй меня, взывает Сесар все еще в образе Хуана, из последних сил давя смешок.

Нет, Хуан.

Ну что же ты, Ана, не будь ты бананом. Сесар похлопывает себя по щеке.

Я быстро чмокаю его в эту щеку и убегая на кухню.

Умница! — кричит из гостиной Сесар. Иди учись, будешь богатой, а я уж посижу дома с ребенком!

Я прижимаюсь спиной к стене кухни, чтобы Сесар не видел румянца, залившего мои щеки. В холодильнике я нахожу половинку луковицы, помидор, открытую банку томатной пасты, пучок петрушки и несколько перцев. Еще я замочила фасоль, ее тоже надо приготовить. Суп, я сварю суп. В гостиной стучит швейная машинка Сесара, а я зажигаю конфорки, потом уменьшаю огонь.

КОГДА СЕСАР ЯВЛЯЕТСЯ К УЖИНУ ВМЕСТЕ С ГЕКТОРОМ, Я ИСПЫТЫВАЮ настоящее облегчение. Быть наедине с этими миндалевидными глазами, руками портного, танцующими ногами становится все тяжелее. Эти двое говорят если не о политике, то о бейсболе, и бейсбол мне нравится больше, потому что новости из Доминиканской Республики приходят только плохие.

Я смотрю игру вместе с Гектором и Сесаром. Они спорят о том, когда же наконец Хуан Маричал потеряет терпение и врежет кетчеру Джону Роузборо, потому что тот буквально напрашивается. Но на бейсбольном поле цветные игроки вынуждены обходиться с белыми крайне предупредительно, на них ведь весь мир смотрит. Но мы-то знаем, что стоит камере отвернуться, как Маричал сожмет кулаки.

Эти черные будут только рады, если мы сгинем, говорит Гектор.

Оба брата не понаслышке знакомы с тем напряжением, которое окружает на работе. В баре. На улице. И оно стало только сильнее после того, как Америка оккупировала Доминиканскую Республику, а в Лос-Анджелесе отстремел бунт. Тысячи людей вышли на улицы. Горели магазины; люди били витрины и брали себе все, что хотели.

Черные злятся, говорит Гектор.

Так и мы тоже злимся, говорит Сесар. Нам тоже никто не хочет сдавать жилье. Школы у нас ничем не лучше. Нам платят меньше. Полиция имеет на нас зуб, в нас стреляют без предупреждения. А мы всего-то и хотим, чтобы нам дали работать и оставили в покое. Хотим просто жить, не озираясь по сторонам. А черные все равно смотрят так, будто сказать хотят: а вы что тут забыли?

Все сложно, кивает Гектор. Найдешь работу — на тебя все ко-

сятся. Зато в бейсболе мы рвем их в клочья! Мы вскормлены платано!

Они смеются.

И всякий раз во время игры, когда Роузборо бросает мяч прямо в лицо Маричалу, раз за разом, мы забываем дышать.

Роузборо сбрасывает шлем. А Маричал берет свою битку и бьет Роузборо по голове прямо посреди поля. Мы понимаем, что завтра это будет на первой полосе всех газет.

Наконец-то мы попали во все новости. На все первые полосы.

Что это, как не конец Маричала и его карьеры? — вопрошает у телезрителей ведущий.

Но я не меньше тех, кто со мною рядом, чувствую радость от того, что доминиканец наконец-то постоял за себя.

ПРОСНУВШИСЬ НОЧЬЮ, Я ИДУ В ТУАЛЕТ И ОБНАРУЖИВАЮ, ЧТО Сесара нет на месте. На часах одиннадцать тридцать. Назавтра ему рано вставать на работу. Когда я уходила к себе после ужина, он дремал на диване. Сказал, что устал.

Из окна я вижу, что в бальном зале «Одюбон» все идет гулянка. Окна закрыты занавесками. На углу светятся витрины магазина «Бьюик». Я высовываюсь в окно. Эта ночь еще жарче прошлой. Два уличных фонаря разбиты, и в темноте особо ничего не разглядишь. Может, Сесар решил прогуляться? Он порой любит выкурить сигаретку в Голубином парке.

Вот паршивец. Ну сколько можно, опять ушел не предупредив.

Я перебираю его вещи в поисках подсказок, например коробка спичек с логотипом какого-нибудь местного заведения. Беру рубашку, которую он носил весь день, держу ее на коленях, пристроив ноги на кофейный столик. Нюхаю рубашку. От запаха Сесара я теряю всякое соображение.

Обычно-то я сплю как убитая, но малышка нынче брыкается — не уснешь.

Я включаю телевизор. Ничего, только громкий длинный писк-предупреждение. Хочется расслабиться, поэтому я берусь за крючок и нитки. Дома, в Доминиканской Республике, мама частенько просила меня связать кружевную салфетку кому-нибудь в подарок. Я это дело терпеть не могла. Я вечно сбивалась со счета и путала нить. Но теперь у меня столько тревог — вот-вот вернется Хуан, вот-вот родится малышка, — а вязание помогает занять руки и не съесть все, что только попадется на глаза, и я вывязываю петли, считая ряды и обретаю чувство контроля над происходящим. К тому же зимой малышке понадобится одеяльце, пинетки и шапочка.

Где ты? — спрашиваю я в тускло освещенную пустоту вокруг, словно жду, что стены поведают мне секрет Сесара. Ничего на свете я не хочу так, как того, чтобы Сесар влюбился и зажил своей жизнью. Так было бы проще для нас обоих.

Я жду его больше часа. Разве могу я уснуть, зная, что он где-то там, в ночи. Нас объединяет общее преступление. Мы видели друг друга и в лучшие времена, и в худшие.

Мама всегда советовала нам делать совсем не то, что от нас ожидают, — пусть не расслабляются. Но, заслышав щелчок замка, я выключаю стоящую рядом лампу, снова включаю и опять выключаю.

Увидев меня, Сесар вскрикивает. Я тоже вскрикиваю.

Ты что, с ума сошла, женщина?

Я не могла заснуть.

Так что тогда сидишь тут в темноте?

Да нет, я не... стоп, а ты где был?

Я шагаю ему навстречу и животом оттесняю к стене. Тычу пальцем ему в грудь.

От него пахнет баром.

Ана, ну жарко же. Я не мог заснуть. Решил сходить выпить.

А меня ты никогда с собой не берешь.

Так ты спала, храпела, как трактор.

Я никогда не храплю.

Тебе там делать нечего — там такой люд, что до беды недалеко.

Вроде того ирландца, который тебя ударил?

Ирландцы дерутся, только когда перепьют. А в этом баре в «счастливый час» продают две порции по цене одной. Да не волнуйся ты, если они начнут на меня косо поглядывать, я уйду в бар Маами. Она думает, что я кубинец, и наливает мне бесплатно.

Маами — барменша в баре для черных, которые разъезжают на «кадиллаках». А принадлежит бар матери Сэмми Дэвиса — младшего, того самого, который по телевизору играет музыку ногами.

Возьми меня с собой в следующий раз, говорю я.

Ты несовершеннолетняя. А ирландский бар теперь переименовали в «Луна Йена». Сегодня новую вывеску вешали. Ха, владелец мне так и сказал: вы, спики*, перепьете любого ирландца.

Ну, пожалуйста, Сесар! Обещай мне!

Ладно, ладно. Обещаю, что перепью любого ирландца.

* Латиносы (*искаж. англ.*).

НА СЛЕДУЮЩИЙ ВЕЧЕР Я СПРАШИВАЮ, ПОЙДЕМ ЛИ МЫ СЕГОДНЯ в бар. Хуан скоро вернется, и до его возвращения я хочу успеть по-видать этот самый бар полной луны близ Хай-Бридж.

Не сегодня, говорит Сесар, я слишком устал.

Я ухожу к себе в спальню, выключаю свет и жду, и наконец он снова потихоньку выходит из квартиры. А что его держит-то? Кому охота вечно носиться с растолстевшей замужней беременной бабой? Через неделю вернется Хуан. Он уже купил билет. Мы с Сесаром взбудоражены этой новостью. В последнюю встречу Хуан едва не съездил Сесару кулаком по лицу. Из-за меня. Но сейчас деньги лежат там же, где прежде. Когда Хуан их увидит, он наверняка простит Сесара.

Ходить одной по ночам — последнее дело, но я высоко закалываю волосы и надеваю сережки с фальшивым жемчугом. Подкрашиваю губы бледно-розовой помадой. Надеваю перешитое Сесаром платье и короткий плащ. На улице очень жарко, но этот плащ — моя броня. Сую несколько долларов в лифчик. Сумочку не беру, чтобы не приманивать воров. Зажимаю в кулаке ключи и думаю о Тересе, которая вот так же удирала по ночам.

Обычно я не боюсь лифта, но сегодня, когда медные створки закрываются и двери уползают вверх, каждая клеточка моего тела молит: вернись домой. Не могу я вот так взять и войти в незнакомый бар. А вдруг Сесара там нет? А вдруг он с женщиной? Он мужчина, у него свои потребности. Ну почему этой женщиной не могу быть я?

Я иду по Бродвею, по западной стороне улицы, этим путем ходят все, кто работает в больнице. Иду на север, минуя парковку, кафе, мастерскую ремонта обуви. В отсутствие непрестанного го-

родского шума я слышу, как шипят, открываясь и закрываясь, двери автобусов. Смотрю на выставленные в витрине мотоциклы, захваченные флуоресцентным светом автобусных фар. Подошвами чувствую, как дрожит земля, — это едет в мою сторону грузовик. Задержав дыхание, прохожу мимо громоздящихся друг на друге мусорных мешков — скоро их заберет мусоровоз. Подмечаю дверь больничного отделения неотложной помощи, оно работает круглосуточно. В новостях не устают твердить о том, что это самый опасный час, когда возможны бунты, грабежи, стрельба из автомобилей, но против всех предупреждений я сворачиваю на Сто семидесятую и иду на восток, до самой Амстердам-авеню.

Никак не могу решить, что лучше: идти по проезжей части, где пешехода может сбить пьяный водитель, или по пустому темному тротуару, где шныряют мыши. По спине пробегает холодок. Кто-то перебил все фонари вдоль улицы, и Хай-Бридж-парк превратился в черную дыру. Войди я туда, и больше меня никто не увидит.

Но вот наконец признаки жизни. Мужчины в щегольских костюмах и сверкающих ботинках, с зализанными назад прическами выходят из дорогих автомобилей. Дети и приличные женщины сидят по домам, а я — вот она, беременная тетка, отслеживаю деверя-ловеласа в баре имени полной луны.

Да, теперь Ану Руис-Кансьон можно с полным правом считать лунатиком.

Яставляю перед собой живот, стараясь, чтобы он казался больше, словно это меня защитит.

Новенькая неоновая вывеска «Ла Луна Йена» освещает вход в бар. Сквозь темные окна видны красные лампы и тесно стоящие столики. На стене за стойкой выстроились цветные бутылки. На высоких табуретах сидят женщины в едва прикрывающих тело нарядах, как у танцовщиц варьете. Музыка орет внутри так громко, что дрожат окна, и сквозь эти окна я вижу Сесара — он танцует, подняв руки над головой. Какие-то женщины смеются и вешаются на него: праздные женщины, доступные женщины, глупые жен-

щины. Блестящие розовые туфли на платформе. Выставленные напоказ длинные ноги. Короткая клетчатая юбка обрезана так высоко, что у меня замирает сердце. Гектор перешагивает по стульям к Сесару и дает ему пять. Братья кружат женщин, а те смеются, живут напропалую. Толпа перетекает из одного конца помещения в другой, и я то вижу их, то не вижу. А потом вижу свое отражение: глупая толстая девчонка, такой разве что коз пасти.

Вдруг в баре разом зажигаются все огни. Подавальщица несет на плече большое блюдо, на котором высокой горкой лежат спагетти. Сесар непринужденно, как дома, достает с полки тарелки. Большие часы на стене бьют полночь. Сесар рассказывал, что в полночь перед закрытием клиентам предлагают поужинать бесплатно. Я смотрю, как они едят, но тут кто-то выходит и говорит: хочешь войти?

Я неуклюже вхожу, и большой вентилятор окатывает мое лицо жаром. В баре не протолкнуться, музыка играет так громко, что я чувствую дрожь в груди. Куда подевались Сесар и Гектор? Я обвожу толпу взглядом и наконец вижу Сесара, его обращенную ко мне спину.

Сесар? Я кладу руку ему на плечо. Он оборачивается, и я пячусь. Это не Сесар. Меня держит за руку какой-то незнакомец. Крепко держит. Я распахиваю глаза.

Эй, детка, я не кусаюсь, говорит он и другой рукой похлопывает меня по щеке.

И тогда я даю ему пощечину. Бью так, что ладонь болит. Разворачиваюсь. Сесара тут нет, и Гектора тоже нет.

Ах ты сука, говорит он.

Теперь уже все на меня смотрят.

Я выбегаю из бара и торопливо бегу назад по Бродвею — ревнивая жена, которой надо выбросить из сердца собственного деверя, потому что уже совсем скоро домой вернется муж.

КТО СЪЕСТ РЫБУ ИГЛОБРЮХА, МОЖЕТ УМЕРЕТЬ, НО НЕКОТОРЫЕ все равно испытывают судьбу, едят и умирают. Держи ушки на макушке, не будь такой же *pendeja*, как другие девчонки из Лос-Гуайаканес, которые готовы влюбиться за сладкие речи. Если рыба иглобрюх чувствует опасность, она надувается, как шар, чтобы показать врагу: не подходи. Самцы иглобрюха неустанно обу-страивают свою территорию, привлекают так самку. Роют и роют плавниками, перекадывают ракушки. Они работают круглые сутки, и так много дней без перерыва. У самца иглобрюха много подруг, он царит на многих территориях, где живут самки. Если самка заплывает на его территорию и хочет уплыть, он ее кусает. Чтобы самка могла принять гостя, тот должен приглушить яркость своих синих, желтых и оранжевых пятен, чтобы главный иглобрюх не почувал угрозу.

Понимаешь меня, Ана?

КОГДА ДО ПРИЕЗДА ХУАНА ОСТАЕТСЯ ТРИ ДНЯ, СЕСАР ПРИНОСИТ домой платье из шоурума, где работает его друг. Образец, говорит он, из новой экспериментальной ткани, которая растягивается по форме тела.

Подгоню немного, и будет как раз на тебя, говорит он.

Потому что я не такая худая, как эти ваши модели?

Нет, потому что ты настоящая живая женщина.

Вместо пояса у алого платья черная эластичная лента, она высоко обхватывает меня по ребрам. Прямой вырез обнажает плечи, подчеркивая скулы. Вероломная Марисела однажды сказала, что скулы – это лучшее, что у меня есть.

Я натягиваю платье, с удовольствием отмечаю высокий подол и низкий вырез, подчеркивающий грудь. Платье облегает мое тело, укрывая его и одновременно придавая мне сексапильность. Пышные густые волосы падают ниже плеч. Я подкрашиваю губы помадой, ярко-красной, как пожарная машина. Щедро подвожу глаза, наношу тушь и румяна, ведь, когда Хуан вернется, показать с таким лицом мне будет никак нельзя.

Сесар ждет меня в гостиной с розой в руках. Он одет в белый костюм с шелковистой коричневой рубашкой. На сей раз он напмадил непокорные кудри и зачесал их назад, отчего выглядит теперь как человек с рекламы помады для волос «Дюк».

Роза живая. Я подношу ее к носу.

Оле! Сесар поднимает над собой руку, словно собираясь танцевать фламенко.

Ну как тебе? Я неловко делаю оборот, чтобы Сесар оценил свою работу.

В точности, как я и представлял. Идеально.

Тебе нужно шить платья для беременных толстушек. Мы же круглые, как киты.

Ты прекраснее розы. Он запускает пальцы в мои волосы и говорит: какие у тебя шикарные волосы, господи.

Смотри, пересластишь.

Ну, идем? Сесар отставляет локоть, и я беру его под руку.

Мы выходим из квартиры. Мои вспотевшие бедра трутся друг о друга. Отекшие ступни втиснуты в туфли на высоких каблуках, чтобы икры поджались, а ноги выглядели длиннее. Пусть мне больно, но в этот последний вечер я хочу выглядеть сногшибательно — ради Сесара. Сегодня я женщина, которая не боится ничего на свете.

Вышибалы из «Одубона» — Сесаровы приятели, они пропускают нас без очереди. Мы поднимаемся по узкой лестнице. Сесар ведет меня мимо кабинетов прямо в зал. Я развожу в стороны длинные бархатные занавески и смотрю в длинные сводчатые окна по стенам, прямо на наш дом. Как легко, оказывается, заглянуть в нашу квартиру ночью. Я забыла выключить свет на кухне! Виден силуэт Доминиканы, она стоит на окне, где я ее поставила, и смотрит на меня. Сколько вечеров я провела с ней, мучаясь желанием узнать, что же такое происходит за закрытыми шторами в «Одубоне». И вот я здесь.

Играет оркестр. Люди танцуют меренге.

Красивая музыка, а? Сесар добывает стул и садится рядом со мной.

Я подмечаю женщин с узкими талиями и свежими лицами. Не хочу отпускать руку Сесара, не могу перестать смотреть ему в лицо, на его улыбку, его радость, его сияющие глаза.

Потанцуем? — предлагаю я.

Сесар предлагает мне руку, и мы скользим к запруженной танцорами площадке.

Живот у меня такой большой, что, когда Сесар меня кружит, ему приходится вытягивать руки. Моя спина напротив его груди.

Я прижимаюсь к нему, он делает движение вперед, наши бедра стремительно двигаются из стороны в сторону, ноги взрывают деревянный пол, его дыхание на моей шее, руки поверх моих рук, мои пальцы переплетены с его. Песня звучит медленно, потом быстро, снова медленно и снова быстро, и музыка обнимает нас. У него сильные и уверенные руки, и, доверившись им, я кружусь, кружусь и падаю со смехом на его плечо. Мои руки обнимают его шею, моя голова у него на груди. С каждым поворотом мои ноги отрываются от земли. Это другая Ана, такая легкая, любимая и прекрасная. При мысли о неизбежном возвращении Хуана приходят слезы, они текут по щекам и мочат его костюм. Сесар не отстраняется и ни о чем не спрашивает, только обнимает меня крепче, прижимая к себе, и руки его скользят вверх-вниз по моей спине. Он достает платок и вытирает потекшую тушь у меня под глазами. А потом — это. Я знаю, что это случится, знаю, что должна его остановить. Он целует меня в губы, сильно и настойчиво, его язык заполняет мой рот, мои губы прижаты к его губам, у меня кружится голова, а боль между ног пульсирует в унисон с сердцем. Я запускаю руки ему под рубашку. Желание. Ничем не скованное, неприкрытое, свободное.

Оркестр перестает играть. Я открываю глаза, но вокруг совершенно темно. В ожидании света я цепляюсь за Сесара. Два тела, два сердца бьются как одно.

Что это было? — шепчу я. Все вокруг замерло в безмолвии.

*Se fue la luz!** — кричат со сцены.

Доминиканцы в городе! Сесар торжествующе вопит, и ему вторят многие, чтобы все видели, что нас в городе все больше. Скоро в Вашингтон-Хайтс нас будет больше, чем пуэрториканцев, итальянцев, ирландцев и евреев.

Возвращается свет, звенит треугольник, поют трубы, вступает пианино и барабаны. Сесар любовно смотрит на меня.

Я отворачиваюсь, прижимаюсь к нему спиной. Его естество как

* Электричество отключилось! (исп.)

пистолет. Я отстраняюсь. Он прижимает меня тесней. Я закрываю глаза. Хочу быть рядом с ним, обнаженной, хочу ощутить его руки между своих ног и на груди. Он трется об меня. Танцующих становится больше, толпа все гуще. Музыка затягивает нас и принимает в свои объятия. Он крепко держит меня. В танце он совсем близко, ближе, чем когда-либо прежде. У меня внутри все горит, и я целую его. Сосу его язык, кусаю губы, и я пропала.

Заканчивается песня, и я отрываюсь от него — естество горит, голова идет кругом.

Сесар, мне нужно в туалет.

Ана, погоди.

В туалете я смываю тушь со щек и вокруг глаз. И губная помада совсем размазалась.

Что я творю?

Ана! — зовет из-за двери Сесар.

Еще минутку! — отвечаю я.

Я выхожу, и Сесар бросается ко мне. Тянет меня в холл, к кабинетам — там тише.

Прости меня, Ана, говорит он.

За что? Это же я теперь попаду в ад, говорю я. Это ребенок Хуана.

Но я люблю тебя, говорит Сесар.

Меня — и еще сотню таких же.

Я думаю только о тебе, говорит он и сует руки в карманы.

Хуан тебя убьет.

Мы с Сесаром едим ядовитую рыбу. И чтобы покончить с этим здесь и сейчас, я бегу по узкой лестнице вниз, к выходу.

Подожди, Ана. Подожди.

Снаружи толпятся желающие войти. Какая-то часть меня с удовольствием думает, что сейчас им будет на что посмотреть.

Прошу тебя, Сесар, говорю я голосом героини сериала, забудь обо мне. Я разрушу твою жизнь. Уходи, прошу.

Сесар хлопает себя по лбу. К этому времени мы уже выходим в холл.

Я тебе не собака. Нечего меня гнать.

Следом за мной он переходит улицу и входит в наш дом. Смотрит, как я шумно луплю по кнопке лифта и, сложив руки на груди, рассматриваю ряд цифр, за которыми загораются лампочки.

Опередив меня, он открывает дверь лифта.

Уходи, говорю я, едва войдя.

Сесар прижимает меня к стене. Удерживает руки.

Скажи, что не любишь меня.

Я люблю его. Я его чертовски люблю. Его шальные глаза, его твердую задницу, его мускулистые ноги. Люблю, как он с придыханием произносит мое имя. К чему лгать? Все это время мы ели иглобрюха. Все время, пока едет лифт, я смотрю на его губы. Я беру его за руку и веду за собой в квартиру. В кухонном окне горит свет. Как хорошо, что Доминикана на окне смотрит в другую сторону. Мы с Сесаром уходим в спальню. Мы не включаем свет, не говорим ни слова. В темноте, где единственным нашим свидетелем — луна, я сдергиваю с него пиджак, расстегиваю рубашку. Касаюсь ключицы. Расстегиваю пояс и брюки, смотрю, как они падают на пол. Стягиваю с него белые трусы, я сама их отбеливала. Его пистолет упруго вздымается, указывая на меня, и я впервые не содрогаюсь и не отвожу взгляда. Я смотрю на него. Обхватываю ладонью. Хочу ощутить его внутри себя. Я поворачиваюсь, чтобы Сесар расстегнул мне платье. Лифчик. Белье. Прочь, все прочь. Все на полу. И когда мы встаем лицом друг к другу, обнаженные, словно младенцы, он обнимает мой живот, круглый и твердый. Проводит пальцем по тонкой темной линии, уходящей от пупка к моему гнездышку. Его пальцы запутываются в волосах моего лона.

Ты чертовская красавица, говорит он, и я прижимаю его руку, вжимаю в себя его пальцы. Он ахает мне в ухо, его волосы щекочут мне лицо. Мои соски твердеют. Он поворачивает меня к себе спиной, и его естество трется у меня между ног. Он заставляет меня наклониться и опереться о кровать. Его грудь касается моей спи-

ны. Его губы на моей шее, на плечах. Его рука ныряет в меня. Я хватаю его и толкаю в себя. Пусть я умру прямо здесь — мне все равно. Я хочу, чтобы он был внутри меня целую вечность. Пусть это будет наш последний день. Пусть мы оба умрем прямо на этом месте.

ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ ЗАСТАЕТ НАС ОБНАЖЕННЫМИ ВСЕ В ТОЙ ЖЕ постели. В постели Хуана. Тела наши липки от пота, от нашего пота. От всего. Я смотрю на Сесара, который спит на спине, руки закинута за голову, ноги раскинуты, пенис маленький и сморщенный, как тамаринд. Я встаю, чтобы накинуть на себя что-нибудь и сделать кофе, но Сесар тянет меня к себе и в считанные секунды вновь обретает готовность. Но сейчас день. Нет больше спасительной темноты.

Дай я сделаю кофе, говорю я. Мне нужно почистить зубы. Умыться лицо, все в потеках слез и не до конца стертой косметики. Надеть хоть что-нибудь. Собрать себя заново. Из-за влаги мои волосы торчат как морская звезда.

Не уходи.

Я вернусь, обещаю.

Я прикрываю тело простыней и выхожу.

Кофеварка готовит кофе, на плите греется молоко, а я стремительно погружаюсь в чувство вины. Через два дня вернется Хуан. Мама была права. Меня поймал дьявол и украл мой разум. Любовь, любовь, любовь. Что толку в любви, ведь любовь не накормит. Женщина должна быть практичной. У нас был план. На папиной земле уже высятся сложенные бетонные плиты. Тереса загубила свою жизнь, связавшись с Эль Гуардией, а я загубила все будущее моей семьи, связавшись с деверем. Почему Сесар не незнакомец, почему его нельзя потихоньку убрать с глаз долой, чтобы не осложнять? Кофе поднимается над краем. Молоко вскипает и убегает.

Ана! — зовет из спальни Сесар, как будто он всегда спал в этой комнате. Как будто мы всегда были любовниками. И я думаю о Хуане, как он зовет: Кари! — из постели Каридад, как будто по-

стель эта не принадлежит ее мужу. Так вот как это получается. Так вот как.

Я приношу в комнату две чашки *café con leche**. Сесар по-прежнему наг и готов. Как подросток, право слово. Улыбка от уха до уха. Он зажигает сигарету, а глаза его полны желания. Не такого, как у Габриэля, не желания, которому никогда еще не приходилось сбыться. Желание Сесара — желание мужчины, ненасытное желание того, кто уже попробовал на вкус победу.

Я тут думал, говорит Сесар, попивая кофе, и затягивается сигаретой. Садится, подсунув под спину подушки, вытягивает ноги и скрещивает их в щиколотках. Я сажусь на угол напротив, на самый край. Нервно пью кофе, думаю: всего два дня. Два дня!

Но Сесару, кажется, все равно. Как будто я просто очередная мужняя жена из его длинного списка.

У меня есть одна знакомая, она переехала в Бостон.

Снова Бостон. Вечно этот Бостон.

Она открыла собственную химчистку и теперь ищет портного. Она спросила меня, не хочу ли я тоже переехать. Это всего в трех часах пути. У нее свой дом с садом, как у Гектора, славный такой — белый заборчик, гараж. Она сказала, что может сдать мне квартиру над гаражом, и мы будем работать вместе. Как партнеры.

Так вот что он задумал — уехать из Нью-Йорка в Бостон. Он все говорит, но я слышу только вой полицейских сирен за окном.

Что думаешь?

Усилием воли я сдерживаюсь, чтобы не швырнуть чашку с кофе ему в лицо.

Давай одеваться, говорю я. Скоро приедет Хуан, надо еще многое сделать.

Я отворачиваюсь.

Ты что, не хочешь уехать со мной в Бостон? — спрашивает Сесар.

Он тянется ко мне и кладет руки мне на плечи. И в зеркале

* Кофе с молоком (исп.).

я вижу Нас. Растрепанные волосы, кожа, потемневшая оттого, что мы подолгу сидели на солнце. Впервые я вижу нас такими нагими.

С тобой? Это и впрямь было сказано.

Ну конечно, глупая.

Он перелезает через меня и встает на колени. Его глаза смотрят снизу вверх. Руки обнимают мой живот.

Я хочу заботиться о тебе и о твоём ребенке. В Бостоне мы все начнем сначала. Ты будешь готовить и продавать свою стряпню. А я буду шить.

Хуан тебя никогда не простит. Вдруг он тебя убьет?

А я рискну.

А моя мать? Мой отец? Нельзя же просто так взять и убежать. Они на меня рассчитывают.

Люди часто убегают. И даже не из-за любви, а по куда менее важным причинам. Я люблю тебя, Ана. А ты любишь меня. Да пусть хоть никто в моей семье ни разу больше со мной не заговорит, я все равно хочу быть с тобой. Мы ведь уже не можем сделать вид, что ничего не было. Не можем. Скажи «да», ну пожалуйста.

Я училась притворяться всю жизнь. Притворяйся, притворяйся, притворяйся. Притворяйся, что не больно, когда порют. Притворись, что слушаешь. Притворись, что тебе интересно слушать рассказы Хуана, притворись, что любишь его. Притворись, что рада оставить дом в Лос-Гуайаканес.

К черту притворство. Да, говорю я. Да.

ЧАСТЬ VI



ИЗ САНТО-ДОМИНГО ПРИЕЗЖАЕТ ХУАН. ОН ВХОДИТ В КВАРТИРУ уже навеселе, спасибо фляжке, которую носит в кармане Гектор. Они врываются в квартиру, неся багаж Хуана и целые сумки доминиканских угощений в разноцветной оберточной бумаге.

Какая ты стала, говорит он, похлопывая меня по щеке. У меня для тебя сюрприз.

Я верчусь как белка в колесе, торопливо соображая, как накормить троих.

Какой?

Твоей матери и Ленни скоро дадут визу. Может быть, они успеют приехать еще до того, как родится ребенок.

Что?

Разве ты не этого так хотела? — говорит Хуан.

То, чего я хотела, уже идет полным ходом. Сесар готовит для нас квартиру. Наполняет холодильник. Высматривает детские площадки и садики. Ищет школу, чтобы я могла учиться, и работу с гибким графиком, чтобы можно было присматривать за ребенком. Он будет ждать два месяца, до родов. А потом мы убежим с ним.

А где Сесар? — спрашивает, озираясь, Хуан.

Гектор объясняет, что Сесар нашел работу в Бостоне и уехал. Так всегда делают братья Руис. Они никогда не упустят возможности подзаработать. Я закрываю глаза и в мыслях прошу у Сесара совета, защиты, ответа. Но Сесар не встал перед Хуаном со мной вместе, он уехал в Бостон, улетел на реактивном ранце в бескрайнее пространство.

Я тебе про мать сказал, а ты будто и не рада? — Толстые, как сосиски, пальцы Хуана растирают мне шею.

Ну что ты. Конечно рада. Просто это так неожиданно.

Звонит телефон. Я делаю глубокий вдох.

Хуан берет трубку, говорит несколько слов и быстро вешает, словно очень занят. Его взгляд вновь находит мой, словно желая проникнуть мне прямо в сердце.

Братья проносятся по дому, как дикие кабаны. Распахиваются твердые пластиковые чемоданы, позволяя выпотрошить содержимое. Хуан достает бутылку рома в сетчатой обертке.

Barceló Añejo, то, что надо!

Я сжимаю губы, чтобы не заплакать. Надо было забрать все деньги, что я заработала, пойти на станцию Пенн и вместе с Сесаром сесть на автобус. Мы сошли бы в Бостоне, около супермаркета, а там его знакомая подобрала бы нас и отвезла в маленькую квартиру над гаражом у нее при доме.

Ана, говорит Хуан, стаканы неси.

Он хлопает меня по заднице, подталкивает к кухне, руки у него рыхлые, но не такие злые, как я запомнила.

В поисках спокойствия, в поисках порядка я ухожу на кухню, неся с собой бутылку рома. Открываю дверцы шкафчика, где ровным строем стоят стаканы, один за другим, словно на витрине магазина. Я ставлю на деревянный поднос два пузатых стакана и третий — для себя.

Я кладу во все три стакана лед и разливаю по стаканам ром. Один выпиваю залпом прежде, чем выйти из кухни. Тяжело сглатываю. Ставлю поднос на кофейный столик, поворачиваюсь спиной к Хуану с Гектором и смотрю в окно, на неизменный Бродвей, на людей, которые приходят и уходят, подчиняясь своему жизненному ритму. Люди снова и снова стоят на одной и той же остановке. Снова и снова входят в «Одубон» и выходят, встречая одних и тех же на своем пути.

Неужели это правда? Мама и Ленни приезжают в Нью-Йорк?

Жгучий вкус рома в горле и на языке все никак не проходит. Тепло от него наполняет мою голову.

Сядь со мной, Ана, говорит Хуан, отпихивая Гектора на дальний конец дивана, чтобы освободить место для меня. В голосе Хуана звучит смех, он не подозревает о том, как я изменилась, не подозревает о моем предательстве. От этого мне жаль его.

Как доехал? — спрашиваю я, просто чтобы не молчать.

Без проблем. Даже и не заметил, что лечу.

В последний раз, когда я летал, блевал аж три раза, говорит Гектор. У этого пилота самолет скакал вверх-вниз, что твой кролик.

Мужчины смеются, Гектор прыгает по гостиной. Его тяжелое тело сотрясает деревянные полы, и мне хочется, чтобы мистер О'Брайен подал сигнал своей метлой.

Рука Хуана ложится мне на колено, как кирпич.

У меня еда на плите, говорю я и выворачиваюсь.

Что угодно отдала бы, лишь бы услышать голос Сесара.

Хуан идет за мной на кухню.

Помочь тебе?

Начинается. Теперь придется притворяться.

Достань мне большое блюдо с верхней полки.

Он лезет на табурет, вручает мне блюдо. Встает у меня за спиной. Кухня узкая — не развернуться. Когда Хуан встает у меня за спиной, мне приходится прижаться животом к раковине. Его руки обхватывают мои груди.

Какие большие.

Его пальцы сжимаются. Мне больно, но я стою без движения и молчу. Его руки опускаются на шар моего живота, твердый, огромный. Внезапно он покусывает меня за шею.

Я вздрагиваю. Может, зря я решила дожидаться рождения ребенка и только потом уехать.

Хуан, для троих здесь слишком тесно, да и жарко. Иди, а то брат заскучает.

Как же я соскучился по вас обоим, *pajarita*, говорит он.

Я накрываю стол в гостиной и от входа в кухню смотрю, как

едят Хуан с братом. Я голодна, но я никогда не ем с гостями — разве только с Мариселой, разве только с Сесаром.

Звонит телефон. Я беру трубку. На том конце молчание.

Каридад? Я знаю, что это ты, говорю я, сама удивляясь своему голосу.

Долгую минуту я держу трубку у уха, вешаю ее и высовываюсь в гостиную.

Это тебе звонили, Хуан.

Хуан в последний раз вытирает рот салфеткой и сует голову на кухню, где я деловито чищу выставленные на кухонный стол грязные кастрюли.

Мне тут нужно кое-куда съездить. Но ты не волнуйся, я скоро, говорит он мне, потом поворачивается к Гектору. Подвезешь?

Само собой.

Гектор маячит у двери в ожидании Хуана. Тот достает из чемодана маленький сверток и сует в карман пиджака.

Ты привез мне письма? — кричу я Хуану, пока он не ушел.

В чемодане посмотри, говорит он, а потом, словно вспомнив, поворачивается ко мне, обнимает, отрывает от земли.

Будь умницей, *rajarita*. Я вернусь еще прежде, чем взойдет луна. И помни, ты важнее всего на свете.

И они уходят. А я наконец-то могу дышать. Я выключаю музыку. Закрываю все окна, чтобы отсечь уличный шум, — мне так хочется тишины.

Я мою тарелки и оставляю их отмокать в мыльной воде. Снова звонит телефон. Вдруг это мама, думаю я с надеждой, но знаю, что это Каридад.

Aló. Я прижимаю трубку ухом, не отрываясь от мытья посуды, и чего-то жду, ну хоть чего-то.

Он уехал. К тебе, говорю я.

На другом конце — тишина, даже дыхания не слышно.

Трусиха! Скажи хоть что-нибудь! — говорю я и швыряю об пол тарелку.

Я ПОДМЕТАЮ ОСКОЛКИ, СОБИРАЮ В СОВОК ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ от тарелки, и бросаю все в мусор. Домываю посуду, протираю плитку. Достая одежду Хуана, вешаю в шкаф, раскладываю по ящикам комода. Грязное бросаю в корзину в ванной. Достая пакетики с леденцами от мамы и четыре письма, плотно связанные бечевкой и обернутые в пластиковый пакет. Сначала закончу с уборкой. Потом сяду читать. Отчего-то при виде этих писем мне становится не по себе. Я укладываю по полкам свертки — сувениры для друзей Хуана, имена которых мне ничего не говорят. Когда все содержимое чемоданов Хуана лежит по местам, я долго смотрю на их опустевшие разъявленные пасти, которые так и молят вернуть их домой, в Доминиканскую Республику.

Что, если я уеду в Бостон, не дожидаясь возвращения Хуана? Сообщу Сесару, что еду, и он встретит меня на станции. Чтобы наверстать упущенное, Хуану с Каридад хватит трех, самое большее — четырех часов. Плюс четыре часа на автобусе до Бостона. Но как связаться с Сесаром?

Я лихорадочно выдергиваю ящики комода, запикиваю вещи в сумку. Можно уйти в одно из тех мест, о которых говорилось в докторском буклете, в том, с картой, Хуан смял его и выбросил, а я потом достала из мусора и спрятала в ящике комода. Красные точки — убежища, там безопасно. Но что дальше?

За уборкой думается лучше, поэтому я выжимаю лежащее в ванне постиранное белье, привязываю веревку одним концом к петле входной двери и другим — к петле двери кладовки, через всю гостиную, развешиваю сушиться. Принимаю ванну. Брею ноги и подмышки. Мою волосы и накручиваю прядки на бигуди. А если просто срезать? Но тогда уж Хуан меня точно убьет.

Выйти из квартиры с мокрой головой я не могу, поэтому устраиваю сушилку для волос на спинке дивана и сажусь сушить голову. Это сорок минут самое меньшее. За это время я что-нибудь придумаю.

Я кладу себе на колени письма от домашних. Одно из них от Йонни — от Йонни? Я роняю письмо, словно призрак написал его и сунул под остальные.

Я поглубже устраиваюсь на диване, поворачиваю голову под сушилкой так и эдак, чтобы горячий воздух не обжигал щеки и кончики ушей. Открываю первое письмо, от мамы. Никаких «как поживаешь?». Никаких «как малыш?». Письмо начинается со слов: я подала на туристическую визу, начинай искать для меня работу. Ленни приедет с ней, потому что без взрослых он, как известно, ни на что не способен, разве что читать газету папе, когда тот слишком устал и сам читать не может. И еще считать. Ленни, пишет мама, ходячий калькулятор. Совсем как ты. За два билета на самолет папа отдал Хуану еще один большой участок земли.

Я опускаю письмо. У меня болит сердце. Такой человек, как папа, — как он будет без своей земли?

Папино письмо написано на листке из блокнота, карандашом. Второе его письмо за все время, что я уехала. Как и первое, оно начинается со слов: не хочу тебя беспокоить. Ни о чем не хочу просить. Потом он пишет: теперь ты должна позаботиться о маме. Присматривай за Ленни. На днях я дал ему гаечный ключ, так он чуть без пальца не остался.

Письмо оканчивается словами: Хуан — хороший человек.

Папа больше не борец. Он тоже притворяется.

Я смотрю на папины детские каракули. Он ходил в школу года два или три, не больше. Да, папа, хороший человек платит за жилье, кормит семью, много работает. Хороший человек держит свое слово. Он изменяет жене. Он едва не задушил ее. Он щиплет ее, бьет, делает ей больно. Да, папа, Хуан — хороший человек.

Что же станет с мамой и Ленни, если мы с Сесаром поселимся в Бостоне, в однокомнатной квартирке над гаражом? Мама никогда этого не допустит. Она предана Хуану. Будущее нашей земли зависит от Хуана. А вскоре и папе придется ехать в Нью-Йорк, ведь не может же он жить один. А что будет с Тересой, с бедняжкой Хуанитой и Бетти?

В поисках ответов я вскрываю письмо Тересы. Ответов нет. Она угодила в лапы к этим, в белых рубашках и с Библией в руках. В тот самый миг, когда я думала, что Господь оставил меня, пишет она, мисс Эшли из Техаса пригласила нас пообедать со своей семьей, чтобы показать, как они процветают милостью Господней. Дальше Тереса нудно, в мельчайших подробностях описывает печенье с шоколадной крошкой, которое подали на десерт. И волшебные голубые коробочки с макаронами-рожками, которые они ей подавали, и еще — что есть такой желтый порошок, его можно залить горячей водой, и им с Эль Гуардией хватает на целую неделю! Значит, теперь ей не надо больше молоть юкку и замачивать фасоль, и можно посвятить все время тому, чтобы нести слово Господне. Я видела эти голубые коробочки в супермаркете, на одной полке с «Шеф Бойярди».

Бедная, бедная Тереса, которую соблазнили макаронами и сыром янки в белых рубашках с коротким рукавом и в черных брюках, те, что ходят от двери к двери, никогда не поодиночке, раздают еду уличным детишкам и заманивают к себе в дом, чтобы усадить кружком в гостиной и твердить о том, как Господь их любит. В Нью-Йорке я тоже видела этих, в белых рубашках, они стояли у выхода из метро. Но Тереса всегда казалась такой сильной. Ерунда какая-то. Я скоро буду матерью, и даже я знаю, что Богу куда больше нравится, когда Его чада держатся поодаль, а не вешаются на него, прося того и этого, как балованные дети.

Я беру письмо Йонни, потираю кончиками пальцев кремовый тетрадный лист в голубых чернилах. Почерк убористый, почти без пробелов между словами.

Привет, сестренка!

Как ты там? Забыла уже про нас про всех, да? Завтра я повезу письма Хуану, но на самом деле просто хочу повидать Хуаниту. Представляешь, она беременна. Ребенок мой. Знаю-знаю, все сложно. Слава богу, мы троюродные, иначе пришлось бы отправлять ее на аборт. Жестоко, да? А, ладно, что бы там ни было, я все равно уеду в Нью-Йорк, и ее заберу с собой. Мама не знает, потому что все еще зла на Тересу за ее шашни с Эль Гуардией. А мне-то что делать? Я люблю Хуаниту. А про Бетти тебе мама уже сказала? В нее влюбился американский солдат, я его знаю, оказывал ему кое-какие услуги. Это в нашу-то скромницу Бетти с лошадиным личиком! Мама как его увидела — а он весь такой в форме, ростом шесть с лишним футов, белый как молоко, сразу видно, ни единой тарелки в жизни не разбил, — так сразу и подсуетилась. Он увезет Бетти в Теннесси. Мама на него поколдовала, только он об этом не знает. Можешь себе представить, как обзавидовалась Хуанита. Тоже хочет, чтобы ее ребенок родился в Америке. Как твой и как Беттин. Так что план готов. Оглянуться не успеешь, а я уже стою у твоей двери.

Твой брат

Йонни

Я складываю письма, уши под сушилкой горят. Касаюсь волос — все еще влажные. Почему никто не сказал мне, что у Хуаниты и Йонни должен был быть ребенок? Или это до сих пор секрет? А про Бетти почему молчали? Она выходит за американского солдата и будет жить с ним в каком-то из штатов в самом центре страны. Я и помыслить о таком не могла. Ах, милая Бетти, если она полюбила его так же, как он ее, — какое счастье.

Я вылезаю из-под сушилки.

Стоит маме приехать, как она начнет заправлять всем вокруг. Что будет на обед, кто что должен делать — мне и слова сказать не позволят. Мама в первый же день переделает все по-своему. Тут уж и к гадалке не ходи. А как иначе-то?

Я обнимаю живот и говорю ему: скоро и ты тоже будет заправлять моей жизнью.

В ванной я снимаю бигуди и оставляю их вместе с пластиковыми шпильками в раковине. Кончики волос до сих пор не просохли. Соño! Сагајо! Длинные волосы — это для девчонок. А я скоро буду матерью. Я достаю из аптечки ножницы и разом обрезаю волосы на половину длины. Кудри пружинисто выются вокруг лица. Выгоревшие, высушенные доминиканским солнцем кончики падают на пол. Глаза у меня становятся больше. Обнажается шея. Голове легко. Пусть Хуан злится. Пусть Сесар думает, что я уродина. Это мои волосы.

Я складываю пустые чемоданы Хуана один в другой и выставлю в коридор. Не бывать нам с Сесаром в Бостоне, надо как-то об этом ему сообщить. Я набираю себе остатков и сажусь у окна поесть.

Голуби вернулись. Целый выводок. Они и знать не знают о том, как погиб голубь Бетти. Я смотрю, как из «Одубона» выбегает еврейская детвора, машет бело-голубыми флагами. Отчего это люди бывают так счастливы?

Скоро стемнеет. Скоро на магазинах опустятся металлические жалюзи. Скоро соберется толпа на семичасовой фильм. Ох, Йонни и его письмо. Может быть, он ждет случая вернуться, стоит на черте, ждет, чтобы прыгнуть в нерожденного младенца и родиться вместе с ним. Может быть, он прыгнет в мое дитя.

Я втягиваю воздух. Что ж, по крайней мере, мама поможет мне с ребенком, и тогда я пойду работать и учиться. А вот моя стрижка ей не понравится, да еще как.

ХУАН ДЕРЖИТ СЛОВО И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НА НЕБЕ
покажется луна. Принимает душ. Ест, после еды говорит: я устал. Каридад, видать, времени зря не теряла.

Идем в постель, говорит он, протягивая руку. О моих волосах даже и не упоминает. Меня это бесит.

Я не успеваю придумать предлог для бегства — он хватается меня за руку. Я мылась дважды. И все равно не могу смыть с себя Сесара.

Хуан хочет увидеть, насколько я увеличилась. Снимает брюки, для удобства. Остается в носках, трусах и рубашке на пуговицах. За время, что был в отъезде, он похудел и выглядит поздоровевшим и загоревшим. В комнату льется лунный свет, но он все равно включает лампу у тумбочки. Прятаться негде. Хуан вытягивается на постели. Смотрит на меня. Я стою.

По-моему, этот ребенок выпрыгнет прямо сейчас, говорит он.

Я смеюсь, не зная, что сказать.

Иди сюда, говорит он, и я сажусь рядом. Он притягивает меня к себе на грудь. Моя голова поднимается с каждым его вдохом. Видит ли он, что я уже не та ледышка, что была два месяца назад? Что-то поменялось, во мне пылает огонь, хищный и голодный. Словно то, что внутри меня, вот-вот хлынет сквозь кожу, из глаз, из ушей, из носа. Тереса говорила об этой опасности, о том, как мы теряем власть над собой. Но Сесар не ждет меня в ночи, в машине, чтобы увезти прочь, как увозил Тересу ее Эль Гуардия. Сесар даже не позвонил.

Утомленный, он засыпает, и я засыпаю тоже.

Я просыпаюсь несколько часов спустя, спиной к Хуану. Он обнимает меня сзади.

К моему удивлению, он пропускает мои волосы сквозь пальцы и нежно целует в шею.

Я готовлюсь дать бой.

С этой стрижкой ты моя темноволосая Мэрилин Монро, шепчет он.

Расстегивает молнию у меня на платье, расстегивает крючки лифчика.

Я устала, Хуан, говорю я, отстраняясь.

Я просто хочу посмотреть, говорит он и переворачивает меня на спину. Стягивает рукава и все платье. Соски у меня стали большие и темные, чувствительные к легчайшему прикосновению. Сесар забирал их в рот целиком. Целовал каждый дюйм моей кожи, снова и снова. Убегая на автобус до Бостона, он сказал: не тревожься, моя радость. Все будет хорошо.

Я закрываю глаза, чтобы не видеть Хуана. Снова поворачиваюсь к нему спиной. Он что, не видит, что я не хочу, чтобы меня трогали? Не видит, что я больше не принадлежу ему?

Его естество тычется в меня сзади. Он задирает мне подол. Забирает волосы в кулак, будто лошадиный повод, и дергает мою голову назад так, что я встречаюсь с ним взглядом. Я возношу молитву статуе Иисуса на подоконнике, что стоит рядом со свечой Девы Альтаграсии, и святому Мартину. И воображаю, как раздуваюсь в шар, будто рыба иглобрюх, и теперь меня невозможно укусить.

Уйди! Отстань от меня! — кричу я и лягаю Хуана ногой. Встакиваю с постели, дрожа всем телом.

Естество Хуана смотрит в потолок. Он тарашится на меня во все глаза, словно не узнавая. А я стою. Крепко упираюсь ногами в пол. Сдергиваю с кровати простыню и набрасываю на себя.

Как приятно вернуться домой, саркастически говорит он. Не кричит на меня. И не настаивает.

ХУАН ТАК И НЕ СОБРАЛСЯ ЗАГЛЯНУТЬ ДОМОЙ, НО ПОЗВОНИЛ и сказал, что будет к ужину. Раньше он никогда не пытался оправдаться. А теперь говорит и говорит. Выдумывает тысячи отговорок, только бы скрыть, что провел ночь с Каридад.

Солнце припекает, но воздух свеж. До урока английского всего час. Я кладу в сумочку блокнот и иду в сторону церкви. Полицейских вокруг больше, чем пожарных гидрантов. «Одубон» окружен полицейскими автомобилями. Улица усыпана битым стеклом, а владельцы магазинов заколачивают витрины деревянными щитами. На улице совсем нет детей. Никто не играет в уличный бейсбол. Куда-то подевались пожилые парочки, которые сидели на каждом углу, принеся с собой садовые стулья, обмахивались веерами и сплетничали. Я понимаю, что надо вернуться, но не хочу опять сидеть одна в квартире, где все напоминает о Сесаре.

На доме приходского священника объявление: уроки отменяются. Я взбираюсь по ступеням, ведущим к дверям церкви. Войдя, я ощущаю порыв прохладного воздуха и необоримую необходимость покаяться в том, что я не чувствую вины за время, проведенное с Сесаром.

Перед одной из скамей молится коленопреклоненная сестра Лусия. Я сажусь рядом. Закончив молитву, сестра Лусия берет меня за руку и хмурится. Неужели она видит, что я согрешила?

Иди домой, пока на улице тихо, говорит она по-испански. Как я рада слышать испанскую речь в ее устах.

И перестань так улыбаться. Голос у нее озабоченный, наполненный тревогой.

В прошлом году полицейские застрелили невинного человека, и вокруг церкви и по всему Гарлему шли погромы. Иди домой,

слышишь, Ана? И дверь запри. И сестра Лусия жестом отправляет меня к выходу.

На улице я вглядываюсь в суровые мужские и женские лица, эти люди старше меня, они стоят перед своими домами, обороняя их. От их гнева мне становится не по себе, но все-таки я их понимаю. Гнев и осознание того, что твоей жизнью управляет кто-то другой. Что тебе грозит беда. Что те, от кого ты зависишь, ясно дали понять, что могут сделать с тобой что угодно, даже убить, просто потому, что им так захотелось. Я все понимаю.

Много часов я смотрю в окно и ожидаю чего-нибудь. На экране телевизора полыхают пожары. Санто-Доминго тоже полыхает. На улицах – фейерверки и выстрелы, и не разберешь, что есть что. Молодые парни под огнем во Вьетнаме. Слишком много повсюду огня, и во мне тоже. Слишком много.

НАКОНЕЦ-ТО ЗВОНИТ СЕСАР. КАКОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ — СЛЫШАТЬ

его голос. Я реву в три ручья.

Не плачь, говорит он, ну пожалуйста.

Я пытаюсь представить, откуда он звонит. Из телефонной будки? От кого-то из друзей? Он выбрит? Успел побывать в душе? Как там в Бостоне, такое же солнце, как в Нью-Йорке? А воздух такой же или другой? Что вокруг него? Какие у него туфли, почистил ли он их? Кто гладит ему рубашки?

Как ты? — спрашивает он, когда я успокаиваюсь.

Нормально. А ты? — говорю я.

Это не квартира, а дыра какая-то, говорит он. Я в туалете мышь нашел.

Можно же все вычистить, говорю я, но уже знаю, что не будет никаких Сесара и Аны, которые бегут в Бостон. Не будет Аны, которая каждый день кормит Сесара завтраком и отправляет на работу. Не будет танцев в гостиной, танцев, для которых даже музыка не нужна.

Придется подыскать другое место. И район получше. И чтобы рядом с супермаркетом, чтобы ты, ну, могла ходить за покупками. Только это долго.

Хуан сделал маме визу. И Ленни.

Да ты что!

Он купил им билеты, чтобы они приехали до рождения ребенка. А маме без меня не справиться.

А мы? А как же мы?

Сесар?

Щелчок. Пауза. Добавьте десять центов, чтобы продлить разговор еще на три минуты.

Я вешаю трубку и целый день жду, чтобы он перезвонил, но он больше не звонит. Весь день у меня сосет в животе. Весь день я чувствую холод в костях.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ХУАН ПРИВОДИТ НОВОГО ЖЕЛАЮЩЕГО купить костюм — Маурисио, — а с ним его жену. При виде этой жены я буквально прилипаю к только что отдраенному полу, и, чтобы сойти с места, мне приходится взять себя в руки.

Страшно хочется выцарапать эти кошачьи глаза, в которых застыла мольба: только не говори, что мы уже знакомы.

Маурисио хорош собой, высок и строен, но лицо у него как у записного вояки. Марисела покорно следует за мужем, садится рядом с ним за стол, с которого я не раз угощала ее в прошлом. Пара оглядывается вокруг. Я предлагаю кофе. Завязывается беседа. Хуан делает вид, что знать не знает никакой Мариселы и сроду не одалживал ей денег. Все говорят друг с другом, но со мной — никто.

Маурисио смотрит в окно и говорит: вот это вид, до самого горизонта.

Вот поэтому я и выбрал последний этаж, говорит Хуан.

Какая у вас милая квартира, говорит Марисела, скрещивает щиколотки под столом.

Я извиняюсь и выхожу, чтобы принести кофе.

Помочь вам? — спрашивает она меня как ни в чем не бывало, и мое сердце вновь разбивается на части.

Спасибо, не стоит.

Надо было вырвать у нее из ушей длинные сережки, выдрать ей волосы, избить ее ногами.

Нет, Ана, сначала достань размер 40L для Маурисио — я не ошибся с размером? — вступает Хуан.

Сама знаю, какой у него размер, едва не говорю я.

Хуан Руис — настоящий профессионал, говорит Маурисио.

Обрадовавшись возможности отвлечься, я ныряю в шкаф и до-

стаю несколько костюмов. Вручаю их Маурисио и указываю ему на ванную, где можно примерить. Но даже в отсутствие Маурисио Хуан и Марисела продолжают свои игры в притворство.

Который у вас месяц? — спрашивает меня Марисела.

Это не ребенок, это слоненок какой-то, отвечает Хуан.

Прошу прощения, кофе сейчас убежит.

Спасибо, господа, за кофеварки, которые срабатывают вовремя. Я ставлю на поднос три чашечки с эспрессо и три стаканчика воды со льдом, оборачиваю вокруг каждого стаканчика бумажную салфетку.

В гостиной Марисела хвалит костюм.

Как тебе идет, Маури. Можешь надеть его в воскресенье, когда пойдем на выпускную церемонию сестры.

Не напоминай. Твоя сестра та еще штучка. Каких-нибудь три месяца, как приехала, а уже дерет нос, фу-ты ну-ты, курсы машинописи окончила.

Хуан смеется.

Учение — вещь полезная. Сколько дверей теперь перед ней будет открыто, говорит Хуан.

Зачем Марисела вообще сюда пришла? Наверное, у нее не было выбора. Я ищу в ней хоть какое-то сходство с женщиной, с которой мы столько часов провели вместе. Марисела не смеет даже смотреть в мою сторону. Приятно думать, что ей плохо. Она делает вид, что вертит мужем как хочет, но, сдастся мне, мы с ней сидим в одном болоте.

Я слышал, Сесар нашел работу в Бостоне, правда? — спрашивает Маурисио, и Хуан улыбается.

Работу? Этот мальчишка где угодно найдет работу. Нет, это все его tira*, он от нее без ума. Она его уже год с лишним уговаривала, переезжай, мол, ко мне поближе.

Не знаю, что происходит, но поднос падает у меня из рук, и го-

* Девчонка (ист.).

рячий кофе вместе с ледяной водой оказывается на коленях у Мариселы. Мы все кричим. Марисела вскакивает, оттягивая юбку, а Хуан отталкивает меня прочь.

Да что с тобой такое? — говорит он. Неси полотенца!

Я торопливо приношу.

Ничего, все в порядке. Ничего. Все равно мы уже собирались уходить, говорит Марисела. Судя по тону, она нервничает не меньше моего.

Я грубо промокаю ее блузку бумажным полотенцем.

Ты ведь уже закончил? — спрашивает Марисела у мужа.

Маурицио покупает два костюма, но уговаривается, что оплатит за оба в конце недели. Мне хочется предупредить Хуана, что слово этой парочки ничего не стоит, но Хуан провожает их к двери и отдает костюмы. Марисела оборачивается и бросает на меня извиняющийся взгляд. Я хлопотливо промокаю диванные подушки, бросаю бумажное полотенце на пол, чтобы впитало пролитую воду.

Очень скоро Хуан захлопывает дверь.

Я встаю перед ним и жду.

Ну, Хуан, покажи, какой ты хороший. До отъезда он был такой понятный, словно нарисованный жирными линиями. А теперь он — загадка, его лицо и тело перекручены войной, которую он видел так близко. Что-то изменило его, и он стал похож на папу — тот мало говорит, а Хуан скрывает надлом. Я подхожу еще ближе и отвечаю ему таким же взглядом. Он рефлекторно заносит руку, останавливается. И я плюю ему в глаза. Ну, давай, Хуан, сделай так, чтобы мне легко было от тебя уйти. Пальцы ног поджимаются, впиваются в пол — ни шагу назад. Он сжимает кулак, кусает его, орет: да что с тобой такое?

Давай, давай, говорю я.

Делай то, что всегда делал, Хуан. Я же знаю, что ты любишь почесать кулаки. К черту тебя. К черту Сесара. К черту Мариселу. Всех к черту.

Кажется, мои слова его ранили. Он ссутуливается, поворачива-

ется ко мне спиной и садится на диван. Включает телевизор. На экране женщина демонстрирует аудитории пылесос так, словно это самая интересная вещь в мире. И ее тоже к черту.

Проснувшись на следующее утро, я вижу, что Хуан уже ушел. Он не стал меня будить. Мне бы встревожиться, но я устала от тревог. Роды уже совсем близко, и мой сон стал глубже, сны — яркими и путанными, и, проснувшись, я частенько не понимаю, где я.

Самый яркий мой сон — о Йонни, он у нас в квартире, одет в белое кимоно, как каратист, и стоит в боевой стойке. Хуан зовет меня из спальни, он пьян, и ему лень за мной бегать. Я упрещаю Йонни уйти домой, потому что боюсь, что Хуан его убьет. Но я ведь и так уже мертвый, говорит Йонни. Я протягиваю руку, чтобы коснуться его, но пальцы встречают лишь воздух.

Что значит этот сон — что Йонни все ближе к тому, чтобы родиться заново, или я — все ближе к тому, чтобы умереть?

Выпив *café con leche*, я с прищуром рассматриваю место, куда вчера упал поднос. Я развожу в пластиковом ведерке немного чистящего средства. Обмакиваю в раствор старое полотенце, отжимаю и палкой от метлы вожу им по полу. От соснового запаха мне становится спокойнее. Протерев полы, я мочу еще одно полотенце и протираю мебель. Тут-то я и нахожу это: под кружевной салфеточкой на обеденном столе — сорок долларов, сложенные вдвое и обернутые листком бумаги из блокнота.

Ана!

Прости меня, пожалуйста.

Марисела

ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ ЕЩЕ КАКИХ-НИБУДЬ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ, И МАМА и Ленни будут есть за нашим столом и спать в наших кроватях. Если и есть какая польза от этой войны, объясняет Хуан, так это то, что посольство ускорило процедуру выдачи туристических виз.

Он говорит, что в ближайшие дни папа приедет к Эль Кохо в ресторан, и они вместе купят билеты на самолет.

Ты рада, Ана?

Я крепко обнимаю Хуана за шею, и он обнимает меня в ответ.

Точная дата маминного приезда — что-то верное, настоящее, как будто маленькая победа нашей семьи. А я — на девятом месяце. А Марисела попросила прощения. Ну его, этого Сесара и его подружку, которая то ли есть, то ли нет, он повел себя как настоящий доминиканец, накормил меня сказками о том, что ищет славное местечко для нас с малышкой, а сам на поверку оказался трусом.

Ух ты, столько всего надо подготовить, говорю я. У нас будет полон дом народу, а потом приедут и папа, и Тереса с сыном. А Хуанита? Когда они приедут?

Комендант сказал Хуану, что в течение следующего года должна освободиться квартира, соседняя с нашей. Как только она опустеет, все мои родные переедут к нам.

Помяни мое слово, *pajarita*, доминиканцы заполнят Нью-Йорк — и глазом моргнуть не успеешь. Все остальные и понять не успеют, что это их стукнуло.

Спасибо тебе, говорю я и быстро целую его то в щеку, то в нос.

Я так рад, что ты рада, говорит он, высматривая любовь в моих глазах.

Хуан — мое чудовище и мой ангел. В этом безумном мире он пытается сделать лучшее, что может. А значит, и я должна дать ему

лучшее, что могу. Может быть, если Сесар будет держаться подальше, со временем я оживлю свой брак. Я попрошу маму исцелить меня от ядовитой рыбы. Пусть даст мне какое-нибудь из своих зелий, чтобы я позабыла Сесара. Может быть, тогда я даже смогу полюбить Хуана.

В ГОРОД ВРЫВАЕТСЯ ОСЕНЬ, И ПОВСЮДУ ПОЖАРАМИ ПЫЛАЕТ

листва. К пожарному выходу снова прилетают голуби, клюют рис, который я им насыпаю. Сменилась мода, и подолы женских юбок поползли выше, а мужчины сменили деловые костюмы на черные кожаные куртки и береты.

Я считаю дни до приезда родных. Хуан уже разузнал, что Лени готовы принять в первый класс школы в двух кварталах от нас. Мама будет работать на фабрике, где делают лампочки, это за мостом, в Нью-Джерси. Каждое утро в 7:45 ее будет подбирать автобус. А когда малышка дорастет до ясель, на эту фабрику пойду и я.

Сколько вокруг будет людей, которых можно любить, на которых можно положиться. Чтобы освободить в шкафах место для их вещей, Хуан оптом продает все костюмы другому торговцу. Все равно некому будет ими заниматься, все будут работать.

Ожидание — в отсутствие Сесара, в отсутствие покупателей, которым нужен костюм, — делает дни невыносимо длинными. Когда звонит телефон, я надеюсь, что это Сесар, что он звонит, чтобы сказать, что любит меня, скучает, работает как проклятый, чтобы найти выход для нас обоих. Но чаще всего я слышу в трубке безмолвное дыхание. Даже если она знает, что Хуана нет дома, она все равно звонит и звонит. Тогда я включаю радио и нахожу для нее какую-нибудь песню, она слушает, а потом отключается.

Ей, наверное, тоже одиноко.

Сестра Лусия уехала в Чили навестить родных. До следующей весны уроков английского не будет. Я очень стараюсь не огорчать Хуана. Он так много для нас сделал. На душе у меня одиноко, но в кои-то веки спокойно. Каждый выход из дому, даже просто на

прогулку — настоящее испытание. Мочевой пузырь у меня теперь не больше горошины. Ноги все время отекающие; ступни болят, и боль отдает в икры и бедра, особенно когда приходится подниматься по ступенькам. Лифт у нас в здании капризный и работает как ему вздумается. Если я иду с покупками, то порой жду по часу, покуда на помощь не придут комендант или консьерж. Как, спрашивается, обходятся соседи с детьми или старая леди Роза, когда лифт не работает? Не должен человек жить на такой высоте.

Чтобы чем-то заполнить дни, я пишу в своем блокнотике. Это как разговор с собой. Я записываю свои сны. В этих снах Хуанита сидит у меня на кухне за столом, с таким же животом, как у меня. Мы прижимаемся животами, словно двухголовое беременное чудовище. Это хороший сон.

Листья на деревьях за окном наливаются яркими красками. Папа всегда говорил: чтобы что-то родилось, что-то должно умереть. Но я беременна, и больше я не выдержу никаких утрат. Как прекрасны листья перед самой кончиной. Каждый год они опадают, и деревья могут отдохнуть, а потом весной на них появляются новые листья. Держись, говорю я себе, покрепче упираюсь босыми ногами в пол и представляю себя деревом с могучими корнями.

ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЕСАР. ДОЛГИЙ ЗВОНОК БУДОРАЖИТ ВСЮ КВАРТИРУ до самой кухни. Я бросаюсь к двери, смотрю в глазок. Слышу стук пальцев. Сесар зовет меня по имени, так тихо, что я едва слышу. Когда я открываю дверь, он выскакивает и говорит: Бу!

Что ты здесь делаешь?

Я втаскиваю его внутрь и запираю дверь, навешиваю цепочку.

А если Хуан вернется, шиплю я. Если тебя увидят? Ты же должен быть в Бостоне.

Я приехал за тобой, говорит он, и мы смотрим друг на друга. Чтобы хоть чуть-чуть стать с ним вровень, мне приходится подтягиваться на цыпочки.

Я бью его по щеке. Как это теперь легко.

Я ахаю, ужаснувшись тому, что сделала. Он смотрит недоверчиво, потом одобрительно улыбается.

Хочешь еще раз? — спрашивает он, берет меня за руку, подносит мою ладонь к своей щеке.

Он приводит меня в смятение. Джинсы у него обтрепались, рубашка нуждается в глажке, ногти нестрижены. Приятно видеть все эти мелочи, они выдают мужчину, который живет без женщины. Мужчины — это всего лишь мужчины, говорит мама, а всю работу на свете делают женщины. Мы невидимые маленькие труды, мы работаем, а они только щеки надувают.

Я в смятении отступаю назад. Хочется снять с него рубашку и выгладить как следует. Так и подмывает схватиться за маникюрные ножницы. Но Хуан вернулся, и теперь все стало иначе. Кожура граната лопнула, и больше не стать ей целой.

Сесар берет меня за руки и прижимает к себе. Его лицо совсем рядом с моим. Его дыхание пахнет кофе, алкоголем и сигаретами.

Он переступает вперед-назад, мягко подталкивает меня или тянет за собой. Его голова клонится мне на плечо. Ноги уже стоят на месте, движутся только бедра. Он тихонько напевает мне в ухо, я чувствую его немалый вес.

Ах, Ана-Банана, говорит он, просовывает ладони мне под мышки и щекочет. Щекочет на диване, и я смеюсь так исступленно, что в конце концов теряю голос. А Сесар хохочет и щекочет, и тут я чувствую, что обмочилась.

Сесар! — возмущенно кричу я и бегу в туалет. Протекло совсем чуть-чуть, но ребенок давит на мочевой пузырь, так что надо быть осторожнее — Сесару надо быть осторожнее.

Вернувшись, я обнаруживаю его у меня в комнате. Он опустошает ящики комода, в которых лежит моя одежда.

Давай уедем, пока не вернулся Хуан, говорит он, лезет в кладовку и снимает чемодан с верхней полки. Расстегивает замки, откидывает крышку. Внутри — еще один чемодан, а в нем — сумка.

Ты нашел для нас квартиру? — спрашиваю я.

За нами заедет мой приятель, у нас меньше часа. Времени совсем мало. Где твои бумаги, Ана? Если мы уедем, то больше не вернемся.

Через несколько недель приезжают мама и Ленни. Я не могу уехать.

Твоя матушка без тебя не пропадет, уж поверь.

Он распахивает дверцу стенного шкафа.

Я смотрю на идеально застеленную постель. На выглаженные моими руками занавески. Все на своем месте, повсюду порядок. Я уже приготовила место для малышки, для мамы, для Ленни.

Я не могу с тобой уехать, говорю я.

Но мы же все уже решили, гневно кричит он. Черт!

Я прикрываю лицо. Его руки молотят воздух. Он запускает пальцы в свою шевелюру. Он выходит из гостиной и снова возвращается. Он понимает, что я права. Он и о себе-то едва может позаботиться, где уж ему заботиться обо мне. А мои родные тогда как?

Что я буду делать один в Бостоне?

Не знаю, плачу я. Возвращайся в Нью-Йорк!

И убегаю на кухню резать лук, кинзу и перец. Давить чеснок, жарить платано. Делать что угодно, лишь бы только перенести эту боль.

Он идет за мной следом. В одной руке я держу луковицу. В другой сжимаю нож. Пожалуйста, только не усложняй.

Что ты творишь, черт побери? Положи нож! У нас нет времени.

Я режу-режу-режу лук, мелко-мелко.

Его рука обхватывает мое запястье, и я роняю и лук, и нож. Он ведет меня в гостиную.

Прошу тебя, уже мягче говорит он. Просто поедem со мной. Разве ты меня больше не любишь?

Мои ноги как корни дерева. Мои кулаки плотно прижаты к бокам. Мои глаза широко открыты, и в них стоят слезы — от лука, от того, что мы оба знаем: я никуда не поеду.

Стой смирно, ладно? Он включает в розетку свой проигрыватель, перебирает пластинки-сорокапятки и говорит: ну хоть потанцуй со мной, а?

Я знаю эту песню, ее поют Four Tops. Четверо чернокожих, фронтмен — вылитый Эль Гуардия. Я помню ее от первого до последнего слова, выучила, пока тренировала правильное произношение. Ее часто крутят по радио. Сесар танцует один и поет вслух, движется так, словно ступает по неверным облакам. Потом он протягивает ко мне руки, и вот я вновь в ловушке его запаха, его тепла. Надо бежать, пока не вернулся Хуан.

Ничего не могу поделать,

Я люблю лишь одну тебя.

Мы долго покачиваемся вдвоем в такт музыке. Песня бодрая, но все равно грустная. Это прощание. Я понимаю это по тому, как переплетаются наши руки, по тому, как я наконец заставляю себя отпустить его пальцы. Я выбрала семью. Не бывать нам больше Сесаром-и-Аной, никогда.

ГУЛЯЯ ПО БРОДВЕЮ, Я ВООБРАЖАЮ, БУДТО У МЕНЯ НА ГОЛОВЕ ЛЕЖИТ

книга. Я покачиваю бедрами, гляжу в витрины магазинов, высматривая шубу или нитку жемчуга. Или прозрачные чулки, или сумочку лаковой кожи. Но в витринах теснится старая, нуждающаяся в ремонте мебель или стопки покрывал, в витрине мясного магазина покачиваются кроваво-красные сосиски. На меня смотрит мое отражение: гладкие волосы без начеса, без бархатного обруча, как у Джеки Кеннеди, чтобы сделать их пышнее. Где-то неподалеку звенят гитары и ухают барабаны. Вокруг клубится толпа, люди держат плакаты «Положим конец войне». Они разом что-то кричат, то одно, то другое, толпа несет меня вперед, словно волна от берега. Брякают кастрюли. Гроном грохочут со всех сторон. Надо вернуться домой, как бы чего не вышло, но я бросаюсь в эту волну, позволяю ей поднять меня и нести с собой. Я сдаюсь. «Миру — мир». Мы шагаем по центру города, против движения, толпа заполняет улицы, встают грузовики, автобусы, легковые автомобили. Мы дышим в унисон. Гудят машины. Воят сирены. Над нами кружат вертолеты. Маячит рядом полиция с дубинками на изготовку, ждет, дожидается. И полицейские, и протестующие быстро прирастают в числе. Копы выстраиваются в ряд, голубой частокол вдоль тротуара, и мы внутри. Из окна моей гостиной такие марши кажутся беспорядочной шумихой, но, попав внутрь, я чувствую себя невесомой. Какая-то женщина сцепляет свой локоть с моим, а я сцепляюсь локтями с мужчиной, который стоит с другой стороны. Они гораздо выше меня. Мы как косяк рыбешек, в котором каждая знает свое место, мы плывем против течения. Мы живы. Я почти ничего не вижу, но человеческая масса заставляет движение остановиться, и вот он, берег, на который

мы сейчас хлынем. Вернись! Вернись! — сказала бы мама. Не лезь не в свое дело. Но наши руки сцеплены, и мы держимся друг за друга все крепче, все уверенней. Вдруг мы садимся. Уличное движение захлебывается. Пути назад нет. Я запачкаю юбку уличной грязью — ну и пусть. Лозунги дрожью отдаются в моем теле. Вместе мы сильны. Какая сила. Вот почему мы сидим. Так мы говорим «нет». Вот почему мы крепко держимся за руки.

В ДЕНЬ ПРИЕЗДА МАМЫ И ЛЕННИ Я ЖДУ ИХ ДОМА, ПОТОМУ ЧТО все в машину не помещаются. Стоит чудесный октябрьский день, еще не холодно, уже не жарко. Куда приятнее, чем в самый разгар зимы, когда приехала я. Они приезжают с целой горой багажа, с кучей вещей, которые Хуан собирается продавать по знакомым, а маме велит сказать на таможне, что это подарки для друзей или личные вещи.

Каждый уголок нашей маленькой квартиры вылизан до блеска. Я перемыла, перечистила, аккуратно разложила каждую мелочь. Мама будет спать на раскладной кровати в гостиной, а Ленни — на диване. Сначала я предложила Хуану спать в гостиной, чтобы он не будил нас всех, если будет поздно возвращаться. Ну уж нет, сердито отвечает он, это мой дом, и спать я буду с собственной женой.

Квартиру наполняют запахи дома. В духовке запекается хлебный пудинг. На плите побулькивает махарете*. Чтобы легче было привыкать, я набила холодильник знакомыми маме продуктами. Я включаю радио и настраиваюсь на испанскую станцию. На накопленные деньги я купила маме ночную рубашку, пару тапочек, платье, кое-какое белье. Сетку для волос, бигуди. Ленни я купила несколько пар брюк и две рубашки. Ровно столько, сколько надо, чтобы они не стеснялись своей одежды. Но не слишком много, иначе Хуан поймет, что у меня завелись собственные деньги.

Я жду их в подъезде. Лифт исправен. Консьержа Боба еще нет на месте. Я аккуратно раскладываю на полке книги и бумаги. Разбираю рекламу у почтовых ящиков. Жду у двери, потом сажусь на диванчик.

* Ма х а р е т е — блюдо латиноамериканской кухни, десерт из кукурузной муки.

Когда перед домом появляется машина Хуана, я бросаюсь к двери. Сквозь слезы я вижу, как они выходят из машины. У Ленни руки голые ниже локтя, он вытянулся, и штаны ему коротки. На маме легкое платье и шаль на плечах. В волосах проблески седины. Старушка моя! Рядом с Хуаном, посреди Нью-Йорка они кажутся такими маленькими.

Мама! — кричу я, распахиваю дверь и машу им, зовя внутрь, здесь теплее. Она смотрит на меня и сквозь меня. Мама? — снова говорю я, и наконец она, словно включившись, машет в ответ. Шлепает Ленни по голове и толкает к двери.

Ленни! Я обнимаю его. Он мнетя и стесняется.

Что ты сделала с волосами? — неодобрительно говорит мама. У тебя теперь лицо кажется шире.

Входите, входите, говорю я, и вдруг меня накрывает чувством нереальности — они здесь, со мной, пока я нажимаю кнопку и жду, чтобы спустился лифт.

А Хуан как же? — спрашивает мама, вертя головой.

Здесь я, говорит Хуан. Он идет следом и несет два больших чемодана.

Как вы доехали? — спрашиваю маму. Понравилось? — это уже к Ленни.

Ленни улыбается и смотрит вниз, в черно-белый плиточный пол.

Мама говорит: было очень мило.

В Лос-Гуайаканес мама за словом в карман не лезла. В Нью-Йорке каждое слово из нее приходится выдергивать, как больной зуб.

Приходит лифт. Открываются двери. Я придерживаю дверь, пропуская маму и Ленни. Ленни прыгает внутрь, кабина лифта качается, и я вспоминаю, что она висит всего-то на паре тросов. Мама стоит не шелохнувшись, смотрит во все глаза, но не входит.

Это самый обычный лифт, говорит Хуан, входите уже. Мне на работу пора.

Хуан, говорю я, чтобы не обижать маму, у тебя такие тяжелые чемоданы, может, ты поднимешься первым? И Ленни с тобой.

Когда Хуан и Ленни уезжают, мама, кажется, чувствует облегчение. Мое сердце рвется от жалости к ней, она такая уязвимая. Все, чего я боялась в ней ребенком, ее львиная решимость, ее суровость — всего этого больше нет. Нет! Мы ждем возвращения лифта, и я спрашиваю про Тересу, а мама только закатывает глаза.

Так и не поумнела, говорит она.

А папа?

С ним все хорошо. Передает привет.

А Хуанита как?

Совсем другая стала. Растолстела — не узнать.

Она ведь беременна?

Так она своему япощке и сказала — и где только нашла такого. Втрое старше, вдвое ее меньше и вдобавок круглый дурак, раз тащит ее с собой в Японию.

Неужели Хуанита увезет ребенка Йонни в Японию? Так нельзя, мы же никогда больше ее не увидим!

Мама пожимает плечами. У нее усталый вид.

О Бетти ты уже слышала, да? Уехала с каким-то шандарахнутым, белым как молоко. Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах.

Может, тебе лучше пойти по лестнице? — спрашиваю я маму.

Как хочешь.

Она поворачивается и идет вверх по лестнице, не дожидаясь меня, словно всегда здесь жила. После первого пролета я начинаю задыхаться. Ножки малышки давят на мои легкие. Мама оглядывается, подмечает все вокруг, лестницу, коридоры. Говорит, что не годится жить так высоко.

Почему Хуан не взял квартиру на первом этаже? Слишком дорого?

Мы входим в квартиру. Хуан уже побрызгался одеколоном Old Spice и сменил рубашку.

Что так долго? — говорит он.

Ленни жмется на дальнем краю дивана, стараясь занимать поменьше места.

Ты сегодня поздно? — спрашиваю я Хуана.

Мама тихонько цыкает зубом, но я-то слышу.

Объясни им, как работают краны, говорит Хуан, и мы остаемся одни.

Прижимая к себе сумочку, мама во всех подробностях разглядывает гостиную, маленький телевизор, радио, зеркала, полки со старыми книгами и пластинками. Подходит к окну, выходящему на Бродвей. По ее лицу видно, что вид бурлящей улицы внизу производит на нее впечатление.

Вот видишь? Чем выше этаж, тем лучше вид. Пойдем, говорю я, я приготовила хлебный пудинг и махарете.

Они идут за мной на кухню.

Все не поместимся. Тесновато, говорит мама. Сует палец в кастрюлю, облизывает.

Слишком сладко, говорит она.

Она ставит сумку на стул. Хватает стоящую у холодильника метлу и говорит: а что, пол в этом городе мыть не принято? Да к нему ноги липнут.

И я снова превращаюсь в ребенка, и мне разом хочется спрятать сырой рис, тапки, вешалки, ремни, все, чем мама может сделать мне больно. Но слова ее бьют сильнее кнута, и вот их мне никогда не спрятать.

В МАМЕ СЛОВНО ЖИВУТ ДВА ЧЕЛОВЕКА. ОДИН, НЕДОВОЛЬНЫЙ, вечно твердит, что я все делаю неправильно, и неустанно напоминает, как я должна быть благодарна ей за то, что она научила меня быть хорошей женой, хорошей матерью, вести дом и так далее. Вторая, Ла Гранде Донья Селена, умеет ладить с такими людьми, как братья Руис, которые вдруг начинают бывать у нас каждое воскресенье, потому что она их приглашает. Всем, кто у нас бывает, мама дает понять, какой замечательный человек Хуан. А тот и рад, изголодался по вниманию, словно собака, перед которой вдруг поставили полную миску.

Я режу овощи. Я стучу пестиком, растирая специи. Я хожу в магазин за покупками. Я штопаю носки. Я забочусь о ней и о Ленни. Это я делаю копию нашего счета за электричество и паспорта Ленни, чтобы он мог учиться в школе. На свои деньги я покупаю ему тетради и карандаши.

Но герой у нас все равно Хуан. Эту кухню мама отлично знает. На улице она робкая мышка, но за дверью квартиры — настоящая львица.

Чтобы скрыться от нее, я убегаю в спальню и перекладываю галстуки Хуана и свое белье, раскладываю их по цвету, по фасону. Вещей Хуана мама не смеет касаться. Это территория жены Хуана.

Еще я подолгу принимаю ванну, смотрю, как течет вода, трогаю свой большой живот, всю себя, по-прежнему вспоминаю нежные прикосновения Сесара. Где он, все еще в Бостоне, работает у портного? Я так и не спросила его, где он спит, спит ли он в одиночестве. Даже думать об этом слишком больно.

Я считаю дни до того момента, как мама начнет работать на фа-

брике в Нью-Джерси и квартира снова будет моей безраздельно. Еще до этого Ленни пойдет в школу, Хуан все устроил. Фабричный фургон будет забирать маму на углу Сто шестьдесят пятой и Бродвея в 7:45 утра с понедельника по пятницу и высаживать за мостом Джорджа Вашингтона. На фабрике она будет делать лампочки.

Чтобы как-то разогнать мрак, я шучу. Придется тебе привыкнуть к лифту, мама, да и в окрестностях освоиться, хотя бы в нашем квартале.

Можно подумать, я никогда не бывала в Ла Капиталь, говорит она.

Но на самом деле она боится улицы. Нью-Йорк гораздо больше, чем Ла Капиталь, а ночью мама просыпается от воя сирен и треска выстрелов. В Лос-Гуайаканес единственными звуками в ночи были голоса животных, природные часы, которые она читала без труда. Но мама ни за что не признается, что город пугает ее. Ни мне, ни себе самой.

КОГДА ЛЕННИ ВПЕРВЫЕ ИДЕТ В ШКОЛУ, Я ПОДБИВАЮ МАМУ ПОЙТИ с нами.

Тебе полезно подышать свежим воздухом, говорю я. Ты ведь уже так давно не выходила из квартиры.

Если бы ты получше вела хозяйство, у меня, может, и было бы время на такую роскошь, как прогулка, говорит она. Всякий раз, когда я предлагаю ей куда-нибудь сходить, у нее находятся неотложные дела.

Ну как знаешь.

Я заставляю Ленни надеть куртку. Хуан уже ждет нас у лифта. По пути на работу он проводит нас до школы номер сто двадцать восемь. Я множество раз проходила мимо нее, так что заблудиться мне не грозит, но Хуан стоит на своем. Они с Ленни неплохо ладили. Хуан хочет сына.

Шагая по Бродвею, он берет Ленни за руку. Я беру брата за другую.

Мы подходим к школе — двухэтажному кирпичному зданию с игровой площадкой. Тяжелые металлические двери открываются в 8:25, ни минутой раньше и ни минутой позже, и подле них уже ожидает целая толпа родителей с детьми.

Не оставляйте меня здесь, говорит Ленни. Он храбрится, старается сдерживать слезы. Всего несколько недель назад он бегал под палящим солнцем Лос-Гуайаканес. Все произошло слишком быстро.

Хуан садится на корточки и заглядывает Ленни в лицо.

Он улыбается улыбкой, какой я никогда раньше у него не видела, и я представляю его рядом с Сесаром, когда тот был в возрасте Ленни, и как Хуан помогал ему во всем. Хуан оглядывает толпу; все

говорят по-английски. Он берет Ленни за воротник куртки и подтаскивает ближе.

Видишь меня? Я уже старый. Я всю жизнь работал как собака. Мне уже поздно учиться. А ты можешь получить образование. Будешь хорошо учиться — станешь врачом или юристом или будешь работать на Уолл-стрит, как эти белые. Будешь большим человеком, слышишь?

Ленни кивает, сдерживая слезы.

Окружающие косятся на нас, отступают, как будто от нас плохо пахнет.

Знаешь, что я делаю, когда не понимаю, что мне говорят? — спрашивает Хуан.

Ленни мотает головой.

Киваю и улыбаюсь. И отвечаю на все: йес, сэр, йес, мэм.

Йес сэ, тихо-тихо говорит Ленни.

Ты еще маленький, добавляю я, у тебя мозги как губка, все впитывают. Однажды ты проснешься и поймешь, что знаешь втрое больше всех здесь.

Ленни обнимает Хуана так крепко, что высвободиться тому удастся с большим трудом.

В этот миг Хуаном нельзя не восхищаться. Он знает, как быть. Он знает, как позаботиться о нас.

Я напоминаю Ленни, что у него в рюкзаке два заточенных карандаша, тетрадь и бутерброд с ветчиной и сыром в пластиковом пакете. Показываю на здание, в котором мы живем, чтобы он видел, что до него всего несколько кварталов.

Хуан уходит. Когда открываются двери школы, я говорю: когда уроки кончатся, я буду ждать прямо тут.

Скажи еще раз, как будет «меня зовут»?

Ми нэйм эс Ленни. Запомнил? Ну, иди. Иди.

ЖИВОТ ОПУСТИЛСЯ. ТЕПЕРЬ ОН НИЗКИЙ, ТЯЖЕЛЫЙ, И СТОЯТЬ Я МОГУ
несколько минут, не дольше.

Как ты? — спрашивает Хуан.

В кои-то веки он говорит заботливо, двигается осторожно, не поднимает меня по утрам — словно я могу треснуть от любого движения. Затаив дыхание, мы ждем схваток.

Мама говорит: крепись, твое тело для того и создано. Помнишь, как рожала твоя сестра? А на следующий день уже побежала на танцульки.

Врач предупреждает, что давление между ног будет усиливаться, как при менструальной боли или как бывает, когда надо опорожнить кишечник. Она говорит, что, пока интервал между схватками не достигнет трех минут, мне лучше оставаться дома. Только двигаться побольше. Отвлекать себя какими-нибудь домашними делами. Оттереть полы, вымыть посуду, подмести. Врач говорит, что движение — это хорошо. Неподвижность — плохо. Но мама все делает сама, ничего мне не оставляет. Дома я много раз видела, как женщины рожают детей. Я носила им воду, рвала простыни, бегала за повитухой, приносила кусочки льда пососать. Я вытирала им пот со лба и над губой, держала за руку. Когда рожала Тереса, я первая взяла на руки ее ребенка. Я все видела. Но теперь рожать предстоит мне, и я боюсь. А тут еще мама и Хуан ходят туда-сюда, из комнаты в комнату, и то и дело спрашивают: ну, пора? От этого только хуже.

Звонит телефон. Мне хочется, чтобы это был Сесар, пусть даже на самом деле он никогда не позвонит.

Мама берет трубку и кричит: алло!

Дай мне, говорю я. Что угодно, лишь бы отвлечься от схва-

ток. Я дышу вместе с дыханием в трубке. Какое надежное дыхание.

Может, это Тереса, говорит мама. Просто связь плохая.

Я перекатываюсь затылком по стене вправо-влево, а телефон прижимаю к груди.

А кто тогда? — спрашивает она снова, и я улыбаюсь. Подумать только, мама еще простодушнее, чем я.

Это женщина Хуана, говорю я, как будто взорвать бомбу в гостиной значит облегчить боль.

Рот закрой, говорит мама.

Я прижимаюсь спиной к стене и сползаю вниз, на корточки. Все болит, кружится голова. Боль ослепляет. Хуан, тихо-тихо говорю я, но не знаю, вслух или только в своей голове. Погода стоит прохладная, но моя рубашка мокра от пота.

Придя к обеду, Хуан обнаруживает меня вытянувшейся на полу, словно новорожденный жеребенок. Надо мной стоит мама и кричит ему: сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь.

Хуан торопливо доставляет меня в госпиталь. Мама бежит следом с моей сумкой.

Врач говорит, что я подзадержалась, но все равно придется потерпеть еще. Ступайте лучше домой, советует она. Там вам будет удобнее.

Но мне нужно на работу, говорит Хуан.

Никакой работы. Бери отгул до вечера, требует мама и хватается его за руку.

Хуан отталкивает ее. Мама немеет от удивления. Моргнув, она смотрит на Хуана, на меня, снова на Хуана.

Пойдем в комнату для посетителей и решим, что делать дальше.

Я лучше останусь здесь, говорю я Хуану. А ты иди на работу.

Хуан колеблется. Мама зловеще на него поглядывает. Хуан побаивается маму. Может быть, потому, что она старше его, хоть и ненамного. Или потому, что она видит его насквозь.

Мама, говорю я, у меня будет ребенок, значит, Хуану нужно работать. Пусть идет.

Она садится, скрестив руки на груди. Врачи, медсестры, женщины в приемной — все говорят по-английски, и оттого она чувствует себя бессильной.

После работы сразу прибегу сюда, говорит Хуан и целует меня на прощание. Берет мою пузатую сумку и подсовывает мне под ноги, чтобы было легче.

Переживая боль, я стараюсь думать о Кони-Айленде. Как меня разморило, будто пьяную, после долгого сна на пляже. Как волны ласково облизывали мне ноги, как солоно касались губ ломтики жареной картошки.

Час за часом я смотрю, как в распашные двери больницы входят люди — перелом ноги, огнестрельное ранение, приступ астмы, больные дети в сопровождении родителей. Я прикрываю рот и нос шарфом. При свете потолочных ламп кажется, что у всех вокруг желтуха. Мама сидит рядом, смотрит, не говоря ни слова. Только решительно похлопывает меня по руке, словно говоря: «Ты справишься».

Я вдыхаю и выдыхаю через нос, засыпаю и снова просыпаюсь. Вода ласкает мои пальцы на пляже; тонкая линия отделяет море от неба. Волны боли усиливаются и омывают меня с ног до головы.

Я плыву на лодке. Нет, это кресло с колесиками. Сесар, зову я. Хуан, кричу я. Волны бьют со всех сторон. Я тяну вперед руки. Медсестра их перехватывает. Ноги на подставках, измеряют температуру. Медсестры одна за другой разводят мне ноги, проверяют, готова ли я. Вода. Вода. Надо мной вода. Я тужусь. Тужусь. Тужусь. Опустошаю кишечник. Опустошаю утробу.

Альтаграсия Руис-Кансьон рождается 24 октября 1965 года. Она получает имя в честь матери Хуана. Девять фунтов шесть унций, по пять пальчиков на руках, по пять на ногах; глаза широко

открыты, голова в черных младенческих кудряшках. Какое чудо! Какие крошечные ручки, и ножки, и ноготки.

Здравствуй.

Я прижимаю ее к себе, счастливая, что наконец-то выпустила ее в мир. Словно узнав мой голос, она плачет, тренирует легкие, просит есть, просится ко мне — кожа к коже, близость против одиночества. Зажмурившись, она пробует на вкус воздух, здесь слишком холодно, слишком много света. Беззубый ротик открывается в подобии улыбки. Она впервые решительно бьет ручкой. Волна любви заполняет каждый уголок моего сердца. Я полна любовью. Теперь я понимаю, зачем жила. Теперь все обретает смысл. Путь из Лос-Гуайаканес в Нью-Йорк, брак с Хуаном — без всего этого не было бы ее.

Когда приезжает Хуан, Альтаграсию пеленают в комнате для новорожденных. Я делаю вид, что сплю. Не хочу ничего видеть, хочу помнить только ее прелестное личико. Хуан наклоняется, целует меня в щеку, в лоб и в руки.

Умница, говорит он. А теперь надо мальчика.

Дорогая, любимая Каридад!

Ты предупреждала меня насчет родных. Что по-настоящему родных выбирают, а не получают по рождению. Но за всю мою жизнь у меня были только мои братья. Когда одному из них плохо, мне тоже плохо. Когда у кого-то беда, у меня тоже беда. Но Рамон предал нас, подвел так, что я его, наверное, никогда не прощу. А ведь он был мне как отец. А Сесар, представляешь, даже не звонит.

Я пишу тебе из страны, где осталось одно разочарование. Это чужая, незаконная страна. Куда мне деваться, если вернуться не получится? Я часто вспоминаю тот раз, когда мы с тобой гуляли вдоль реки Гудзон. Помнишь? Наши тени на траве сливались в одну, и ты сказала, что, куда бы ты ни шла, я всегда с тобой. А куда бы я ни пошел, ты всегда со мной. Наш дом там, где мы вместе. Вот это и есть настоящий брак. Нам не нужен контракт. Не нужны свидетели. Мы знаем, кто мы и что мы. Я всем сердцем хочу в это верить. Я верю. Но ведь на самом деле у тебя есть муж, и он уже вот-вот вернется с войны, и ты снова будешь принадлежать ему, а у меня — Ана и ребенок, они без меня пропадут.

Я спасаюсь только воспоминаниями о твоём запахе. Но и они постепенно стираются, прости. Вспоминаю, как лучились твои глаза всякий раз, когда ты глядела на меня. Ты столько раз прощала меня, но на этот раз, наверное, поймешь, почему я больше не могу, не должен тебя видеть. Любовь к тебе ослепила меня и за-

ставила забыть о моих целях. От любви я размяк и по-глупел. Я не могу сделать счастливой ни тебя, ни Ану. Не могу, и все. А ты заслуживаешь большего. Гораздо большего. Когда умер брат Аны, это было напоминание мне: нельзя жить с закрытыми глазами. Как же я люблю тебя, ты даже не представляешь.

Твой
Хуанчо

СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ ОТДЫХА, И ИЗ БОЛЬНИЦЫ Я ЕДУ ДОМОЙ.

Квартира полна людей, которые приехали поглядеть на малышку. Я считаю, не веря своим глазам: Гектор, Ирена, Антонио. Пьют виски. Попыхивают сигарами, привезенными Хуаном из Доминиканской Республики. Под потолком висит облако дыма. Я кашляю. Спину пронзает резкая боль.

Ленни прячется в спальне, только голову высунул. С тех пор как он пошел в школу, из него ни слова не вытянешь. Только улыбается и кивает. Только пишет в блокноте. Одно и то же: меня зовут Ленни.

Мама грохочет кастрюлями на кухне.

Отлично выглядишь! — кричит мне из гостиной Гектор.

Я держу на руках Альтаграсию, улыбаюсь приклеенной улыбкой, ноги тяжелые, как тумбы. Анестезия понемногу отходит. Швы щиплет. Я, наверное, неправильно поняла, что сказал врач, но чувствую все, что стало с моим телом. Во время родов меня буквально распахало напополам. Врач сказал, что у меня разрывы третьей степени. Меня знобит, я чувствую слабость, но все равно улыбаюсь. Мама с Хуаном хотят, чтобы я была сильной.

Хуан обнимает меня за плечи. Мы стоим в арке между прихожей и гостиной. Улыбаемся. Улыбаемся. Улыбаемся.

Идеальная чета начинает новую жизнь.

Вспышка. Вспышка. Вспышка.

Мы с Сесаром на Всемирной выставке. Он сажает меня в такси и увозит туда, где есть удобная постель. Он делает мне массаж ног и приносит чечевичного супа. Этот ребенок — наш.

Улыбаюсь. Улыбаюсь. Улыбаюсь.

Подходит Ирена, просит позволения подержать малышку. У Ан-

тонио на запястье болтается маленькая розовая сумочка — вот это да. Шоколад? Ну еще бы.

У нас сегодня праздник, говорит Гектор, делает музыку громче, все хлопают.

Мне надо уложить малышку, говорю я. Хуан одобрительно хлопывает меня по спине, подталкивает к спальне.

Я аккуратно ложусь спиной на кровать и подтягиваю тело вверх, в сидячее положение, боясь боли, которая стреляет каждый раз, когда я кашляю, сажусь, иду или стою. Врачи велели мне не сидеть на корточках, не потягиваться, не поднимать тяжелого. Не напрягайтесь, сказали они.

Малышка просыпается и хочет есть. Я тоже голодна. Я разворачиваю одеяльце, прикладываю ее к груди. За грохотом музыки в соседней комнате слышится смех Хуана. Не напрягаться, как же. Принеси мне стакан холодной воды, ладно? И ванну с солью, чтобы унять боль, пожалуйста. И чтобы было тихо, хорошо? Малышка сердится, сжимает в деснах сосок. Из-под кровати вылезает Ленни, кладет подбородок на край кровати и смотрит на меня.

Больно?

Нет. Так и должно быть, говорю я, стараясь быть сильной — для него.

Он гладит ее сморщенную ручку и напевает: Альти, Тати, ну-ка, как ты?

Мне надо отдохнуть. Я вкладываю сосок ей в рот в точности так, как показывала медсестра. Она выпускает грудь, ищет голодным ротиком.

Софо, говорю я.

Малышка плачет, все тельце становится густо-розовым, она растопыривает ручки и ножки, которые прежде крепко прижимала к себе, разбрасывает пеленки, кричит тонко и неумолчно. От ее плача у меня набухает грудь. Я плачу вместе с ней, радуясь, что музыка в соседней комнате заглушает все на свете и меня никто не услышит — забываю только, что Ленни рядом.

Ты неправильно ее держишь, говорят от двери. Я быстро вскидываю голову, вытираю слезы. Входит Ирена, кладет мне под спину две подушки, велит откинуться. Еще одну подушку она подсовывает мне под руку. Берется за мой сосок, как я бралась за козье вымя, когда доила, и засовывает его в рот малышке целиком.

Пусть вес помогает, говорит она, указывая пальцем в пол. Кажется, я понимаю.

Малышка начинает сосать. Нас обеих накрывает облегчением, в голове становится легко и пусто. Если бы меня не ждали за дверью, я уснула бы прямо во время кормления. Неужели нельзя было прийти через неделю? О чем они все думали?

Diablo, говорит Лени, глядя на меня круглыми глазами. Ты прямо как корова.

Иди отсюда, говорит Ирена.

В больнице было гораздо проще, говорю я Ирене. Там она была как маленький поросенок.

Ирена достает из сумки бумажную салфетку и вытирает мне нос как ребенку. Глаза и щеки у меня мокрые, в носу полно соплей. Она дает мне еще одну салфетку и говорит: не торопись. И не торопи малышку, ладно? Когда ей хватит, она сама покажет.

Потом Ирена встает, похлопывает Ленни по спине, подталкивая к двери, и я остаюсь одна. Я вспоминаю нашу первую встречу в доме Гектора в Территауне, как она была растрепана, как резко со мной говорила, и мне хочется дать себе оплеуху. Она-то крутилась одна, подавала нам еду и напитки, у нее не было под рукой мамы, чтобы помочь по дому. А я только и думала о том, что она полукровка.

Мне нравятся вытянутые клювиком губки Альтаграсии, ее крошечные ручки и кулачки. Я глажу пальцем мочки ее ушей, пока без дырочек, но скоро в них появятся ее первые золотые сережки. Я подцепляю мизинцем тоненький золотой браслет, который по моему настоянию купил ей Хуан. На браслете покачивается амулет, кулачок из черного коралла с красной каемкой, для защиты.

Никому не дам тебя в обиду, никогда.

Когда она засыпает у меня на груди, я пеленаю ее и укладываю в люльку на животик. Потом припудриваю щеки и нос, все еще красные от слез.

Когда я вновь выхожу в гостиную, Хуан жестом подзывает меня и велит поесть. Я ужасно голодна. Я сую в рот кусочек хлеба.

Тебе, наверное, нужно отдохнуть? — спрашивает Антонио. Я зайду в другой раз. Я зашел только потому, что узнал о приезде Хуана.

Нет-нет-нет, говорит Хуан. Ана не возражает. Родила — как из пушки выстрелила. Сильная, как бык. Заведем по меньшей мере пятерых детишек, а?

Давай уж сразу бейсбольную команду, говорю я, прикусываю щеку и кохусь на Ирону.

Вот и умница, говорит мама, внося тарелки с тушеными кореньями, рисом и мясом.

Я сажусь, потому что боюсь, что швы разойдутся. Но стоит мне сесть, как мама зовет меня на кухню. Куда ты сунула ту кастрюлю? Где запасной пакет кофе? Накрой, пожалуйста, на стол.

Ана, принеси Гектору еще салфеток, зовет Хуан.

Ана, налей еще воды в кувшин, ладно?

Ана. Ана. Ана.

Я только что родила ребенка в девять фунтов весом — в одну десятую от моего собственного.

Пусть Гектор сам сходит за салфетками, слышу я голос Ирены.

От боли я наваливаюсь на раковину.

Ана, там малышка плачет, говорит Ленни.

Ребенок плачет? — говорит мама.

Да разве услышишь тут что-нибудь в этом шуме? — кричу я, перекрикивая музыку. Я хочу спать. Я хочу пить.

Звонит домофон. К переговорнику бежит Гектор.

Кто там?

Нет ответа.

Кто там?

Все прислушиваются, тоже желая знать.

Это Сесар. У него на поясе меч, он умчит меня в карете туда, где можно лечь и поспать в тишине и пить много-много воды со льдом, стакан за стаканом.

Дапусти ты, говорит Хуан. У нас же праздник.

Еще гости? Марисела и Маурисио, только их тут не хватало. И Джино с Гизеллой из «Эль Бейсмент».

Зря надеялись, говорит Гектор, когда оказывается, что это все.

Мама велит всем есть, пока не остыло. Вскоре все уже обглаживают косточки, едят юкку и платано. Мужчины хвалят угощение, мама с усмешкой отмахивается: ничего особенного. Она довольна, что кормит их, что она нужна, что наконец-то может хоть что-то взять в свои руки после того, как столько часов провела в больнице как рыба на суше.

Мгновение спустя звонит телефон. Гектор делает музыку тише.

Трубку берет Хуан. После той сцены, что я устроила перед родами, каждый раз, когда звонит телефон, мама начинает подозрительно прислушиваться.

Сейчас не время, шепчет он. Улыбается нам и тянет трубку в дальний угол комнаты, лишь бы подальше.

В смысле — ты внизу? — кричит он в трубку. Гектор снова делает радио громче. На глазах у всех Хуан бросает трубку и высовывает голову в окно. Все торопятся к окнам и тоже выглядывают. Пятью этажами ниже телефонная будка, женщина в ней поднимает голову и машет нам рукой.

Несколько минут спустя телефон звонит снова.

Гектор делает музыку тише, а я торопливо хватаю телефон и слышу, как женщина снизу кричит на Хуана.

На мои чувства тебе плевать, да? — слышу я из окна и из трубки. Так и будешь делать вид, что меня нет? Думаешь, я просто возьму и исчезну — после стольких-то лет? Ну нет, Хуан Руис, нам надо поговорить.

Я наконец-то слышу ее голос, и что-то у меня в груди разжимается.

Я знаю, кто ты, Каридад, говорю я в трубку. Хуан пытается ее отобрать.

Отдай, Ана, не то...

Не то что... Хуанчо?

Он выкручивает мне запястье, но тут же отпускает. Все смотрят.

Ана, отдай ему трубку, говорит мама. Мужа надо уважать.

И у нас гости.

Нет. Нет. Нет! — кричу я, как кричат на людях американские дети, но не кладу трубку — пусть Каридад слышит.

Ну что ты устроила, *rajarita*, смеется Хуан, чтобы разрядить атмосферу. Но даже музыка звучит теперь фальшиво.

Скажи это своей Кари.

Отдай трубку, *сагайо**, уже громче говорит Хуан.

Я оборачиваю провод вокруг руки и отворачиваюсь. Мой телефон. Не отдам.

Хуан одним движением выхватывает у меня телефон и бьет меня трубкой по верхней губе так сильно, что показывается кровь.

Ирена делает шаг вперед, но Гектор тянет ее назад и говорит Хуану: брат...

Черт побери! Видишь, до чего она меня довела.

Если вы хотите сделать еще один звонок, повесьте, пожалуйста, трубку... И короткие гудки.

Я трогаю губу. На пальцах алеет кровь. Я смотрю на Хуана и мимо него, вижу, как Антонио закрывает лицо. Вижу у двери Ленни. Слышу плач малышки.

Мама тащит меня прочь.

Ана, иди к себе в комнату и возьми себя в руки, сколько можно нас позорить.

* Стерва (*исп.*).

Ты всегда за него заступаешься, мама. А я же сделала все, как ты хотела, все сделала, что должна была, говорю я, не сводя с него яростного взгляда. Иди к ней, Хуан! Иди к ней и оставь меня в покое, черт возьми! — кричу я. Все уходите!

Ирена бежит мимо нас в спальню, где плачет Альтаграсия.

Щеки Хуана багровеют, глаза превращаются в щелочки. У него чешутся кулаки. Он взмахивает рукой и сбивает с подоконника мою Доминикану. Она летит через всю комнату и рассыпается осколками.

Что ты наделал! — кричу я.

Хуан хватает меня за плечи, словно желая успокоить, но его пальцы впиваются в мое тело.

Меня простреливает резкой болью. Я чувствую, как по ногам течет что-то влажное. Швы. Швы разошлись.

Хватит, повторяет Хуан снова и снова. Хватит.

И встряхивает меня снова и снова.

Но уже поздно.

Отойди от нее, говорит мама, комкает посудное полотенце, которое держала в руках, и прижимает, чтобы остановить кровь. Но крови слишком много, она бьет струей.

Чудовище! — кричит она на Хуана.

Вызовите скорую, говорит Антонио.

Нет, говорит Гектор, быстрее просто сбегать.

Они с Антонио выбегают из квартиры.

Мама, плачу я, видя, как кровь пятнает пол, коврик, одежду. В глазах у меня туман. Меня корежит болью и снова отпускает. Я вижу, как Ирена ходит между спальней и кухней, укачивая на плече малышку. У меня нет сил сказать: дайте ее мне, дайте мне поддержать.

Хуан рассказывает взад-вперед. Почему она все время плачет? — спрашивает он Ирену.

Сам кричать прекрати, говорит мама.

Она сдергивает с кровати простыню и оборачивает ею меня, со-

оружая подобие подгузника. Поднимает меня на бедро, закидывает мою руку себе на шею.

Я отнесу ее вниз, говорит Хуан, пытаясь отодвинуть маму с дороги.

Не трожь меня, рычит она утробным голосом. И он отшатывается.

Мама встает на колени и поднимает меня с пола. Они же не знают, что ей доводилось носить скотину потяжелей меня.

Глупости. Дайте я ее отнесу.

Иди займись этой ненормальной внизу, Хуан, пока соседи не начали судачить. Ленни, открой мне дверь.

Вы что, поверили этой бабе? — говорит Хуан в пустоту коридора. Мама несет меня к лифту. Вот и имей после этого дело с беднотой. А я говорил Рамону, что от этого будет больше проблем, чем пользы. Но он все твердил — женись, женись! Я и женился, хотел, чтобы всем было лучше, и что теперь? Кому это все нужно?

Приходит лифт. Мгновение колебания, и мама входит внутрь, прислоняет меня к стене. Хуан хочет войти тоже, но она говорит: не смей. Он вскидывает перед собой руки, и двери лифта закрываются.

Маленькое зеркало в углу искажает наше отражение. Мама выглядит вдвое больше, чем на самом деле.

Когда двери лифта распахиваются, за ними Гектор и Антонио, а еще больничные медики с тряпичными носилками. Они входят в лифт и раскладывают носилки на полу. Раз, два, три. Они поднимают меня.

Я плыву на лодке через реку. Где-то вдалеке корабельной сиреной завывает Каридад. Хуан успокаивает ее из облаков. Я плыву вниз по реке, и Йонни держит меня за руку. Оставайся с нами, Ана, оставайся с нами.

В больнице мама садится у самой моей постели и не сводит с меня глаз. Вытирает пот у меня со лба. Держит мою руку. Наконец открыв глаза, я говорю: останься со мной. Оставайся с нами.

Конечно останусь, я же твоя мать.

Мне нужно к Альтаграсии.

Сначала тебе нужно поправиться.

Боль от разлуки с Альтаграсией совершенно та же, что терзала меня при разлуке с Сесаром. Я пытаюсь сесть, но мама заставляет меня лежать.

Врач сказал: отдыхать.

Мамины надежды сменили цель. Теперь есть мы и только мы. Мы поддерживаем друг друга, думаем о том, как и когда Хуан оплатит нам за такое неуважение на людях. Вокруг мамы чужой город, на плечах у нее мы, и мы должны выжить. Она так хотела в Нью-Йорк. Она сделала все, чтобы попасть сюда.

Так вот он каков, Нью-Йорк, со слабой улыбкой говорит она.

Не волнуйся, мама. Он сделал меня сильной.

Она кладет голову мне на грудь, и я перебираю ее седеющие волосы. И тут мама начинает плакать, разом, словно налетает тропический дождь, не знающий преград. Наконец-то она поняла все, поняла, чем я пожертвовала и что пережила ради нее и ради семьи.

ДАВАЙ ПОГУЛЯЕМ ВОКРУГ КВАРТАЛА, ГОВОРЮ Я МАМЕ. МНЕ наконец-то сняли швы. День необычайно теплый для ноября. Деревья пылают золотом, небо синее-синее, ни облачка. Я уже могу ходить, не чувствуя боли. Я собираю в сумку все, что может понадобиться малышке, вешаю сумку на ручку коляски. Велю Ленни надеть куртку и иду к двери. Тут мама, к моему удивлению, отвечает: ладно, ладно, я с вами.

Мы идем к Форт-Вашингтон, я показываю им реку.

А справа, говорю я, мост Джорджа Вашингтона. А за мостом — твоя фабрика.

Все в Нью-Йорке напоминает мне о Сесаре. Время от времени он звонит узнать, как дела, и говорит, что приедет взглянуть на Альтаграсию, но так и не приезжает. Братья Руис смеются над ним и говорят, что он нашел себе женщину в Бостоне. Мне даже думать об этом больно.

Мы с мамой и Ленни спим в спальне. Хуан спит в гостиной, на Сесаровом диване. А что делать? Надо как-то продержаться до той поры, пока освободится квартира по соседству, и мы сможем зарабатывать достаточно, чтобы самим платить за жилье.

Мы идем по Сто шестьдесят четвертой улице.

В этом квартале живут по большей части евреи, говорю я. Кубинцы тоже есть, и пуэрториканцы, но скоро мы будем просто — мы. Скоро я пойду в школу и буду учиться на бухгалтера, выучусь управлять нашими делами. Ты будешь делать свои знаменитые дульсе де лече* и продавать их в каждой bodega**. В каждом квартале будет по bodega. Хорошо, что Ленни приехал,

* Дульсе де лече — блюдо карибской кухни, молочный десерт (*исп.*).

** Продуктовая лавочка (*исп.*).

когда у него будут каникулы, он станет продавать фрио-фрио*, как дома. У нас будет такой большой-пребольшой кусок льда, и все будут стремиться к нашей тележке со всех концов города, потому что у нас будет самый лучший тамариндовый и лимонный колотый лед. Всех цветов радуги! А зимой, мама, когда ты не на фабрике, а я не в школе, мы будем продавать твои замечательные бобы: сладкие и горячие. И пастелито из муки, и даже с южкой. И все магазины на Бродвее будут наши, мы будем продавать в них нашу еду. А в каждой bodega будут лежать горы платано выше меня ростом, и еще там будут продавать кокосовое молоко, и юкку, и бакалао**.

Мама смеется надо мной, а может быть, и со мной. Но я не обижаюсь. Я знаю, что однажды я стану жить в доме, где нет Хуана. Я знаю, что папа, Тереса и ее малыш тоже будут жить с нами. Мы будем работать изо всех сил. Особенно Альтаграсия, уж она-то добьется такого, о чем мы не могли и мечтать.

Мы останавливаемся у скамейки напротив La Bodeguita, тамошнего хозяина зовут Алекс, он пуэрториканец. Когда я только приехала, Хуан запретил мне заходить в этот магазин без него, и я ослушалась лишь однажды.

Посидите тут, а я зайду в магазин, говорю я.

И отдаю маме коляску.

В магазине я иду прямо к стойке. Мужчина за прилавком окидывает меня быстрым взглядом.

Эй, доминиканочка, а я тебя помню. Ты жена Хуана, нет? Хочешь еще бесплатную шоколадку?

Я сжимаю губы и вручаю ему хрустящий доллар.

Три плитки шоколада, пожалуйста.

А Нью-Йорк пошел тебе на пользу, говорит он. Собираешься здесь осесть?

Я выглядываю в окно, там мама и Ленни. Они прижались друг

* Ф р и о - ф р и о — холодные фруктовые и шоколадные напитки (исп.).

** Б а к а л а о — вяленая треска (исп.).

к другу, с нетерпением ждут моего возвращения, и глаза у них большие и любопытные.

Да, говорю я. Да, собираюсь осесть.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работая над этой повестью, я вдохновлялась историей моей матери и других доминиканок, которые не пожалели времени, чтобы ответить на вопросы о своей жизни, и открыли передо мной свои альбомы с фотографиями, благодаря которым нам удалось восстановить то, о чем эти истории умалчивали, и зачастую — с болью. Когда в 2005 году я сказала маме, что напишу повесть по мотивам истории ее жизни, она сказала: «Да кому интересно читать историю жизни простой женщины? Все так жили». И все-таки, как ни обыденны истории такого рода, они редко бывают представлены в доступном нам мейнстримном нарративе. Я благодарна за возможность опубликовать эту историю, ибо очень хорошо знаю, сколько писательниц, особенно небелых, так и не получили этой привилегии и возможности.

Спасибо, Дэниел, ты всегда так терпелив со мной. Я тебя очень люблю.

Спасибо семьям Крус, Гомес и Пискителли, которые великодушно заботились о моем сыне, давая мне время для работы над книгой. Спасибо Паоло, который столько раз кормил меня искусством и обедами. Grazie, Стефания, за то, что дала мне una stanza, чтобы писать. Я благодарна Техасскому университету A&M и Университету Питтсбурга, которые финансировали целый ряд исследовательских поездок, которые я предпринимала во время работы над повестью. Благодарю за стипендии и стажировки такие организации, как Hermitage, Art Omi, Художественный институт Сиены, а также Доминиканский институт CUNY. Спасибо печатным изданиям, которые публиковали отрывки из этой повести: Gulf Coast,

Kweli, Callaloo, Review: Literature and Arts of the Americas и Small Axe. Спасибо Адриане, которая познакомила меня с моим агентом Дарой, и Даре, блестящие редакторские замечания которой влили в повесть новую энергию. Спасибо моему редактору Каролине: это было круто. Реально круто. Идеальный тайминг. Сотрудничество с вами и с замечательной командой Flatiron превратило работу над книгой в нечто божественное.

Я благодарна всем, кто читал эту повесть, делился своими впечатлениями и знаниями; в том числе я благодарна авторам творческих и научных трудов, которые, безусловно, сильно повлияли на эту книгу. Сколько их было! Но нескольких человек из числа тех, кто предоставлял мне критическую обратную связь, я хочу поблагодарить особо. Это Ирина, которая побуждала меня писать яснее, а также предложила название для книги. Дженнифер, которая вдохнула огонь в повесть, предложив сменить персонажа, от лица которого идет повествование. Это Миленна, моя преданная неустанная слушательница. Лайла, которая поддерживала во мне азарт и с которой мы неустанно подпитывали творческие порывы друг друга.

Спасибо моей семье из Aster(ix) за все то, что заставляло меня идти дальше. Я особенно благодарна mis hermanas, diosas и brujas*, без постоянного вмешательства которых эта книга так никогда и не была бы закончена. Спасибо Нелли, моей кармической сестре-близнецу и лучшему в мире построчному редактору. Спасибо Марте Лусии, моей яростной любящей товарке, за ее работы и общественную деятельность. Спасибо Эмили, с которой вместе мы планировали книгу и жизнь и которая всегда твердила мне, что за свою работу надо сражаться. Спасибо Андреа, которая принесла свет, когда я пребывала в отчаянии. Спасибо Доун за любовь, красоту и поэзию, которые мы делили на двоих. Как часто эти поэтические строчки определяли сюжет и настрой «Доминиканы»:

* Моим сестрам, богиням и ведьмам (исп.).

Оставь у дороги обломки.

Сожги то, из чего ушла жизнь.

Из тягот родимся на свет.

Доун Лунди Мартин. Странной крови добрый род

Да, да! Родимся же на свет!

Примечание. Если вы располагаете фотографиями или видеозаписями 50, 60, 70 и 80-х, на которых запечатлены доминиканцы в Нью-Йорке, пожалуйста, поместите их в визуальный архив в Инстаграме @dominicanasnyс.

ОБ АВТОРЕ

Энджи Круз — автор романов «Соледад» и «Пусть пройдет кофейный дождь», финалист Дублинской литературной премии IMPAC 2007 года. Ее работы публиковались в New York Times, Gulf Coast и в других печатных изданиях. Обладательница стипендий Нью-Йоркского фонда искусств, «Яддо» и McDowell Colony. Основательница и главный редактор литературно-художественного журнала Aster(ix) и доцент английского языка в Университете Питтсбурга. «Доминикана» основана на событиях из жизни ее матери. Вошла в шортлист премии Women's Prize for Fiction.

www.angiecruz.com

Литературно-художественное издание

16+

Энджи Круз
ДОМИНИКАНА

Перевод с английского – Ирина Ющенко

Редактор – Т. Носова

Корректор – О. Левина

Компьютерная верстка – А. Калмыкова

Подписано в печать 27.03.2022

Формат 70х100/16

Усл. п. л. 29,9

Печать офсетная

Гарнитура Kazimir

Тираж 2000 экз. Заказ № 8825.

ООО «Карьера Пресс»

111402, Россия, г. Москва, ул. Вешняковская, 6-3-140

Тел.: 8 926 604 65 58

www.careerpress.ru

e-mail: info.careerpress@gmail.com

Отпечатано в соответствии

с предоставленными материалами

в АО «Первая Образцовая типография»,

филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

